

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
СИБИРЬ
380/3 3.2020

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Эресто-матия

275 лет со дня рождения

Денис Фонвизин. Разговор у княгини Халдиной. *Письмо от Стародума.* 3

220 лет со дня рождения выдающегося поэта «Золотого века»

Евгений Боратынский. Чем душа моя богата... 9

205 лет со дня рождения великого русского поэта

Петр Ершов. Я сердцем жил. Я жизнь любил... 14

115 лет со дня рождения

Михаил Шолохов. «Пытаются опорочить русский народ...» 21

110 лет со дня рождения великого русского поэта

Александр Твардовский. В тот день, когда окончилась война 23

Поэзия

Борис Бурмистров. У памяти тонкие нити 29

Александр Щербаков. Иду смиренным смертным смердом... 75

Екатерина Козырева. В душу впиталась полынная горечь... 95

Александр Кобелев. Посреди степи, где седой курган... 120

Людмила Белякова. Красный куст у дороги... 139

Анатолий Лисица. А скрипка плакала навзрыд... 143

Любовь Сухаревская. Неоглядная милая родина 152

Проза

Игнатий Пономарёв. Шукшин. *Повесть. Предисловие В. Скрипка* 34

Семён Попов – Сэмэн Тумат. Дыхание великого зверя. *Повесть* 79

Любовь Московенко. Дедушкины уроки. *Рассказы* 101

Дмитрий Воронин. Честная служба. *Рассказ* 130

Елена Кириллова. Минька. *Рассказ* 148

Нина Жмурова. Стракулист. *Рассказ* 164

Связь с историей

Виктор Коняев. Право на Победу 168

Георгий Баль. Мамина тетрадь 172

Анна Жданова. Русский мир и европейская цивилизация.

Сочинение ученицы 11 класса 180

Критика

80-летие писателя Владимира Личутина

- Сергей Шаргунов.** «Слово должно быть красно украшенное». Мысли о писателе и беседа с писателем 182
- Валентина Иванова.** Плакали чайки. О прозе Андрея Антипина 198
- 65-летие поэта Александра Кобелева
- Василий Козлов.** Живет такой поэт... 212
- Григорий Блехман.** Безмерность в мире мер. О поэзии Светланы Шегебаевой 218
- Александр Никифоров.** «...И чутко дремлет дикий эдельвейс...»
О стихах Алены Шпицыной 222
- Елена Чубенко.** Журнал «Сибирь»: обращаться со словом нужно честно 225

Публицистика

- Владимир Личутин.** Русская песня. Сказы из книги переживаний «Сон золотой» 228
- 70-летие Олега Анатольевича Платонова
- Олег Платонов.** Триумф национальной мудрости.
Вступительное слово Владимира Осипова 235
- 70 лет со дня рождения
- Наталья Колобова.** Пересохший колодец. Сельские очерки 242

Молодые голоса

- Юрий Харлашкин.** Охота. Рассказы 255
- Максим Живетьев.** Чума в станице. Рассказ 260
- Дмитрий Максимов.** Старые рисунки. Рассказ 264
- Любовь Головина.** Утка по-азиатски. Рассказ 266

Радожица

Памяти журналиста Натальи Колобовой

- Анатолий Байборodin.** День меркнет ночью, а человек печалью 270
- 70 лет со дня рождения поэта Любови Сухаревской
- Михаил Шепель.** И снова мир заманчив и любим 273

Вернисаж

85-летие иркутского художника Льва Гимова

- Надежда Куклина.** Живописная Сибирь 276

Сумочка к другу

- Литературные пародии 279

События

- Наши юбиляры! 284

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв, В.К. Забелло, В.В. Козлов,
И.И. Козлов, А.К. Лаптев, М.П. Попова, Л.А. Сулейманова, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 22.2020 г. Выход в свет: 22.2020 г. Формат 70x108/16.

Усл.-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Репроцентр+», г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1. Тел. 8 (3952) 540-940.

Библиография



275 лет со дня рождения

ДЕНИС ФОНВИЗИН



Разговор у княгини Халдиной

Письмо от Стародума. Москва, февраля, 1788

Сегодня был у меня один из моих приятелей, который сказывал мне, что вчера зван был обедать к княгине Халдиной, но приехал к ней так рано, что она еще одевалась и его принять не могла, почему введен был в комнату подле уборной ее, так, что мог слышать все ее разговоры. Она много шумела с своею девушкою о нарядах; потом взглянула в окошко и, увидев, что подъехали к крыльцу санки: «Это санки Сорванцова, — сказала княгиня с веселым видом, — пусти его сюда», — говорила она девушке своей. Через минуту приятель мой увидел вошедшего к княгине мужчину в наместническом мундире. Княгиня, в веселом духе привстав: «А! Сорванцов, голубчик, здравствуй! — сказала ему, — садись возле меня. Откуда?»

Сорванцов. Из присутствия, княгиня. Ты знаешь, что я судья. Я там так заспался, что насилу очнуться могу. Часа четыре читали дело; всю эту пропашть мололи

ФОНВИЗИН Денис Иванович (1745–1792) — прозаик, драматург, переводчик. Создатель русской бытовой комедии. Секретарь главы русской дипломатии Н.И. Панина, статский советник. Родился в дворянской семье, образование получил в Московском университете. В ранние годы испытывал глубокий интерес к театру. В 1764 году создает свою первую пьесу «Корион», которая была поставлена придворным театром. Талант Фонвизина ярко проявился в сатирических произведениях, созданных в 60-е годы, — «Лисице-кознодее», «Послании слугам моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке», «К уму моему», «Послании к Ямщикову» и др. Фонвизин был известен своими резкими политическими взглядами, выступал против политики Екатерины II. Вершина творчества Д.И. Фонвизина — комедии «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1781), положившие начало развитию русской социальной комедии.

при мне; а как законом не запрещено судье спать, когда и где захочет, то я, сидя за судейским столом, предпочел лучше во сне видеть бред, нежели наяву слышать вздор.

Княгиня. Не понимаю, как ты мог с твоим любезным характером сделаться судьей! Знаешь ли что: пока я за туалетом, расскажи мне свою историю. Девка! румяны!

Сорванцов. Она коротехонька. Я нарисую вам всю картину моей жизни, прежде чем вы полщеки разрисовать успеете. Мне уже за тридцать лет. Первые осьмнадцать, сидя дома, служил я отечеству гвардии унтер-офицером. Покойник батюшка и покойница матушка выхаживали мне ежегодно паспорт для продолжения наук, которых я, слава богу, никогда не начинал. Как теперь помню, что просительное письмо в Петербург о паспорте посылали они обыкновенно по ямской почте, потому что при письме следовала посылочка с куском штофа, адресованная на имя не знаю какой-то тетки полкового секретаря. Как бы то ни было, я не знал, не ведал, как вдруг очутился в отставке капитаном. С тех пор жил я в Москве благополучно, потому что батюшка и матушка скончались, и я остался один господином трех тысяч душ. Недели две спустя после их кончины жестокое несчастье лишило меня вдруг тысячи душ.

Княгиня. Боже мой! Какое же это несчастье?

Сорванцов. Несчастье, которому, я думаю, в свете примера не бывало и не будет. Полтора ста карт убили у меня в один вечер, из которых девяносто семь загнуты были сетелева.

Княгиня. Ах! это слышать страшно!

Сорванцов. После этого несчастья хватился я за разум: перестал ставить большие куши, и маленькими в полгода проставил я еще пятьсот душ в Кашире.

Княгиня. Как! Ты проиграл и Каширскую, где лежат твои родители?

Сорванцов. Я им тут лежать не помешал! Сверх того, не из подлой корысти продал я деревню, где погребены мои родители. За то, что тела их тут опочивают, мне ни полушки не прибавили.

Княгиня. Так и подлинно ты перед ними чист в своей совести!

Сорванцов. Итак, с полутора тысячью душами принялся я за экономию; вошел в коммерцию: стал продавать людей на службу отечеству; стал заводить в подмосковной псовую охоту; стал покупать бегунов, чтоб сделать себе в Москве некоторую репутацию. Ямской цуг был у меня по Москве из первых; как вдруг поражен я был лютейшим ударом, какой только в жизни мог приключиться моему честолюбию.

Княгиня. Ах, боже мой! Какое ж это новое несчастье?

Сорванцов. Я не знал, не ведал, как вдруг из моего цуга выпрягли четверню и велели ездить на паре. Этот удар так меня сразил, что я тотчас ускакал в деревню и жил там долго, как человек отчаянный. Наконец очнулся. «Я дворянин, — сказал я сам себе, — и не создан терпеть унижения». Я решил или умереть, или по-прежнему ездить шестеркой.

Княгиня. Молодые люди! молодые люди! Вот как вам всем думать надобно!

Сорванцов. Я кинулся в Петербург, где через шесть недель преобразили меня в надворные советники. Я странный человек! Чтоб найти, чего ищю, ничего не пожалю. Следствие этого образа мыслей было то, что меньше, нежели чрез год, из надворных советников перебросили меня в коллежские. Теперь я накануне быть статским, а назавтра этого челобитную в отставку — да и в Москву, в которой,

первые визиты сделав шестернею, докажу публике, что я умел удовлетворить честолюбию.

Княгиня. О! если бы все дворяне мыслили так благородно, и лошадям было бы гораздо легче! Ты сделал полезное дело и себе и ближним. Твой поступок, мой милый Сорванцов, содержит в себе чистое нравоучение.

Сорванцов. Я столько счастлив, что нашел себе подражателей. Я моим примером открыл ту истину, что чин заслуженный ничем не лучше чина купленного.

Княгиня. Не прогневайся, голубчик! Сия истина не весьма новая, ибо не ты первый купил себе право впрягать шесть лошадей. Я сама имела жениха обер-офицера, но не позволила ему о браке нашем и думать, пока не будет он иметь права возить меня четвернею. Покойный мой князь принужден был согласиться на мое требование.

Сорванцов. Я удивляюсь, княгиня, как могла ты ограничить свое честолюбие только четвернею. Ты б могла предписать жениху снискание права на шесть лошадей.

Княгиня. Но, Сорванцов, голубчик! Твое честолюбие выходило из меры. Ты хотел из капитанов быть вдруг бригадирского чина. Я недавно читала римскую историю и нахожу, что твое честолюбие есть катилининское. Берегись, Сорванцов, чтоб и тебя не постиг какой-нибудь бедственный конец.

Сорванцов. Я откроюсь тебе, княгиня, что каждую почту из Петербурга с трепетом писем ожидаю. Судьи, мои товарищи, решили одно дело, или лучше сказать, смошенничали. Обиженный нашел в Петербурге покровительство, и сказывают, что всем нам беда будет.

Княгиня. Да ты неужели был заодно с бессовестными судьями?

Сорванцов. Нет, княгиня. Я согласился с ними для того, что не понимал дела, и мне пристойнее казалось им не противоречить, нежели признаться, что я не понимаю.

Княгиня. Ты имеешь разум, Сорванцов. Я не постигаю, какого бы дела ты понять не мог.

Сорванцов. Оно писано было таким темным слогом, что без проникания чрезъестественного понять его никак невозможно.

Княгиня. А прогос! (К своей девушке.) Ты мне анонсировала г. Здравомысла; где же он?

Девка (указывая на другую комнату). Вот здесь дожидается.

Княгиня. Проси его сюда. (Здравомысл входит.) Извините меня, сударь, что глупость людей моих заставила вас сидеть в скуке. (К девке.) Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?

Девка. Да ведь стыдно, ваше сиятельство.

Княгиня. Глупа, радость. Я столько свет знаю, что мне стыдно чего-нибудь стыдиться.

Здравомысл. Я, вошед сюда, помешал вашему разговору, который, сколько я приметил, был довольно серьезен.

Княгиня. Если позволите, мы разговор наш продолжать станем и просим вас не скрывать от нас ваших мыслей. (Сорванцову.) Продолжай!

Сорванцов. Поверьте мне, княгиня, что многие дела незаконно решаются сколько от бессовестности судей, столько и от бестолковости, с которою предложено дело.

Здравомысл. Не всегда судьи не понимают дела оттого, что оно предложено неясно; весьма часто не понимают для того, что не сделали привычки к делам и

не приобрели способности к вниманию. Сия способность приобретается учением и чтением, но сколько у нас людей, которые порядочно учились и имели бы навык понимать читаемое? Я не требую судей ученых; но мне кажется, судья должен быть неотменно просвещен и уметь грамоте, то есть: знать по крайней мере правописание, чему — сам видал — немногие у нас умеют; хотя и то правда, что запятая, не в своем месте поставленная, иногда переменяет существо самого дела, следовательно, и заставляет судей решить неправильно.

Сорванцов. Но разве всему этому пособить не можно? Разве нельзя завести добрых судей, которые бы имели и знание, и дарование понять дело?

Здравомысл. Мы видим, что у нас об этом и помышляют. Когда в российских городах заводятся университеты, то, стало, намерение есть готовить к службе людей просвещенных. Я хотел бы только, чтобы в университетах наших преподавалась особенно политическая наука.

Сорванцов. Что вы чрез сию науку разумеете?

Здравомысл. Разумею науку, обучающую нас правилам благочиния, науку коммерческую и науку о государственных доходах. Я хотел бы, чтоб у нас по сим знаниям сочинены были на каждую часть особенные книжки, по коим бы преподавалась в университетах политическая наука. Сим способом будет иметь Россия во всех частях гражданской службы людей годных и просвещенных. Я о сем размышлял довольно, но боюсь здесь распространиться, дабы сим не наскучить вам и тем, кои разговор наш читать будут.

Сорванцов. Я хотя и могу показаться вам головорезом, однако верьте мне, что я хотел бы сию минуту войти учеником в тот университет, где мог бы сделаться годным к службе и откуда вышел знал бы я, что получу место не то, где есть только вакансия, но то, для которого я учился и к которому способен.

Здравомысл. Если бы я знал, что моя идея о заведении в университетах класса политической науки найдена была полезною и угодною, я охотно бы составил мое мнение, как к сему приступить удобнее. Находясь в чужих краях, я видел сам таковой класс; имею книжки, по коим политическая наука преподается, и говорил с теми людьми, кои преподают сию науку; но признаюсь вам, что без особенного побуждения боюсь, вместо удовольствия, нажить каких-нибудь неприятностей от тех людей, кои, сами пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел ничему учиться не надобно.

Сорванцов. Я слышал пословицу: не учась, в попы не ставят.

Здравомысл. С тех пор, как стали следовать сей пословице, попы наши очевидно стали лучше и просвещеннее, и сия часть граждан отправляет свою должность гораздо порядочнее. Я совершенно уверен, что если б взято было за правило: не учась, в судьи не определять, то бы между судьями невежество было гораздо реже.

Сорванцов. Я по себе чувствую, что без просвещения человек есть сожаления достойная тварь.

Здравомысл. Но разве нельзя унять грабителей и завести добрых адвокатов?

Сорванцов. Это не невозможно, но трудно и требует большого времени.

Здравомысл. По крайней мере, неужели нет средства пресечь взятки?

Сорванцов. Мудрено, сударь; ибо сверх того, что, кажется, сама природа одарила всякого судью взятколюбивою душою, многие из них с чистыми правилами принуждены брать взятки. Вообразите судью честного человека. Он дворянин и имеет родню и знакомство, то есть: живет в обществе, имеет детей, требующих воспитания; но нет у него, кроме жалованья, других доходов; а жалованья полу-

чает только 450 руб. Скажите мне ради бога, как он может содержать жену, детей и дом такую малою суммою и в такое время, когда нужнейшие для жизни вещи взошли до цены невероятной? Хотя бы и не хотел, неволею должен сделаться взяточбратель. Ведь не все судьи таковы, как наш г-н Бескорыст. Он взятки ни с кого не берет, но зато, можно сказать, умирает с голоду. Я скажу о себе: я имею достаток и, если смошенничаю, то заслужу без всякой пощады виселицу, равно как и все те ее, всеконечно, заслужили, кои, награбя богатства, не отстают от своего промысла и продают публично правосудие.

Княгиня. Но ты, любезный Сорванцов, имеешь природный ум; ты ужась как в обществе ловок!

Сорванцов. К несчастью, мне не дано было воспитания. Родители мои имели о сем слове неправильное понятие. Они внутренне были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного! Словом, чрез воспитание разумели они одно питание. Учить меня ничему не помышляли, и природный мой ум не получал никакого просвещения. По-французски выучился я случайно. Г-жа Лицемера, моя внучатная тетушка, вздумала детей учить по-французски. Тогда в Москву приехал из Петербурга француз, живший до того в Америке. Сей француз назывался, как теперь помню, шевалье Какаду. Тетушка моя получила к нему симпатию и приняла его в свой дом в наставники своим детям. Она взяла от родителей моих и меня учиться вместе с детьми своими. Я думаю, что не лишнее сделаю, если опишу вам характер моей тетушки и ее фаворита, а нашего наставника. Тетушка моя выдавала себя в свете за чадолубивую мать и верную супругу, за добрую хозяйку и за набожную женщину. Посмотрим, такова ли она была в самом деле. В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтоб детская была гораздо далее от ее спальни: ибо крик малолетних детей ей нестерпим, хотя она нимало не скучает лаем трех болонских собачонок и болтаньем сороки, коих держит непрестанно подле себя. Вот доказательство ее чадолубия! На стол тратит очень много, а есть нечего. Дети ходят оборванные и почти босые. Добрая хозяйка! В церкви никогда никто ее не видит; но ни одного клуба, ни спектакля не пропускает. Набожная женщина! Шевалье Какаду, француз пустоголовый, из побродяг самая негодница, учил нас по-французски, то есть: дал нам выучить наизусть несколько вокабулов и начал с нами болтать по-французски. Грамматике нас не учил, считая, что она педанство.

Княгиня. С этой стороны он не вовсе ошибается. Я сама никакой грамматике не училась, а изьясняюсь по-французски изряднехонько. Скажи мне: какие правила и чувства вселял в вас шевалье?

Сорванцов. Он вселял в сердца наши ненависть к отечеству, презрение ко всему русскому и любовь к французскому. Сей образ наставления есть обыкновенная система большей части чужестранных учителей. Шевалье наш был надменен, хвастлив и неблагодарен. Надменность его состояла в том, что он хозяев и слуг за людей не считал. По его словам, он знал все науки, которые и нам показать обещал. Особливо в телесных экзерцициях выдавал себя за мастера. Сии телесные экзерциции, которым и нас он обучал, состояли в том, что заставлял он нас распускать золото.

Княгиня. А в чтении упражнялись ли вы когда?

Сорванцов. Никогда; да я думаю, что наш шевалье и сам не умел грамоте: ибо я его ни за книгой, ни с пером в руках никогда не видывал. Позволь, княгиня, докончить характер бывшего моего учителя. Он приехал в Москву в самой нищен-

ской бедности. Тетка моя накупила ему белья и взяла в свой дом, обеспечила его во всем нужном. В благодарность за то, когда у нас бывали гости, не пропускал он случая дерзким своим поведением показывать всем, в какой связи находится он с хозяйкою. Вот, княгиня, как провел я первую мою молодость. Вошел в свет, имел я несчастье попасть на весьма худое общество, где меня дурачили и обыгрывали. Но случайно познакомился я в Москве с одним молодым человеком, который имел просвещение и хорошее поведение. Он приучил меня к чтению книг и открыл мне, в каком невежестве я пресмыкаюсь. Рассудок, который природа мне даровала, родил во мне охоту выкарабкаться из кучи тех презрительных невежд, кои ни богу, ни людям не годятся. Я не скажу, чтоб сие мое старание имело успех совершенный: недостатки воспитания моего часто наружу выказываются; по крайней мере, не ставлю я моего невежества, подобно многим, себе в достоинство, и за перемену моих мыслей почитаю себя вечно обязанным тому молодому почтенному человеку, который наставил меня на стезю правую.

Княгиня. И мое воспитание было одно питание. Лучшую мою молодость провела я в Москве и такая была пречудная, что многие матери запрещали дочерям своим иметь со мною знакомство. Обожателей было у меня ужасное множество, и чем поведение мое было нескромнее, тем была я славнее. Я не имела никого, кто бы меня остеречь мог, и чьи советы умили бы пылкость моего характера и чувствительность сердца моего. И то и другое сохраняю я и до сего дня.

Здравомысл. То есть с вашим сиятельством сбудется пословица: каков человек в колыбельку, таков и в могилку.

Вот вам весь разговор так, как я имею его от приятеля моего Здравомысла. Вы можете поместить его в ваше периодическое творение. Характеры княгини и Сорванцова, кажется, списаны с природы, и идея Здравомысла о заведении класса политической науки достойна того, чтоб не оставить ее без внимания. Я есмь и проч.

*220 лет со дня рождения выдающегося
поэта «Золотого века»*

ЕВГЕНИЙ БОРАТЫНСКИЙ



БОРАТЫНСКИЙ Евгений Абрамович (1800–1844) родился в селе Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Русский поэт, переводчик. Боратынский — одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы. Известный русский поэт золотого века родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. В детстве Боратынский учился в частном немецком пансионе в Петербурге, а в 12 лет его отдали в Пажеский корпус. Однако шалости и отказ подчиняться порядкам корпуса привели к тому, что через два года он был оттуда исключен с запретом поступать на военную службу, кроме как рядовым. После этого несколько лет юноша жил в поместьях родных, начал писать стихи. В начале 1819 года Боратынский все-таки решил пойти по стопам предков и поступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. Он поселился в одной квартире с Дельвигом, подружился с Пушкиным, Кюхельбекером, Гнедичем и начал печататься. В 1820 году Боратынский получил унтер-офицерский чин и был переведен в полк своего родственника, стоявший в Финляндии. Суровость северной природы произвела большое впечатление на этого поэта-романтика. В 1824 году он был назначен в штаб генерала Закревского, где увлекся его женой, «Медной Венерой» Пушкина. На следующий год он был произведен в офицеры. В 1826 году из-за болезни матери Боратынский вышел в отставку и поселился в Москве, женившись на Анастасии Энгельгардт — двоюродной сестре супруги Дениса Давыдова. После издания поэм «Эда» и «Пирры» в 1826 году общественное мнение поставило его в ряды лучших поэтов своего времени. С 1828 по 1831 год Боратынский находился на гражданской службе, в частности как губернский секретарь. После выхода в отставку Боратынский ушел в частную жизнь, обустраивал приданое жены — поместье Мураново (позже — Музей Тютчева, родственника Энгельгардтов).

В 1843 году Боратынский с женой и тремя из своих девяти детей отправился в заграничное путешествие. В Неаполе он скончался от разрыва сердца. Наряду с написанием фамилии через О — Боратынский, более распространенным в течение долгого времени был вариант с буквой А. Он закрепился в энциклопедиях и словарях, а не последнюю роль в решении этого вопроса сыграло то, что Пушкин, отзываясь о поэзии друга, писал о нем «Баратынский». Между тем написание фамилии через О доминирует в литературоведении начиная с 1990-х годов и подтверждается биографическими сведениями. Так, фамилия рода Боратынских, как утверждалось в работе племянника поэта, происходит от названия замка Боратын в Галиции. После того как один из представителей рода перешел в русское подданство, из-за особенностей нового языка в написании стала преобладать буква А. Известно, что двойной вариант фамилии доставлял немало хлопот, когда речь шла об официальных документах. Так, сохранилось письмо сына поэта, Николая Евгеньевича Боратынского, в котором он указывает на ошибку в бумагах и объясняет ее происхождение: «...позвольте обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что в предъявляемых документах фамилия моя написана Ба-, а не Боратынский, между тем как коренная орфография — Боратынский... <...> Чуждая буква произошла от обыкновения русских выговаривать О как А, в письмах же часто можно принять эту букву за вторую...»

Сам Боратынский подписывал первые стихи как «Евгений Абрамов сын Баратынской». Однако в официальной публикации произведений и в последнем своем сборнике он использовал в подписи другой вариант — «Боратынский». Так же — через О — его фамилия увековечена на надгробии поэта в Александро-Невской лавре.

Чем душа моя богата...

Бокал

Полный влагой искрометной, Зашипел ты, мой бокал! И покрыл туман приветный Твой озябнувший кристалл...	Бестолково оживленной, Разногласною толпой. Мой восторг неосторожный Не обидит никого; Не откроет дружбе ложной Таин счастья моего;
Ты не встречен братьей шумной, Буйных оргий властелин, — Сластолюбец вольнодумный, Я сегодня пью один.	Не смутит глупцов ревнивых И торжественных невежд Излияньем горделивых Иль святых моих надежд!
Чем душа моя богата, Всё твое, о друг Аи! Ныне мысль моя не сжата И свободны сны мои;	Вот теперь со мной беседуй, Своенравная струя! Упоенья проповедуй Иль отравы бытия;
За струёю вдохновенной Не рассеян данник твой	

Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;

Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты

Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!

Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей —
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

Больной

Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
И болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.

Други! станьте вокруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.

Всё прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
Может быть, раздастся вой, —

И раздвинется могила,
И заснет, недвижный, он,
И твое лобзанье, Лила,
Не прервет холодный сон.

Что нужды! До новоселья
Поживем и пошалим,
В память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.

Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? Вздохнуть,
На распутье сжать мне руку
И сказать: счастливый путь!

* * *

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

* * *

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.

Игра стихов, игра золотая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но всё проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

* * *

Были бури, непогоды, Да молодые были годы! В день ненастный, час гнетучий Грудь подымет вздох могучий; Вольной песнью разольется — Скорбь-невзгода распоеся!	А как век-то, век-то старый Обручится с лютой карой. Груз двойной с груди усталой Уж не сбросит вздох удалый: Не положишь ты на голос С черной мыслью белый волос!
---	---

В альбом

Вы слишком многими любимы,
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам;
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.
Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статья,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.

* * *

В глуши лесов счастлив один, Другой страдает на престоле; На высоте земных судьбин И в незаметной, низкой доле Всех благ возможных тот достиг, Кто дух судьбы своей постиг. Мы все блаженствуем равно, Но все блаженствуем различно; Уделом нашим решено, Как наслаждаться им прилично, И кто нам лучший дал совет — Иль Эпикур, иль Эпиктет?	Меня тягчил печалей груз, Но не упал я перед роком, Нашел отраду в песнях муз И в равнодушии высоком, И светом презренный удел Облагородить я умел. Хвала вам, боги! Предо мной Вы оправдалися отныне! Готов я с бодрою душой На всё угодное судьбине, И никогда сей лиры глас Не оскорбит роптаньем вас!
--	--

* * *

В дни безграничных увлечений, В дни необузданных страстей Со мною жил превратный гений, Наперсник юности моей.	Он жар восторгов несогласных Во мне питал и раздувал; Но соразмерностей прекрасных В душе носил я идеал;
---	---

Когда лишь праздников смятенья Алкал безумец молодой, Поэта мерные творенья Блистали стройной красотой.	Передо мной не затмевают Законов вечной красоты; И поэтического мира Огромный очерк я узрел И жизни даровать, о лира! Твое согласие захотел.
Страстей порывы утихают, Страстей мятежные мечты	

* * *

В своих стихах он скукой дышит,
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

Водопад

Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой! Соединят протяжный вой С протяжным отзывом долины.	Зачем трепещет грудь моя Каким-то вещим трепетаньем? Как очарованный стою Над дымной бездною твоею И, мнится, сердцем разумею Речь безглагольную твою.
Я слышу: свищет аквилон, Качает елию скрыпучей, И с непогодою ревучей Твой рёв мятежный соглашён.	Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины!
Зачем, с безумным ожиданьем, К тебе прислушиваюсь я?	

ПЁТР ЕРШОВ



ЕРШОВ Пётр Пáвлович (1815–1869) родился в семье чиновника Павла Алексеевича Ершова (1784–1834). Отец по делам, связанным со службой, часто переезжал. Ершовы пересекали цепь казачьих поселений, посещали места, где были ещё свежи предания о временах Ермака и Пугачёва. В 1824 году родители определили Петра и его брата Николая в Тобольскую гимназию. Мальчики жили в купеческой семье Пиленковых — родственников матери, а когда окончили гимназию, отец перевёлся в Петербург, где братья поступили в Императорский Санкт-Петербургский университет. В 1831–1835 годах он учился на историко-филологическом факультете университета. В студенческие годы Ершов сблизился с профессором русской словесности Петром Плетнёвым, познакомился с Василием Жуковским и Александром Пушкиным. На их суд девятнадцатилетний студент отдал своё первое крупное произведение — сказку «Конёк-горбунок», прочитав которую, Пушкин с похвалой сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Плетнёв во время одной из лекций прочитал с университетской кафедры отрывок из «Конька-горбунка» и назвал студентам автора сказки — их сокурсника Петра Ершова, сидевшего в аудитории. Другой отрывок из «Конька-горбунка» появился в мае в «Библиотеке для чтения» (1834, т. 3), а в октябре 1834 года сказка Ершова была опубликована отдельным изданием. Успех сопутствовал молодому поэту: в декабре того же года к печати была одобрена первая часть «Сибирского казака», а затем и вторая часть этой «старинной были». Приближающееся окончание университета было связано у молодого сибиряка с проблемами. Не смог он получить желаемую должность, приходилось расставаться с друзьями, которых у него было немного, порывать с литературной средой. Противоречивые чувства вызывало и прощание с самим Петербургом, к которому он привязался, но вместе с тем хотел принять участие в исследовании Сибири. Вернувшись на родину летом 1836 года, Ершов работал учителем Тобольской гимназии. С 1844

года он — инспектор, а с 1857 года — директор гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Один из его учеников — будущий химик Дмитрий Иванович Менделеев. Падчерица Ершова стала женой Менделеева. Был инициатором создания любительского гимназического театра. В театре занимался режиссурой. Написал для театра несколько пьес: «Сельский праздник», «Суворов и станционный смотритель» (1835), комическую оперу «Якутские божки», «Черепослов». Печата- л свои стихотворения в Библиотеке для чтения Сенковского и в «Современни- ке» Петра Плетнёва. Известность Ершову принесла его сказка «Конёк-Горбунок», написанная им ещё на студенческой скамье и впервые напечатанная отрывком в 3-м томе «Библиотеки для чтения» 1834 года, с похвальным отзывом Сенковского. Некоторое время считалось, что первые четыре стиха сказки набросал Александр Пушкин, читавший её ещё в рукописи. Сказка Ершова вышла отдельной книжкой в 1834 году и выдержала при жизни автора семь изданий, причём четвёртое из них (издание 1856 года) — было сильно переработано автором и является на сегодня окончательным авторским текстом. «Конёк-горбунок» — произведение народное, почти слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал; Ершов только привёл его в более стройный вид и местами дополнил. Своеобразный слог, народный юмор, удачные образы сделали эту сказку широко известной и любимой в народе. Виссарион Белинский видел в сказке подделку, «написанную очень недурными стихами», но в которой «есть русские слова, а нет русского духа». Кроме «Конька-горбунка», Ершов написал несколько десятков стихотворений. Есть также указания, что он публиковал стихи, рассказы и драматургические произведения под псевдонимами.

В 1834 году Петром Ершовым была написана, а в 1835 году издана балла- да «Сибирский казак» — старинная быль о молодом сибирском казаке, который был вынужден оставить жену и по приказу атамана «идти на киргизов войною». Первоначальный вариант второй части баллады вышел в свет как отдельное сти- хотворение под названием «Песня казачки». В 1842(?) году первая часть баллады, переработанная и положенная на музыку, становится строевой песней 2-го Си- бирского Казачьего полка. Песня вошла в репертуар многих исполнителей, в част- ности Надежды Бабкиной. Ершов работал также в драматических и прозаических жанрах. Ему принадлежит «драматический анекдот» «Суворов и станционный смотритель», в позднюю пору жизни (конец 1850-х гг.) он написал большой цикл повестей «Осенние вечера», обрамляемых сквозным сюжетом — встречей персо- нажей, которые рассказывают эти повести. Такая композиция характерна скорее для 1830-х годов («Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А.Погорельского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя), в которые происходило форми- рование Ершова-литератора, и для своего времени выглядели уже анахронизмом. Любопытно, что один из персонажей повести «Панин бугор» — типичный роман- тический влюблённый — носил фамилию Сталин. Вероятно, это одна из причин того, что первая посмертная публикация этого рассказа состоялась только в 1984 году. Считается, что произведения Ершова легли в основу пьес «отца Прутков». В частности, Владимир Михайлович Жемчужников писал Александру Николае- вичу Пыпину 6 (18) февраля 1883 года из Ментоны (Франция) о своём знакомстве с П.П. Ершовым, в 1854 году в Тобольске, где он служил чиновником особых по- ручений при родственнике — тобольском губернаторе В.А. Арцимовиче. «Мы до- вольно сошлись. Он очень полюбил Пруткова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену «Черепослов», сиречь

«Френолог», прося поместить её куда-либо, потому что «сознаёт себя отяжелевшим и устаревшим». Я обещал воспользоваться ею для Пруткова и впоследствии, по окончании войны и по возвращении моём в СПб., вставил его сцену, с небольшими дополнениями, во 2-е действие оперетты «Черепослов», написанной мною с бр. Алексеем и напечатанной в «Современнике» 1860 г. — от имени отца Пруткова, дабы не портить уже вполне очертившегося образа самого Козьмы Пруткова. По другим данным, Ершову принадлежит только авторство куплетов в пьесе Чиждова. Из письма к Е.П. Гребёнке (прозаик, поэт, петербургский друг Ершова) от 5 марта 1837 года: «Мы с Чиждовым стряпаем водевиль «Черепослов», в котором Галь получит шишку пречудесную. Куплетцы — заяденье! Вот ужo пришлю их к тебе после первого представления». В письме того же числа к другу В.А. Треборну Ершов упоминает водевиль как создание Чиждова: «Ещё приятель мой Ч-ждов готовит тогда же водевильчик «Черепослов», где Галью пречудесная шишка будет поставлена. А куплетцы в нём — что ну, да на, и в Питере послушать захочется». Малая известность нестихотворного наследия Ершова вызвана ещё и тем, что до недавнего времени оно издавалось только сибирскими издательствами (Омск, Новосибирск и т. п.). В честь Петра Ершова в Тобольске названа улица, а также установлен памятник. В 1960 г. село Безруково Ишимского района Тюменской области переименовано в с. Ершово. Также именем П.П. Ершова названа улица в г. Ишим Тюменской области, его имя носит Ишимский государственный педагогический институт. В Ишиме действует Культурный центр П.П. Ершова с единственной в стране экспозицией, хронологически рассказывающей о жизни и творчестве поэта и педагога. В Нефтеюганске на пл. Юбилейной установлен бюст П.П. Ершову. В Ишиме 13 июня 2015 года в ознаменование 200-летия со дня рождения сибирского сказочника открыт второй в Тюменской области памятник Ершову (скульптор С.Г. Полегаев, меценат С.П. Козубенко).

Я сердцем жил. Я жизнь любил...

Алексею Егоровичу Викторову

Любитель древности и русской старины,
Друг юношей, любимейший учитель!
Почто, скажи, почто, хоть ради новизны,
Почто скажи, родителей мучитель,
Не хочешь ты стяжать бессмертия венец?
То был бы дар тебе родительских сердец,
Коль речью бы одной ум юношей питал
И книги покупать их реже посылал.
И сколь была б тогда твоя завидна слава,
Что ты без Нестора и русского Стоглава
Орленков на гнезде полет приготавлиешь
И куплей груды книг меня не разоряешь.
Воззри ты оком милосердным
На шкаф, хранилище наук.
В нем тесно книгам уж вмещенным,

В нем места не найдет паук.
А всё мне книги шлет Салаев,
Книгопродавец Глазунов,
Вчера же втиснут был Буслаев,
Сегодня прется Милюков.
А сердце так и замирает,
Когда в пучине старины
Я зрю, как мой птенец ныряет
И тонет в бездне новизны.
О, как страшусь, что захлебнется,
Где испытания скала,
Иль о скалу он разобьется,
Как разбивается волна.
Но ты, изведавший пучины,
О кормчий опытный! не скрой —
Страшиться есть ли мне причины
Скалы иль камней под водой.

15 декабря 1860

В альбом С.П. Жилиной

Как часто с родственным участием
Об вас задумчиво я небо вопрошал,
Вас оделял возможным в мире счастьем
И счастье тихое в глазах у вас читал.
Да, вас судьба благословила,
Вам душу мирную дала,
Во взоре ясность засветила
И в сердце радость низвела.
Вам суждено без непогоды
Земное море пережить,
Цветами дней отметить годы
И, быв любимой, жизнь любить.
О, тот счастлив, кто вас узнает,
Кто вас полюбит от души:
Он полным сердцем испытает
Весь рай семейственной души.

1840

Воспоминание

Я счастлив был. Любовь вплела
В венок мой нити золотые,
И жизнь с поэзией слила
Свои движения живые.
Я сердцем жил. Я жизнь любил,

Мой путь усыпан был цветами,
И я веселыми устами
Мою судьбу благословил.

Но вдруг вокруг меня завывла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила.
Все, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил.
Живой мертвец между живыми,
Я отдыхал лишь на гробах.
Красноречив мне был их прах,
И я сроднился сердцем с ними.

Дни одиночества текли,
Как дни невольника. Печали,
Как глыбы гробовой земли,
На грудь болезненно упали.
Мне тяжело было. Тщетно я
В пустыне знойного страданья
Искал струи воспоминанья:
Горька была мне та струя!
Она души не услаждала,
А жгла, томила и терзала.
Хотя бы слез ниспал поток
На грудь, иссохшую в печали;
Но тщетно слез глаза искали,
И даже плакать я не мог!

Но были дни: в душе стихало
Страданье скорби. Утро дня
В душевной ночи рассветало,
И жизнь сияла для меня.
Мечтой любви, мечтой всеильной
Я ниспускался в мрак могильный,
Труп милый обвивал руками,
Сливал уста с ее устами
И воплем к жизни вызывал.
И жизнь на зов мечты являлась,
В забвенье страсти мне казалось —
Дышала грудь, цвели уста
И в чудном блеске открывалась
Очей небесных красота...
Я плакал сладкими слезами,
Я снова жил и жизнь любил,
И, убаюканный мечтами,
Хотя обманом счастлив был.

Нос

Поэты! Род высокомерный!
Певцы обманчивых красот!
Доколе дичью разномерной
Слепить вы будете народ?
Когда проникнет в вас сознание,
Что ваших лживых струн бряцанье —
Потеха детская? Что вы,
Оставив путь прямой дороги,
Идете, положась на ноги,
Без руководства головы?

О, где, какие взять мне струны,
Какою силой натянуть,
Чтоб бросить мщенья перуны
В их святотатственную грудь?
Каким молниеносным взором
Вонзиться в душу их укором,
Заставить их вострепетать?
Изречь весь стыд их вероломства
И на правдивый суд потомства
Под бич насмешек их отдать?

В неизъяснимом ослепленье
Ума и сердца, искони
Священный ладан песнопенья
Курили призракам они.
Мечту (о жалкие невежды!)
Рядили в пышные одежды,
А истый образ красоты,
Вполне достойный хвал всемирных,
Не отзывался в звуках лирных
Певцов заблудших суеты!

Все, все: и перси наливные,
Ресницы, брови, волоса,
Уста, ланиты, стопы, выи,
Десницы, шуйцы, очеса, —
Весь прозаический остаток,
Короче, с головы до пяток
Все, все воспел поэтов клир,
Всему принес он звуков дани,
Облек во блеск очарований
И лиру выставил на пир.

А нос — великий член творенья,
А нос — краса лица всего
Оставлен ими в тьме забвенья,
Как будто б не было его.
В причины ум свой углубляю,
Смотрю, ищу — не обретаю.
Но, как новейший философ,
Решу оружием догадки:
«Или носы их были гадки,
Иль вовсе не было носов!»

О нос! О член высокородный!
Лица почетный гражданин!
Физиономии народной
Трибун, глашатай, верный сын!
По непонятной воле рока
Ты долго, долго и глубоко
Дремал в пыли, забвен и сир.
Но днес судьбой того ж устава
Ты должен пыль счихнуть со славой
И удивить величьем мир.

Нет! нет! Не знал тот вдохновенья,
Кто взялся б словом изъяснить
Весь пыл, всю бурю восхищенья
При мысли — новый мир открыть,
Воспеть не то, что было пето,
Предмет неведомый для света
Во всем сиянье показать,
Раскрыть огромный мир богатства
И в сонм рифмованного братства
Коломбом новым гордо стать.

Теперь я созерцаю ясно —
Зачем мне жизнь судьба дала,
Зачем гармонии прекрасной
В груди мне струны напрягла,
Зачем природы мудрой сила
Такой мне нос соорудила
И невидимая рука
В часы приятного мечтанья
Производила щекопанье
В носу то крепко, то слегка.

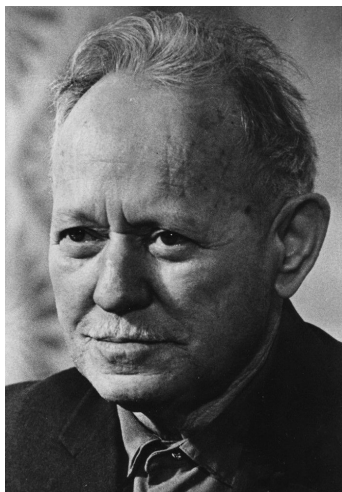
Итак, вперед! На честь, на лавры!
Пускай могучий, звонкий стих
Отгрянет вдруг, как дробь в литавры,
Во слух читателей моих!
Пусть ливнем льется вдохновенье

Во славу нового творенья,
На удивление племен!
Да пронесется туча звуков
Над головами внуков внуков
Через бесконечный ряд времен!

1858

115 лет со дня рождения

МИХАИЛ ШОЛОХОВ



«Пытаются опорочить русский народ...»

**Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета Союза ССР
товарищу Леониду Ильичу Брежневу.**

Дорогой Леонид Ильич!

Одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея духовного вырождения нации, но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия.

И все это делается ради того, чтобы, во-первых, доказать, что социализм в нашей стране — это, якобы, социализм «с нечеловеческим лицом», созданный варварами и для варваров, и, во-вторых, что этот социализм не имеет будущности, так как его гибель predetermined национальной неполноценностью русского народа — ведущей силы Советского государства.

Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание



На снимке: М. Шолохов, М. Шолохова и В. Шукшин

через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма А. Митты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ. До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются запретными.

Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы. В то же время одна за одной организуются массовые выставки так называемого «авангарда», который не имеет ничего общего с традициями русской культуры, с ее патриотическим пафосом. Несмотря на правительственные постановления, продолжается уничтожение русских архитектурных памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ведется крайне медленно и очень часто с сознательным искажением их изначального облика.

В свете всего сказанного становится очевидной необходимость еще раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в печати, кино и телевидении, раскрытии ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства. Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвященного проблемам национальной русской культуры («Русская культура»). Подобные журналы издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР.

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта. Для более широкого и детального рассмотрения всего комплекса вопросов русской культуры следовало бы, как представляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из видных деятелей русской культуры, писателей, художников, архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры Российской Федерации, ученых — историков, филологов, философов, экономистов, социологов, которая должна разработать соответствующие рекомендации и план конкретной работы, рассчитанной на ряд лет.

Дорогой Леонид Ильич! Вы многое сделали для разработки конкретного плана подъема экономики нечерноземной зоны Российской Федерации, то есть тех районов, которые составляют изначальное историческое ядро России. Приятно отметить, что этот план встретил всеобщее одобрение и в настоящее время успешно претворяется в жизнь.

Деятели русской культуры, весь советский народ были бы Вам бесконечно благодарны за конструктивные усилия, направленные на защиту и дальнейшее развитие великого духовного богатства русского народа, являющегося великим завоеванием социализма, всего человечества.

С глубоким уважением М. Шолохов.
14 марта 1978 г.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ



ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910–1971) родился в Смоленской губернии Российской империи. Удивительно, что в биографии Твардовского первое стихотворение было написано столь рано, что мальчик не мог его даже записать, ведь был не обучен грамоте. Любовь к литературе появилась в детстве: отец Александра любил читать дома вслух произведения известных писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Льва Толстого и Ивана Никитина. Уже в 14 лет им было написано несколько поэм и стихотворений на злободневные темы. Когда в стране проходила коллективизация и раскулачивание, поэт поддержал процесс (утопические идеи высказал в поэмах «Страна Муравия» (1934–1936), «Путь к социализму» (1931)). В 1939 году, когда началась война с Финляндией, А.Т. Твардовский, как член коммунистической партии, участвовал в соединении СССР и Белоруссии. Затем же обосновался в Воронеже, продолжал сочинять, работал в газете «Красная Армия». Самым известным произведением Александра Трифоновича Твардовского стала поэма «Василий Теркин». Автору поэма принесла большой успех, поскольку была очень актуальна в военное время. Дальнейший творческий период в жизни Твардовского был наполнен философскими мыслями, которые прослеживаются в лирике 1960-х годов. Твардовский начал работать в журнале «Новый мир», полностью пересмотрел свои взгляды на политику Сталина. В 1961 году под впечатлением от выступления Александра Твардовского на XXII съезде КПСС, Александр Солженицын передал ему свой рассказ «Щ-854» (позже названный «Один день Ивана Денисовича»). Твардовский, будучи в то время на посту редактора журнала, оценил рассказ чрезвычайно высоко, пригласил автора в Москву и стал добиваться разрешения Хрущева на публикацию данного произведения. В конце 60-х годов в биографии Александра Твардовского произошло значимое событие — началась кампания Главлита против журнала «Новый мир». Когда же автора вынудили покинуть редакцию в 1970 году, вместе с ним ушла и часть коллектива. Журнал был, кратко говоря, разгромлен. Умер Александр Трифонович Твардовский от рака легких 18 декабря 1971 года, и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В тот день, когда окончилась война

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрывки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

* * *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Рассказ танкиста

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами — не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы незрелые суют...

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит — не выглянуть из башен, —
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, — столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

В тот день, когда окончилась война
 И все стволы палили в счет салюта,
 В тот час на торжестве была одна
 Особая для наших душ минута.
 В конце пути, в далёкой стороне,
 Под гром пальбы прощались мы впервые
 Со всеми, что погибли на войне,
 Как с мёртвыми прощаются живые.
 До той поры в душевной глубине
 Мы не прощались так бесповоротно.
 Мы были с ними как бы наравне,
 И разделял нас только лист учётный.
 Мы с ними шли дорогою войны
 В едином братстве воинском до срока,
 Суровой славой их озарены,
 От их судьбы всегда неподалёку.
 И только здесь, в особый этот миг,
 Исполненный величья и печали,
 Мы отделялись навсегда от них:
 Нас эти залпы с ними разлучали.
 Внушала нам стволов ревущих сталь,
 Что нам уже не числиться в потерях.
 И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
 Заполненный товарищами берег.
 И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
 Как нас уносят этих залпов волны,
 Они рукой махнуть не смеют вслед,
 Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.
 Вот так, судьбой своею смущены,
 Прощались мы на празднике с друзьями.
 И с теми, что в последний день войны
 Ещё в строю стояли вместе с нами;
 И с теми, что её великий путь
 Пройти смогли едва наполовину;
 И с теми, чьи могилы где-нибудь
 Ещё у Волги обтекали глиной;
 И с теми, что под самую Москвой
 В снегах глубоких заняли постели,
 В её предместьях на передовой
 Зимой сорок первого; и с теми,
 Что, умирая, даже не могли
 Рассчитывать на святость их покоя
 Последнего, под холмиком земли,
 Насыпанном нечуждою рукою.
 Со всеми — пусть не равен их удел, —
 Кто перед смертью вышел в генералы,
 А кто в сержанты выйти не успел —

Такой был срок ему отпущен малый.
 Со всеми, отошедшими от нас,
 Причастными одной великой сени
 Знамён, склонённых, как велит приказ, —
 Со всеми, до единого со всеми.
 Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
 И время шло. И с той поры над ними
 Берёзы, вербы, клёны и дубы
 В который раз листву свою сменили.
 Но вновь и вновь появится листва,
 И наши дети вырастут и внуки,
 А гром пальбы в любые торжества
 Напомнит нам о той большой разлуке.
 И не за тем, что уговор храним,
 Что память полагается такая,
 И не за тем, нет, не за тем одним,
 Что ветры войн шумят не утихая.
 И нам уроки мужества даны
 В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
 Нет, даже если б жертвы той войны
 Последними на этом свете были, —
 Смогли б ли мы, оставив их вдали,
 Прожить без них в своем отдельном счастье,
 Глазами их не видеть их земли
 И слухом их не слышать мир отчасти?
 И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
 В конце концов у смертного порога,
 В себе самих не угадать себе
 Их одобренья или их упрёка!
 Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
 Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
 Не мёртвых власть, а власть того родства,
 Что даже смерти стало неподсудно.
 К вам, павшие в той битве мировой
 За наше счастье на земле суровой,
 К вам, наравне с живыми, голос свой
 Я обращаю в каждой песне новой.
 Вам не услышать их и не прочесть.
 Строка в строку они лежат немыми.
 Но вы — мои, вы были с нами здесь,
 Вы слышали меня и знали имя.
 В безгласный край, в глухой покой земли,
 Откуда нет пришедших из разведки,
 Вы часть меня с собою унесли
 С листка армейской маленькой газетки.
 Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу,
 Как у живых, — я так же вам обязан.

И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Ещё не зная отклика живых, —

Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых — не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.



БОРИС БУРМИСТРОВ



У памяти тонкие нити

* * *

Старые дровни скрипят от мороза,
Стынут в логах тальники...
Вот и пришла ко мне горькая проза
И приумолкли стихи.

Время раздумий нелегких настало,
Хлещет листва по лицу,
Тени ракитника и краснотала
Тают в презимнем лесу.

Жизнь переходит в иное понятие —
Время смывать миражи,
Время, когда проступает сквозь платье
Свет обнаженной души.

Это и есть то мгновенье земное,
Где у незримой черты —
Небо палящее и ледяное,
И никакой суеты.

БУРМИСТРОВ Борис Васильевич родился в 1946 году в городе Кемерово, автор 15 поэтических сборников, выходивших в Кемерово, Москве, Санкт-Петербурге. Член Союза писателей СССР, России, секретарь Правления Союза писателей России, Председатель Союза писателей Кузбасса. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат Большой литературной премии России, лауреат премии В. Федорова, Всероссийской премии «Белуха», Всероссийской литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, Всероссийской премии им. Н. Клюева, Православной литературной премии им. Св. П. Тобольского. Член-корреспондент Российской Академии естественных наук, Академик Петровской академии наук и искусств. Живёт в Кемерово.

Заповедь

На грешную жизнь не ропщите,— Все было, все будет в судьбе. Друг в друге врага не ищите, Но Бога ищите в себе.	Друг в друге лишь друга ищите, Отринув хулу и вранье, И памяти тонкие нити Не рвите во имя свое.
---	---

Бомж

Ни угла, ни калиточки нету И в кармане давно ни гроша. Одинок гуляет по свету Позабывая всеми душа.	И живет он мечтою о лете, И надеется он на авось... Со своим одиночеством спорит И с надеждой глядит в небеса, И кому-то незримо вторит, И слезятся по-детски глаза.
Дождь со снегом, да северный ветер Продувает бродягу насквозь...	

Родительский день

В этот день я с вами, вы со мной — Двери потаенные открыты, Здесь какой-то шепот неземной И цвета закатные разлиты.	Здесь, по эту сторону креста И по ту, бесслезно тихо плачут. В этот день встречаемся мы вновь, Память наша, наша боль и радость. Неземная, вечная любовь Нам от Бога каждому досталась.
Здесь любовь, как синева, чиста И разлуки ничего не значат.	

* * *

Всю жизнь мы играем в рулетку — Меняем на медь серебро. Подброшу повыше монетку, А вдруг упадет на ребро.	Кидаю повыше монетку — Летит, тихой медью звеня... Вновь ставит округлую метку, Вновь падает наземь плашмя.
А вдруг повезет ненароком И радость сумею узреть. Каким только вывернет боком? С какой стороны посмотреть?	Орел или решка — не знаю, Удачу в руках покручу И вверх ее, дуру, бросаю, И знать ничего не хочу.

* * *

Осень прохладой дышит, Лист тополиный шуршит... Друг меня, видно, не слышит, Все о любви говорит.	Друг мой, очнись от обмана, Все пребываешь во сне. Поздно уже, или рано Думать, мечтать о весне.
--	---

Осень туманит овраги
И просветляется высь.
Друг мой, забудь свои страхи,
Все, что вокруг — это жизнь.

Время весенних разливов,
Знаю и верю, придет.
Господи, сделай счастливым
Мой несчастливый народ.

Памяти Ю. Кузнецова

И хорошо, и одиноко,
И по-осеннему легко.
Все, что до срока — то от Бога!
И все, что в срок — то от Него.

Светлеют призрачные дали,
Густеет воздух, как стекло.
Мы в жизни многое познали,
И не познали ничего.

Поэт уходит. Вслед ни слова —
Молчит любимая страна.

Когда еще родит такого
В России русская жена?

Когда в тиши земного сада
Плоды покатают по ветвям?
Страна моя, тебе бы надо
Знать цену лучшим сыновьям!

Гудит нагружено дорога,
Над ней — вселенская тропа.
И хорошо, и одиноко,
И Богу вверена судьба.

* * *

Вновь за окошком слякоть,
В сенях тоскует пес.
Во сне не стыдно плакать,
Во сне не видно слез.

Когда душе тревожно,
Когда душа болит,
Во сне поплакать можно,
Укрывшись от обид.

* * *

...Со мною будет всё иначе:
Разлуку смертную кляня,
Одна лишь женщина заплачет —
Одна — любимая моя.

Забыв обычай деревенский,
На холод выйдет за порог...

И будет плач её вселенский,
И будет крик её высок.

И будет эхо долго, долго
Лететь, цепляясь за кресты...
И до ближайшего околка,
И до светящейся звезды.

Осеннее

Потоки слов размытых объявлений,
Кусочки слов оборванных афиш,
С утра до ночи нудный дождь осенний
Стучит, стучит по колокольням крыш.

Не разобрать, о чем трезвонят капли,
Летающие с небесной высоты,
Но говорят, что капли точат камни
И подмывают дамбы и мосты.

Осенний дождь стучится в перепонки,
Как будто пушки ядрами палят.
Плывут дома, киоски, остановки,
И летние автобусы стоят.

Размыто время: ни тепла, ни стужи.
Всяк норовит свой обиходить кров...
Лишь воробей, нахохлившись у лужи,
Следит за тенью серых облаков.

* * *

Сказала, что вышла на миг,
Сто лет с той поры пролетело...
Исчез под водой Материк
И память, как платье, истлела.

Давно испарились дожди,
От зноя потрескалось Небо.

Сказала: вернусь, подожди,
Куплю только в булочной хлеба —

Остался лишь в памяти лик,
Живу, новый день ожидая...
То солнце проглянет на миг,
То капля падёт дождевая.

Перед битвой

Я вышел сегодня из дома
Часов то ли в пять, то ли в шесть —
Морозно дымилась солома,
Кустарников дыбилась шерсть.

Деревьев прозрачные тени
Летели и падали ниц,
И дали в округе темнели,
Не слышалось пения птиц.

Была, видно, поздняя осень,
А впрочем, так виделось мне.
Часов может семь, может восемь
Я шел по колючей стерне.

Как будто уставшее время
Сменялось на время другим...
И всадник подтягивал стремя,
И целился взглядом тугим.

Поминальное

Мы бы могли жить совсем по-другому...
Лодка печали причалила к дому.
Мы же не звали ее, не просили.
Сел в эту лодку отец наш — Василий,
Дочка Светлана, сынок — Василёчек,

Бабушка Дуня и сын её — летчик,
Брат Анатолий и друг его странник —
Лодка отчалила, скрылась в тумане.
Лишь перевозчик махнул на прощанье
И, оглянувшись, сказал: — До свиданья!

* * *

Вся надежда нынче на мессию,
А другой надежды, видно, нет.
Мне б вернуться в Русскую Россию
Через сто и даже триста лет.

Чтобы очутиться в этой роще,
Русский воздух с жадностью вдохнуть.

Кто-то скажет, ничего нет проще —
Надо только выбрать верный путь,

Чтоб услышать птиц весенних трели,
Чтобы слышать, как журчит вода.
Я ещё с рождения поверил —
Русский мир, как космос, навсегда.

Пасха

Сколько нежности в русском народе,
Чудо — вербы опять зацвели.
Прояснилось в душе и в природе,
И разъяснилось небо вдали...

Боже! Милость какая нисходит
На Тебя, на меня с высоты.

В одночасье в душе распогодит
И любовью наполнишься ты.

И забудешь обиды пустые,
Чтоб друг друга простить мы могли —
В эти дни просияют святые
Над безоблачным ликом Земли.

* * *

Е. М.

Вы говорите, что стихи грустны,
Они теперь не могут быть иными.
Ну, что поделывать, если даже в сны
Приходят все трагедии земные.

Такое время нынче на дворе,
Всё злее зреет мировая ссора.
Горит уже не шапка на воре,
А целый мир сгорает от позора.

Всё от того, что тает доброта,
Как снег весенний, вглубь земли уходит,
И жизни безоглядной суета
Нас друг за другом строем гонит, гонит.

Чем ближе к краю, тем прозрачней даль
И тем яснее перепуток дальний.
Мои стихи печальны, но печаль
Струит по миру свет исповедальный.

* * *

Перешагну через трещину
И... в полынью.
Как я любил эту женщину,
Как я люблю.

Кротость свою и робость
Прочь отгону.
Перемахну через пропасть
И... в полынью.

Лютого ветра затрещину
Вновь получу.

Как я любил эту женщину
Вспомнить хочу...

Снова пустые новости
Ухают вслед.
Перемахну через пропасти
Прожитых лет.

Времени талую трещину
Льдом застеклю.
Как я люблю эту женщину,
Как я люблю...



ИГНАТИЙ ПОНОМАРЁВ



Шукшин

ПОВЕСТЬ

«Что с нами происходит?»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые повесть «Шукшин» Игнатия Пономарёва была опубликована в 1981 году, через семь лет после смерти Шукшина. Многие годы журнальная публикация хранилась в библиотеках российской глубинки, словно жемчуг на дне океана времени. Моему однокурснику по университету, публицисту-историку, краеведу Василию Иванченко удалось найти публикацию почти сорокалетней давности в родной ему Хакасии и отправить мне текст повести по электронной почте. А где еще могла обнаружиться журнальная публикация, как не в родных краях автора повести Игнатия Ивановича Пономарёва? Семнадцать лет прожил писатель и сценарист на золотом руднике Балахчин, в голубых кедрачах горной Хакасии, соседки раздольного шукшинского Алтая.

Пономарев учился с Шукшиным в Московском институте кинематографии (ВГИКе). И писал он о своём удивительном сокурснике, как настоящий друг! И язык в повести под стать языку главного героя, народный, отменный...

ПОНОМАРЁВ Игнатий Иванович родился в 1934 году в селе Каспа Красноярского края. Работал старателем на золотом прииске, взрывником в геологоразведке. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор четырех сборников рассказов, двух повестей, многих очерков о людях современного села, сценария фильма «О чем молчала тайга». Печатался в журнале «Наш современник» и других изданиях.

Бывал Пономарёв в родных краях уже после смерти Шукшина. Вот как описывает одну такую встречу в Хакасии Василий Иванченко, который и нашел повесть Пономарева:

«Осенью 1977 года была у меня встреча с автором. В наш кабинет редакции газеты в посёлке Шушенское зашел очередной посетитель.... Слово за слово, выяснилось наше ширинское, да еще и горняцкое землячество с Туимского и Балахчинского рудников. Игнатий Иванович Пономарев много чего нам поведал: о военном детстве, о работе на руднике и в геологоразведке, о планах в кинематографе и рассказах в «Юном натуралисте». На том встреча и закончилась.

А позже всякие следы его затерялись. Ни слуху — ни духу. От рудника, где когда-то работал Пономарёв, ничего живого не осталось. Живописная долина ручья Андат на много километров превратилась в карьеры под ковшом шагающего экскаватора и ножами японских бульдозеров и скорее напоминает лунные пейзажи. И уже не родится — не вырастет здесь человек с литературным или иным даром. И будет молчать тайга о людях, которые добывали здесь золото с первой половины девятнадцатого века, но это уже совсем другая история».

Повесть «Шукшин» оставляет самое яркое впечатление своей документальностью. Алтайский кудесник слова и мастер кинематографа Шукшин жил в постоянном конфликте с окружавшей его городской средой, со всеми привычками и проблемами советского мегаполиса. Как большой художник, попавший в большой город из алтайской глубинки, он ясно ощущал странное общее движение разных социальных слоёв нашего народа из позднего социализма к началу «рыночного» развала. Отсюда его ставший классическим вопрос: «Что с нами происходит?»

Игнатий Пономарёв передает постоянную духовную работу Шукшина через конкретные жизненные ситуации. Каждая из них надолго останется в памяти читателей. Они будут свидетелями трагического по своей сути процесса — слома хрупкой мировоззренческой советской основы жизни, которая так и не достигла необходимой для долголетия зрелости. Чуткий писатель Шукшин этот слом болезненно переживал, и страдал от общей дисгармонии отношений между советскими людьми. Страдал от общения с чуждой народу образованщиной, с наглыми торгашами, с поганой уголовщиной, с лукавыми начальниками.

Самой большой мистической тайной в судьбе писателя и кинематографиста Шукшина лично для меня остаётся вопрос: интересы какого социального слоя он выражал? Попробуем ответить на основе того материала, который есть в повести.

Игнатию Пономареву удалось запечатлеть Шукшина противоречиво-сложным, но потому и настоящим, то есть без упрощения образа и без сведения мировоззрения большого художника к простым, готовым определениям и понятиям. Всё непросто у Шукшина. Многое еще только им угадано, но ждёт осмысления и оценки.

Да, и не могло быть иначе у человека, которого в восьмилетнем возрасте соседи вместе с матерью вытащили из задымлённой избы в Сростках. После того как «борцы» с «врагами народа» забрали и расстреляли отца, мать Василия решила умереть вместе с сыном. Закрыв избу изнутри, Мария Сергеевна затопила печь и перекрыла трубу заслонкой. В доме «врага народа» не может висеть на вешалке «будёновка». В этом смысле, у Шукшина были очень сложные отношения с советской властью. «Но Василий Макарович, как ни странно, любил рабоче-крестьянскую и возненавидел бы буржуйскую власть, доживи до нее. Он понимал так, зло творила не советская власть, а именно враги советской власти (троцкисты-ленин-

цы), что оседлали власть. Сталин их почти истребил из власти. Почти... Шукшин никогда бы не примкнул к антисоветчикам, которых презирал за то, что они служат Западу в холодной войне» (А. Байбородин).

Сельского жителя Василий Макарович любил, но строгой, требовательной любовью. С городскими жителями в лице столичной творческой «элиты» у Шукшина было много серьёзных эстетических расхождений. Обыватели большого города всеми своими действиями и образом жизни вызывали у писателя гнев и отторжение.

Верно схватил автор повести Пономарёв главную творческую цель Шукшина создать образы самородков из народа, независимо от того, к какому социальному слою они принадлежали. Василий Макарович был выразителем лучших сторон русской души, как мирового явления, он был певцом всех бунтарей духа, независимо от их родословной.

«Камертоном», с помощью которого Шукшин настраивал свою творческую мысль, служил ему поэтический гений Сергея Есенина. Когда Василий Макарович своими большими крестьянскими ладонями прикасался к стволам берёз, возможно, он в это время своей душой соединялся с душой Есенина, слетавшей к нему с небес на эту встречу...

Крестьянский сын Шукшин еще в начале семидесятых годов ясно осознавал какую-то абсурдную двойственность, беспринципность всей текущей советской действительности.

Он мечтал о людях другого качества и состава, в которых — есенинская теплота и влюблённость в жизнь. Сам Господь сохранил его в детстве, чтобы сказать русским людям заветное слово. У каждого народа своя судьба, своя задача в развитии общего человека, как сформулировал эту истину Ф.М. Достоевский. Писательское слово Шукшина, образы, созданные им в кино, касались души каждого из представителей нашего народа. Как точно сказал Василий Макарович обо всех нас:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброту... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Валерий Скрипко

От автора: *Те, кто очень близко знал Василия Макаровича Шукшина, прочтя это повествование, могут заметить, что автор не везде точен в хронологии шукшинской биографии. Однако сделано это мною не по рассеянности или забывчивости, а в силу здоровой необходимости. Ибо дотошное следование датам отвлекло бы от главного — возможности наиболее кратко и полно выразить то неизгладимое и неистребимое никаким временем впечатление, какое Василий Макарович оставил о себе в моей памяти за те долгие двадцать лет, что я был с ним знаком. Память моя хранит множество мгновений шукшинской жизни, так или иначе раскрывающих его характер. Но я выбрал из них лишь наиболее, с моей точки зрения, подходящие для этого повествования и, пренебрегая в известной мере хронологией, перенес и соединил их в события нескольких весьма памятных*

мне дней той далекой поры, когда наши отношения с Шукшиным можно было назвать даже дружбой. И еще. Возможно, некоторые читатели упрекнут меня в том, что я рисую Василия Шукшина несколько грубоватым. На это я могу сказать лишь одно: я рисую его таким, каким он был со мной, каким я его знал и каким он вошел в мою жизнь и остался в моей памяти, без всяких прикрас.

Алтай. 1981 год

1

Осеннее утро, половина девятого. В квартире тихо, как в погребке. Я заправляю авторучку чернилами, собираюсь сесть за рассказ, и вдруг слышу: кто-то резко звонит, а затем негромко бьет три раза кулаком в дверь. Это пароль, известный лишь двоим — мне и еще одному человеку в нашем кооперативном доме. Мы придумали его сообща, чтобы беспрепятственно входить друг к другу в квартиры. Звякнув замком, я быстро открываю дверь, и в ее проеме появляется Василий Шукшин.

Он в черной рубашке навыпуск, в черных брюках и в черных валенках. Подол рубашки, обе штанины и носки валенок — все в табачном пепле. Лицо зелено-землистое, давно не бритое, волосы всклокочены, глаза воспалены — будто всю ночь кочегарил.

— Здорово, земля! — глуховато произносит он. — Ты один?

— Один, входи и здравствуй.

Василий останавливается посреди комнаты, смотрит на меня, но, кажется, не видит. Он явно чем-то расстроен, и крепко: за многие годы нашего знакомства я вижу его таким довольно редко.

— Что с тобой, Вась?

— Да так... устал.

Он проходит в мой кабинетик и опускается на табуретку. Сидит, барабанил по столу своими крупными мужицкими пальцами с толстыми квадратными ногтями цвета луковичной шелухи. Голова опущена, глаз не видно. На правом виске, чуть выше его алтайской скулы, в синеватой жилке бешено пульсирует кровь.

— У тебя что... жар? — настораживаюсь я.

— Нет, перекурил малость. Три пачки за ночь саданул. Во рту сейчас — будто калошу жгли.

— А отчего ты так... шибко-то?

— Да строчка одна... — морщится он и резко вскидывает голову. — Понимаешь, только хочу ее схватить, а она, холера, прыг, как блоха! И этак — раз, и два, и три, и сто... Всю ночь ловил! А пока ловил, километров десять взад-вперед по квартире протопал. На рассвете пробовал поспать, но куда там — и во сне все ловлю, ловлю... Слышь, у тебя кофе есть? — неожиданно спрашивает он. — Сваргань, а?

Сварив кофе, я возвращаюсь с кухни и застаю Василия склонённым над раскрытым номером журнала «Октябрь» за апрель 1960 года. Он жадно перечитывает — уже третий раз за последний месяц! — подборку коротких рассказов «У нас в деревне» Николая Гонцова.

— Мать моя, мамочка, до чего же прочный талант был! — приглушённо восклицает он. — Ах, Коля, Коля!.. Ведь так туго зарядил свое перо, так звонко мог

пальнуть на всю Русь и вот на тебе — не успел, угораздило следом за Панферовым... Но Федор-то Иванович умер — не так обидно: в годах уже был и главное — свое сказал. А Коля... Эх! — В глазах Василия сухие слезы. — Давай помянем мужика. К черту кофе! Путёвых мужиков водой ли поминают! Айда ко мне!

Мы спускаемся с девятого этажа на пятый и вскоре оказываемся в квартире № 33, где Василий поселился не так давно и живет сейчас немудреной холостяцкой жизнью. Квартира невелика — в две смежных комнаты с крохотной прихожей и кухней в пять «квадратов». Большая из комнат оклеена обоями лимонного цвета в вертикальную бежевую полоску, отчего кажется значительно выше, чем есть на самом деле. На стене, приколотый швейной иглой, висит известный портрет Сергея Есенина с курительной трубкой. Мебели в квартире нет, если не считать старой раскладушки да щербатого стола с табуреткой, одолженных Василием у кого-то на время. В углу, на зеркально блестящем паркете в мелкую дощечку, возвышается стопка испечатанных на машинке сероватых листов бумаги — экземпляры сценария о Стеньке Разине. (Кстати, эти экземпляры — самая первая вещь, которую Шукшин внес в квартиру, когда получил от нее ключ. Я тому свидетель. Василий пришел тогда не один, а с директором своей кинокартины «Живет такой парень» Борисом Яковлевичем Краковским. Мы расселись на полу вокруг «Степана Разина», распечатали бутылку армянского и, закусывая желтым огурцом, отметили вселение Шукшина.) Рядом со стопкой экземпляров сценария стоит побитый чемоданчик, а возле него рассыпаны веером школьные и общие тетради в клеточку, заполненные (я уже это знаю) — каждый лист с обеих сторон — красивым решительным почерком Шукшина.

Одна школьная тетрадка, накрытая черной авторучкой, лежит на столе подле широченной жестяной банки из-под киноплёнки; в банке высится пирамида сигаретных окурков и жженных спичек. Я машинально беру тетрадку в руки — она на две трети исписана синими чернилами. Василий с легким испугом вдруг вырывает ее у меня и, свернув трубкой, быстро засовывает в карман брюк, говоря при том:

— Не надо, Игнаха! Эта штука у меня еще не готова. А показать неготовое — все равно что недоваренным угостить: едока понос прохватит. В данном случае словесный — из разных советов и предложений, а они-то как раз мне и ни к чему будут. Ведь я же сам отлично знаю; недоварено еще у меня.

Проходим в кухню. На подоконник ставятся два граненых стакана, и Василий молча наливает в них из початой бутылки болгарскую «Варну».

— Ну... — поднимает он стакан. — Земля Коле пухом и наша добрая память. Я хоть и маловато его знал, но ясно помню: светлый был парень. Умняга. От земли жил. И пел с душой. Да и на мандолине славно играл. Теперь редко кто на мандолине играет, все больше под гитару сипят да канючат, а еще чаще просто магнитофон крутят, конем бы их топтать... Ну, давай!

Выпив, Василий закуривает свою любимую «Приму». Сигареты с фильтром он не признает, шутливо отмахиваясь: «А, что с них! Дыму много, да дегтя мало, а без дегтя моей телеге далеко не уехать». Сигарета зажата между указательным и средним пальцами левой руки. Два прокуренных ногтя этих пальцев кажутся янтарными. Кисть правой руки слегка в синих чернилах.

Я люблю смотреть на эти руки. Есть в них что-то неизъяснимо притягательное и властное. Они могут вмиг засупонить хомут, собрать мотор автомобиля, врезать под дых врагу, определить сочность земли и зрелость хлебного зернышка, смонтировать ленту кинофильма, написать рассказ о сельском жителе или роман про донского атамана, мечтавшего дать мужикам волю... Многое могут эти руки!

Василий глядит в окно. Прямо под окном расстилается во всю длину нашего дома широкая черная площадка — крыша огромного продовольственного магазина. Вдали видна железная дорога с мостом через Язу. У самой воды, близ моста, стоит в неглубоком овражке деревянная изба с надворными постройками, окруженная синеватой бордовостью осеннего вишневого сада. На прибрежной лужайке пасется тучная корова, привязанная длинной веревкой к колу. Одинокая изба да корова на привязи — это, пожалуй, все, что осталось нынче от древней деревни, которой когда-то, давным-давно, владел боярин Свиблый, отчего и место так было прозвано, и прозывается поныне — Свиблово. Василий смотрит в окно, и взгляд его, полный печали и непонятной мне тревоги, опять устремлен глубоко в себя, будто он, Василий, мучительно ищет в своей душе ответ на какой-то жестокий вопрос.

— Сколько лет было Коле, когда он погиб? — вдруг спрашивает Василий.

— Кажется, двадцать восемь.

— Н-да-а, странная эта штука, жизнь: одним лишь щепотку лет отпускает, другим же пригоршнями их сыплет. И все без разбора... — молвит Шукшин, как бы рассуждая влух. — Н-да!.. Но ничего! — Он неожиданно решительно сжимает кулаки. — Ничего, черт возьми, что-нибудь да успеется. Успеется, только спешить, спешить надо!

Почему он торопит себя — это я пойму до конца лишь спустя года три, когда Шукшин, болезненно морщась, все чаще и чаще начнет прикладывать руку то к животу, то к груди. И тогда в моем дневнике появится тревожная и немного кудреватая, но идущая от сердца запись:

«Шукшин давно и, кажется, необратимо болен. Чувствуется, сам он знает про эту необратимость, но каменно молчит — ведет себя, как его Стенька Разин под топором на плахе. Уж не своей ли недюжинной силой воли наградил он Разина?».

Но это будет позже, потом. А сейчас я спрашиваю Василия, над чем он нынче так усердствует, что стал похож на кочегара, отстоявшего у топки парохода три вахты кряду.

— Если не секрет, конечно, — добавляю я.

— Какой там секрет! — отзывается он довольно охотно. — С «Братьями» возился-возился, а нынче вот про чудиков начал писать: накатило вдруг и всего захлестнуло.

— Про чудиков? Это, наверное, что-нибудь опять комедийное, в духе героев фильма «Живет такой парень», да?

— Кхэ, «опять комедийное»... — Василия даже передергивает от непонятной мне досады. — Вот уж который раз от тебя слышу, что «Живет такой парень» — это будто комедия.

— А что же это, по-твоему?

— Кусок сельской жизни, и все.

— Но ведь смешно же!

— Да, зритель смеется, не отрицаю. Но кинокомедии я не ставил. Не ставил! — Василий смотрит на меня в упор. — Понимаешь?

— Нет.

— А ты постарайся понять. Я бриться-мыться пойду, а ты ходи по квартире и думай.

Василий удаляется, оставив меня размышлять, почему он не хочет признать свой удивительно смешной фильм кинокомедией.

— Меня в газете одна киноедка новым комедиографом обозвала, — несется его недовольно-насмешливый голос из ванной. — Я тебе не говорил еще про это?

— Нет.

— Шукшин — комедиограф... Кхэ, ничего себе ярлычок, конем бы его!.. Теперь начнется благодаря таким вот киноедкам.

— Что начнется-то?

— А то — станут, как вот ты сейчас, от каждой моей новой работы — будь то фильм или что иное — ждать, а то даже и требовать, смешного, комедийного. Понимаешь ты или нет?

И тут до меня наконец доходит: Шукшин явно опасается, как бы после успеха веселой ленты «Живет такой парень» его не внесли навсегда в список мастеров кинокомедии — жанра, который у нас почему-то принято частенько лишать самого главного — комедийного начала. Возможно, это происходит оттого, что к рождающейся кинокомедии приковывается особо пристальное внимание, и множество разных доброжелателей считают своим долгом непременно привнести в неё что-нибудь от себя. Намерение благое, да только вот это самое «что-нибудь» зачастую привносится почему-то «методом от противного» — по известной байке «Велика у стула ножка...»

— Здесь вот автору не мешало бы немножко убрать, а здесь несколько подсократить, тогда будет по-настоящему смешно, — не устают наседать на комедиографа его доброжелатели.

И в результате всех этих «убираний» и «подсокращений» кинокомедия становится куцей. То, что должно было предстать перед зрителем как бы веселой елкой, в конце концов оказывается обыкновенной палкой. Шукшину все это известно гораздо лучше, чем мне, — может быть, как раз поэтому слова «кинокомедия» и «комедиограф» встречаются им, будто удары крапивой.

— Василий! — говорю я торжественно. — Вот я сейчас подумал, поразмыслил и пришел к заключению: «Живет такой парень» — это абсолютно не комедия, и ты — ну нисколько не комедиограф, ошиблась твоя киноедка.

— А-а, смикитил!.. — радостно хохотнув, произносит Василий и выходит из «совмещенки», глянцевиито сияя бритыми щеками. — Скажу тебе: ярлычок — это штучка повзедливей тележного дегтя. Вон Леня Куравлев... — Шукшин кивает на красочную афишу фильма «Живет такой парень» с изображением Куравлева в роли Пашки Колокольникова, приколотую кнопками к стене в прихожей. — Туго ему придется. Он актер всех октав, а его, попомни меня, лишь на комедийные роли тянуть будут, потому что после блестяще сыгранного им Пашки к нему приклеится ярлык «исполнителя ролей простачков». Очень обидно будет за актера. Но да ладно, жизнь позволит — сорву с него этот ярлык, дам Лене роль, диаметрально противоположную этой. — Он тычет пальцем в Пашку на афише. — Я в Куравлева очень верю.

«Варна», бритье и полоскание под краном сняли с лица Василия налет землистости, тень словно бы идущей изнутри какой-то черноты. И взглядом он больше уже не уходит в себя. Становится подвижен, на редкость разговорчив, добр, весел и даже слегка заносчив. Быстро пройдя в маленькую комнату, кричит мне оттуда:

— Иди-ка сюда, я тебе кое-что прочту!

Я вхожу в комнату. В ту самую комнату, что в будущем станет рабочим кабинетом писателя, сценариста, кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. Отсюда он вынесет не один свой замечательный сценарий, десятки великолеп-

нейших рассказов и потрясающую трагедию «Калина красная». Сейчас в комнате пусто — шаром покати, только на подоконнике лежит куча газет и журналов, да еще висит одежда Василия в распахнутой кладовке, что виднеется в глубине комнаты. Сам он, держа в руках вырезку из какой-то газеты, что-то вычитывает в ней и похохатывает:

— Во, дает эта киноедка! Слушай, что она тут настрочила. «Залогом успеха этой добротной сделанной кинокомедии является удачно придуманный автором образ Пашки Колокольникова». Ты слышишь — «придуманый»! Это Пашка-то у меня придуманный — ничего себе заявочка!.. Да таких чудиков, как Пашка, на свете целые легионы — зачем мне их придумывать. Хватай их за руки и веди на экран или в книжку — сами просятся! А потом, что это такое — «добротно сделанная кинокомедия»? — Он швыряет вырезку на подоконник. — Явный наговор! На кой ляд мне сдалось это — делать нарочно какую-то, хотя бы даже и добротную, кинокомедию, когда сама жизнь — сплошной смех, да зачастую сквозь слезы. Бери кусок этой жизни, выбрось длинноты да разные излишки, оставь только одну правду — и вот тебе готовая кинокомедия, без всякой там литературщины и киношных выкрутасов. Так ведь, а?

Я не могу понять, шутит он или серьезно говорит, и поэтому молчу. Но Василий и не ждет ответа. Он торопливо снимает с ног валенки, в которых частенько ходит дома. (По моим наблюдениям, у него иногда бывает что-то неладное со стопами — возможно, от избытка табачного «дегтя» в крови.) Затем Василий, порывшись в кладовке, переодевается в рубаху пепельного цвета и в серовато-черный костюм, и мы идем к двери. Здесь, в прихожей, Василий обувает черные туфли и снимает с гвоздя небольшую серую кепку и темный плащ.

— Ну, хватит лясы точить, — говорит он. — Что мы, киноеды — балаболить-то столько? Поедем-ка лучше куда-нибудь за город, на лоно природы, как писали в добрых старинных романах.

— За город... а зачем?

— А будто я знаю, — Василий нахлобучивает кепку на голову и берет плащ на руку. — С ночи еще вот вдруг захотелось в поле, на реку, и всё. Поехали, нечего в такую добрую погоду киснуть в квартире, тем более сегодня выходной. Или у тебя есть свои дела?

Дела у меня есть, но я вижу: Шукшину почему-то очень хочется, чтобы я поехал с ним. И я сдаюсь, говоря:

— Ладно, сейчас пойду к себе, оденусь и спущусь на первый этаж, встретимся внизу.

— Кстати, прихвати пустой портфель и сунь в него «аршин», — предлагает Василий, называя аршином обыкновенный стакан. — А я складни (складной нож) возьму. Есть предчувствие, что селёдочку нарежем.

Василий почему-то не любит слово «пикник» и охотно заменяет его выражениями, подобными этому — «зарезать селёдочку».

2

В подъезде я застаю Шукшина за чтением письма, только что вынутого им из почтового ящика. На лице Василия играет такая на редкость теплая, такая неожиданно мягкая улыбка, будто он глядит не на обычный листок бумаги, а смотрит в

окно, выходящее в мир, полный волшебных видений. Я догадываюсь, что письмо из Сrostков от его матери, которую он любит нежно, трепетно и самозабвенно.

Василий не замечает моего присутствия. Дочитав письмо, он прикладывает его к лицу и долго стоит, вдыхая запах бумаги с материнскими строчками.

— О, ты уже здесь! — говорю я с таким видом, будто только-только появляюсь.

Василий вздрагивает, резким движением отнимает письмо от лица и быстро прячет его в карман.

— Ну пошли! — грубовато от смущения бросает он мне через плечо. — Взял портфель-то?.. Молодец. Только сперва на почту заскочим. Не возражаешь?

Мы выходим из подъезда, и невольно оба останавливаемся. На улице в разгаре та особая, несущая душе покой бархатная пора золотой осени, какую в народе прозывают «бабьим летом». Теплынь идет из последних запасов жаркого времени года. На широком сквере, разбитом в прошлом году с дворовой стороны нашего дома, замерли маленькие пожелтевшие липы, две лиственницы и молоденькие берёзки, напоминающие собой хиленьких девочек с жёлтыми косичками. Шукшин медленно направляется по аллейке вглубь сквера и замирает на его середине, ласково глядя на березки.

— Что, детки, не больно сладко на городской-то земле? — обращается он к ним, точно к живым существам. — Вас ведь, говорят, из леса привезли. Туго вам придёт-ся, пока окрепнете. Но да вам-то полегче: вам ведь прописки не надо, денег тоже...

Василий вдруг оборачивается и, подняв голову, долго смотрит на наш дом — жёлтую бетонную коробку в девять этажей с одним подъездом, стоящую на проезде Русанова под № 35 и принадлежащую кооперативу «Экран». Он то улыбается, то хмурится, и я догадываюсь, что происходит в данный момент в его душе.

Целых одиннадцать лет жил он в Москве без своего угла — то обитал в общежитии ВГИКа, то скитался по чужим квартирам без прописки, а иной раз, случилось, ночевал даже на железнодорожных вокзалах. А ведь был он уже известным киноактером и успел заявить о себе как писатель яркого самобытного дара и как талантливый режиссёр. Но, несмотря на все это, вынужден был бездомничать, пока наконец-то не добился разрешения купить жильё в этой вот самой коробке. Однако на судьбу Шукшин не озлобился, только жалеет до скрипа зубов, что неустроенность отняла у него слишком много драгоценных дней жизни. «Не будь я бездомным, я бы бог знает сколько успел уже сделать, — как-то признался он мне в разговоре. — Теперь придется навёрстывать...»

— Ничего, окрепнете, — повторяет сейчас Василий, опять обращаясь к березкам. — А потом вымахаете аж до небес! Но... — тут он грустно качает головой. — Но уже не я увижу ваш поздний возраст, как сказал один курчавый человек. Не я!..

Размышлять вслух — подобное за Василием замечается редко, лишь в часы крайнего внутреннего напряжения, вызванного явными неладными в его писательской работе, где, как известно, никто, к кому бы ты ни обратился, не в силах тебе помочь.

— Пошли дальше, проулками, — говорит он мне.

От привычки думать на ходу Шукшин шагает сутулясь, неторопливо и чуть вразвалку, но в то же время скоро и деловито. И минут через десять мы оказываемся на проезде Седова в нашем почтовом отделении № 323.

Василий покупает конверт, вынимает из кармана школьную тетрадку (не ту, что отобрал у меня в квартире, а другую: у него почти всегда при себе тетрадка или записная книжка), вырывает из нее лист и, сев за стол, начинает писать письмо.

«Здравствуй, дорогая моя мамочка!» — выводит он первую строчку и, вдруг тревожно глянув на меня, смущенно дергается и заслоняет написанное своей увесистой и широченной, как лопата, ручищей.

Я спешно отхожу от него в сторону, мысленно ругая себя за бестактность. А он сидит, набычившись, впрочем, вскоре на лице его опять появляется та светлая улыбка, с какой я застал его в нашем подъезде.

«Ведь нежней ангела, а вечно корчишь из себя черта рогатого, — так и хочется возразить Василию. — Никак не можешь из-за своей детской застенчивости быть самим собой, отчего сам страдаешь и многих других ставишь в глупое положение, вынуждая думать о тебе как о человеке замкнутом, грубом и даже жестоком. Нельзя так, Василий Макарыч!»

Он и сам знает, что нельзя, да не может ничего с собой поделывать: уж таким родился. Вот он запечатывает письмо в конверт, и нежная улыбка, явно навеянная мысленной встречей с матерью, миг исчезает с его лица.

— Так, — деловито встает он. — Двинулись!

На крыльце почты Василий опускает письмо в синий ящик, затем выходит на проезд Седова и окидывает его взглядом — ищет такси. Но машин с зелёными огоньками нигде не видно. И мы отправляемся к кинотеатру «Сатурн» — на стоянку такси. Но и там в этот час не оказывается ни одной машины с шахматными клеточками на бортах. Топчемся в ожидании и от нечего делать глазами по сторонам. Возле «Сатурна» лежат груды строительного мусора: кинотеатр только что построили, и мусор еще не успели убрать.

— Смотри — ларь! — тихо вскрикивает Шукшин, увидев невдалеке выброшенный кем-то старинный сундук, обитый медными полосками. — Ну-ка, обследуем его!

Сундуку лет полтора, а то и больше, но он еще крепок — сделан из дуба. У Василия горят глаза, будто перед нами лежит клад из пирамиды египетского фараона.

— Чуть подремонтировать, покрасить да клопов из щелей повытрясти — цены этому ларю не будет! — шепчет он и почему-то воровато озирается. — Надо его срочно отнести ко мне. Сейчас же!

— Да ты что, Василий! — протестую я. — Ты же Шукшин, не забывай этого. Поташим, обратим на себя внимание, тебя узнают и начнут приставать с глупыми советами...

— Пожалуй, ты прав, — подумав, огорчается он. — Но мы его вечером, в потемках, обязательно заберем отсюда. Ладно?

— Да зачем он тебе?

— Как зачем? Я в него буду свои собственные книги складывать, да. И не помру, пока под самую крышку не заполню ими этот ларь, — так и знай! А потом это же такая уникальная вещь — лишь в древних сёлах можно встретить. У нас в Сростках, например. Понимаешь? Во-от. Я вставлю в него замок с музыкой, и он станет петь: «Тилинь-тюр-линь — привет тебе, Шукшин, из села сибирского, из детства далекого!» Славно будет, правда?

Фантазируя, Василий делается похожим на большого ребёнка, что происходит с ним тоже весьма редко — лишь в минуты особого восторга.

— Ладно, вечером перенесём к тебе эту игрушку, — обещаю я.

— Игрушка... Бесчувственный ты человек, — беззлобно укоряет он. — Это не игрушка, а деревенская реликвия. Особый символ! Пойми, голова!

Тарабарим, а такси все нет и нет.

— Пить хочу, — говорит Василий. — Пойдем по кружке пива дёрнем.

На той стороне улицы, возле свибловского торгового центра, стоит пивная палатка, прозванная в народе «мордобойкой» за то, что возле нее иногда в конце дня разгораются хмельные страсти, начинающиеся с тривиального: «Ты меня уважаешь?» Сейчас у палатки почти безлюдно. Мы переходим улицу и минуты через три уже пьем «жигулёвское» возле узенькой стойки-полочки, прибитой к стене палатки. Василий хмуро и настороженно осматривается вокруг, говоря:

— В подобных местах я почему-то чувствую себя, как на ежовой шкуре.

— Да, местечко то еще, — соглашаюсь я. — Недавно здесь один тип заехал пивной кружкой парню по голове. И знаешь, за что? Всего лишь за то, что парень тот не отдал ему долг — десять копеек. А ведь, главное, тип этот, говорят, совсем трезвый был. Скажи — ну не зверь ли!

— Трезвый? — Василий закуривает и, взвесив что-то в уме, произносит раздумчиво: — Конечно, это натуральное зверство, но опять же как посмотреть. Может быть, этот тип и зверем-то стал как раз оттого, что его вечно обманывали. И быть может, как раз именно на этих-то десяти копейках у него вся вера в честность людскую и держалась. Не вернули их — вот и взорвался, озверел. Иного объяснения я не вижу, если он действительно трезвый был.

— Милиция утверждает: трезвый.

— Н-да... Готовый сюжет для рассказа, — Василий на мгновение уходит взглядом в себя. — А Достоевский — тот бы, пожалуй, и целый роман написал...

Говорим о Достоевском, о карамазовщине, которую Шукшин именуется «истинно русской дурью». Рядом становится небритый, красноглазый человек с кружкой пива. Это дядя Толя, по кличке Композитор, прозванный так за то, что как-то с похмелья продал свое пианино, по слухам, за три... рубля. Он инвалид, ходит на протезе. В руках его всегда поблескивает алюминиевая трость, а на голове зеленеет широкополая фетровая шляпа, которая вечно почему-то сваливается.

— Здорово, ребятки, — картавит он. — Думаю, зла вам не причиню, если рядом постою?

— Здравствуйте, дядя Толя. Стойте, пожалуйста, — говорю я и (тут меня словно черт за язык дергает) спрашиваю: — Дядя Толя, это правда, что вы будто за три рубля пианино продали?

— О, египетская сила! — враз взрывается Композитор, и шляпа слетает с его головы. — Ну что за народ! — Он поднимает шляпу. — Ну, что за народ — вечно все переврут, преувеличат! Сколько раз объяснять им, что не за три рубля я продал, а за двадцать пять — да! Ведь дело-то еще до денежной реформы было, что я, дуршлаг — за трёшку продавать! Это же всего лишь тридцать копеек по-теперешнему!

— Значит, в переводе на новые деньги вы продали пианино за два рубля пятьдесят копеек? — едва сдерживая смех, участливо спрашивает Шукшин.

— Разумеется! — с достоинством отвечает Композитор и, взяв свою кружку, с ворчанием переходит на другую сторону палатки. — Ну, народ! Ну, народ-оборот, египетская сила!..

Шукшин, похотывая, произносит торжествующе:

— Видел? А еще говорят, что это я комедиограф. Вот кто истинный сочинитель комедий — жизнь! И мне ли нарочно что-то придумывать! Вынимай авторучку да записывай... Кстати, а кто он, этот чудик?

— Говорят, был капитаном дальнего плавания, да попал в какую-то аварию и лишился ноги. Жена его бросила, он с горя запил, опустился, и вот... сам видишь.

— Ясно, — Василий больше не смеётся. — Хохочем, а, по сути, плакать бы надо. Н-да, еще раз убеждаюсь, что смех чаще всего — это лишь розовая пена на слезах жизни. Грустно, земля!

Возле нас вертится развязный, приклатненный парень с нахальными пьяными глазами — разглядывает со всех сторон Шукшина. Это один из тех паскудников, у которых вечно чешутся кулаки. Шукшин терпеть таких не может, потому что они ценят в человеке лишь одно — грубую физическую силу. Губошлепы, дебилы, мордороты — так называет их Шукшин.

— Слушай, тебя не Генкой Зеленым звать? — шепелявя, осторожно пристает к Василию знакомый незнакомец, у которого, очевидно, внешность артиста Шукшина вызвала в памяти образ какого-то Генки Зеленого.

— Нет, — не глядя на него, бросает Шукшин.

— Интересно, где же я тебя встречал? — щурится шепелявый. — Ты под Воркутой случайно эта... ну, не того... а?

— Нет! — у Василия по щекам начинают гулять желваки. — Не того!

— Значит, я ошибся... — шепелявый, видимо, ожидавший, что найдёт в Шукшине «родню» по пребыванию в местах не столь отдаленных, сперва как бы разочаровывается, а затем неожиданно наглеет. — Слушай, ты... не знаю, как тебя... поставь мне пивка кружечку.

Эта смелая наглость парня легко объяснима: разведав, что Шукшин не из бластных, а меня и вовсе бояться нечего — очкарик, — он хочет взять банальным приемчиком — на испуг.

— Ну, чего припух? — Он уже прет на Шукшина грудью. — Жалко, да?

Я срываю с носа очки, готовясь к драке, которая кажется мне неизбежной. Но тут свершается как бы чудо: Шукшин резко отступает на шаг от шепелявого и вмиг преображается — сдвигает на брови кепку, выпячивает нижнюю челюсть и, вжав в плечи голову, по-гориллы растопыривает руки. Ни дать, ни взять — рецидивист девяносто шестой пробы!

— Чего-о? — грозно сипит он, медленно надвигаясь на шепелявого. — Пивка тебе? На халяву?! Да я таких, как ты, в лагерях пятнадцать лет из параша поил! Понял?

Шепелявый от неожиданности буквально балдеет. А Шукшин для пущей остротки засовывает руку в карман брюк, будто там у него нож или еще что опасное.

— Вали отсюда! (Шепелявый отпрыгивает.) И чтобы духу твоего здесь не было! Здесь я масть держу! Понял?

— Понял, понял, все ясно, — пятками назад семенит шепелявый, затем поворачивается и ныряет за угол.

— Дебил, в горбину его... — в сердцах сплевывает Шукшин и поправляет кепку на голове. — Поехали отсюда!

— А на чём? — смотрю я на пустую стоянку. — Такси-то все нет и нет.

— Кхэ, подлость: когда чего позарез надо, никогда нет. Айда пока в магазин портфель наполнять, а то он, поди, слипся от вакуума.

Заходим в продовольственный отдел торгового центра, и вскоре портфель становится пузатым от бутылок минеральной воды, «Варны», хлеба, колбасы и другой снеди.

— Теперь бы еще шашлыка взять, — говорит Василий, и мы проходим в кулинарию.

В ней безлюдно. За прилавком, глядя в зеркальце, пудрится молодая толстуха с капризным ртом в фиолетовой помаде.

— Здравствуйте, — говорит ей Василий. — Взвесьте нам, пожалуйста, килограмм шашлыка.

— А чего это вы мне — «здрассте»? — ни с того ни с сего надувается толстуха. — Что я вам — знакомая, или вы на квартиру ко мне пришли — «здрассте»-то говорить?

— По-моему, из вежливости, — отвечает Шукшин.

— «Из вежливости»!.. — Толстуха капризно фыркает. — Я одна, а вас тут тысячи... Если каждому на вашу вежливость отвечать — язык отвалится.

— Да вы что, девонька? — теряется Василий.

— Я не девонька! Девоньки на базаре семечками торгуют, а я продавец! И разговаривайте со мной, как с продавцом!

У Василия на виске вздувается жилка.

— А ну, маня, смой с рук пудру и отвали мне кило шашлыка! — зло требует он, а затем спокойно спрашивает: — Так, что ли, прикажете с вами разговаривать?

— А чего это вы грубите? Чего хамите? — ощеривается толстуха и раздувает ноздри своего точеного носика.

— Я не грублю, а шашлыка прошу.

— Нет шашлыка!

— Да вон же он — на витрине, — говорю я.

— На витрине есть, да не про вашу честь. — Катя-а! — кричит она кому-то в приоткрытую дверь подсобки. — Забери свой шашлык, а то у меня из-за него скандал идет! Да постового Витьку крикни, а то тут двое хулиганов хамят и матерятся.

Василий грохает по прилавку кулаком, и мы оба поспешно уходим.

— Убивают! — визжит толстуха.

— Да-а, такую убьешь... — сквозь зубы цедит Шукшин. — Такая выдра сама кого хочешь убьет своим хамством. Ай, черт! — Василий, морщась от боли, прикладывает руку к левому боку. — По нервамхватило... Ну и поганая же баба!

— Дура она законченная! И что ты все к сердцу-то близко принимаешь, — раздражаюсь я.

— Да как не принимать: подойдешь по-простому — хамят, грубо попросишь — хамят, и на вежливость, сам видишь, как и чем отвечают. Есть такие еще: хоть в аптеке, хоть в столовой, хоть в больнице. Не люди, а какая-то секта хамов. Хуже хулиганов! Тех хоть припугнуть можно. Шарахнуть бы по ним бронебойными!..

И Шукшин исполнит это свое намерение — начнет время от времени шараять по хамству и бездушию своими «бронебойными» рассказами — такими, как «Змеиный яд», а незадолго до смерти подложит под них злую, как мина, «Кляузу». Но все это будет происходить и произойдет позже. Сейчас же у Шукшина одна цель — вырваться из города.

— Наконец-то! — вскрикиваю я, увидев, что на стоянку въезжает такси. Да не одно, а сразу три! — Бежим!

И вот мы оба плюхаемся на заднее сиденье «Волги». Ее водитель, молоденький живой паренек, отчего-то с интересом разглядывая Шукшина, приветливо спрашивает:

— Куда вас, товарищи?

— Ох, увезите нас в даль светлую! — с серьезным видом умоляет Шукшин, по-детски радуясь, что наконец-то мы поедem. — И поскорее, пожалуйста!

— «Даль светлая» — такого ресторана в Москве пока нет, — смеется паренек.

— А вы что... по ресторанам только возите?

— Не только. Но у вас лично отчего-то такой скорбный вид, что, мне кажется, изменить его можно лишь рюмкой коньяка и шашлыком по-карски.

— Кхэ, шашлык... К дьяволу его, не желаю! Хочу обычной картошки, печеной в костре! Поэтому возите нас в поле, на реку, к чёрту на рога — куда угодно, лишь бы подальше отсюда!

— Клязьминское водохранилище вас устроит?

— Вполне!..

Мы быстро проносимся по улице Снежной, пересекаем железную дорогу и вот уже мчимся по городу Бабушкину, самому, на мой взгляд, тополевому месту столицы. Стремительная езда скоро успокаивает Шукшина, и на его лице появляется тень того особого благодушия, какое может навеять человеку только дорога. Василий умиротворенно смотрит по сторонам и вслух читает названия улиц.

— Радужная! — тихо восхищается он. — А там была Снежная. Очень звучные названия, не чета каким-нибудь Индустриальным, Магистральным и всяким там Парковым. Знать, поэты работают в здешнем райисполкоме. Молодцы! А вон, смотри — Таежная! — Василий живо толкает меня в бок. — Это название тебе ни о чем не говорит?

— Говорит, и о многом, сам прекрасно знаешь.

Почти семнадцать лет моей жизни прошли на улице Таежной, только было это давно и не здесь, а на золотом руднике Балахчин, затерявшемся в голубых кедрчакх горной Хакасии, соседки раздольного шукшинского Алтая. Василий давно знает об этом: еще учась во ВГИКе, мы обменялись нашими сибирскими адресами. Да и после студенчества мне не раз приходилось рассказывать ему про свою родную улицу, а также о горной тайге, которую Шукшин, кстати, знает плоховато, потому как он сибиряк-степняк.

— Земеля, — Василий вдруг очень заинтересованно поворачивается ко мне лицом. — Послушай, у тебя с топтыгиным-то все ладно получилось, а?

Шукшин имеет в виду медведя, что снимался в фильме «О чем молчала тайга», совсем недавно поставленном режиссером Александром Курочкиным по моему сценарию, в котором есть несколько эпизодов, где действует косолапый «хозяин тайги». Эпизоды же эти появились отчасти благодаря Василию Шукшину.

3

А дело было так. Помнится, года три тому назад брел я вдоль Москвы-реки по набережной с «Мосфильма», где только что закончилось обсуждение очередного (кажется, одиннадцатого!) варианта этого самого сценария. Вариант был «зарублен» чуть не напрочь всеми членами редсовета творческого объединения «Юность». И лишь редактор Людмила Голубкина сказала мне своим тихим и несколько флегматичным голосом успокоительные слова, за которые я останусь ей вечно благодарен:

— Не отчаивайся. Все обойдется, только вставь в новый вариант побольше

чего-нибудь приключенческого из таежной жизни. Покопайся в своей памяти и вставь. Покопайся, прошу тебя.

Я брел по набережной к станции метро «Киевская» и «копался», но ничего «откопать» никак не мог. Потому что больше думал о том, как бы и чего бы сегодня поесть: в кармане лежали всего лишь два пятака — для проезда в метро и на автобусе до поселка Келлер, где я в ту пору жил и работал в деревянной комнатенке с вечно дымящей печкой. Кроме меня на одиннадцати «квадратах» этой комнатенки ютились моя жена и ее сестра Люська с мужем-шофером и грудным ребенком. Печка чадила, ребенок день и ночь плакал, Люська постоянно что-то строчила на швейной машинке и ругалась, а я, сидя за столом напротив нее, яростно писал варианты своего сценария, лелея надежду, что сценарий у меня все же когда-нибудь купят, и мы с женой вступим в какой-нибудь так называемый ЖСК и наконец-то вырвемся из этого капкана. Но сценарий никак не «покупался», провалы следовали один за другим. И после каждого из них в доме непременно совершался отвратительный скандал. Зачинала его Люська: заметив мой убитый вид, она становилась в позу «руки в боки» и злорадно-торжествующим голосом принималась за дело:

— Чего — опять кукиш «Мосфильм» тебе показал... Опять к нашей бабке деньги занимать побежишь! Или снова пальто в ломбард отнесешь и всю зиму в плащике шлындать будешь... а еще ВГИК окончил! У меня вон Сашка, муж, без всякого диплома, простым шофером на автобусе крутит, а денег зарабатывает — куда хошь уехать можно! А у тебя их даже на метро другой раз нету...

Выслушав эту «запевку» скандала со стиснутыми зубами, я обычно бросал Люське что-нибудь в таком вот роде:

— Люся, ты пока еще ма-а-аленькая змейка, но ты не отчаивайся: в будущем из тебя выйдет огромная, превосходная... гадюка!

Господи! Что тут начиналось! Тысячи страниц не хватит, чтобы описать всю свистопляску одного лишь такого «объяснения». А их было уже, кажется, десять — крупных.

«Нынче произойдет очередное», — думал я, безнадежно роясь в карманах пиджака и брюк в поисках хотя бы обломочка сигареты, чтобы дымом убить во рту медный привкус голода.

«Придется у кого-то стрельнуть», — сказал я себе, озираясь по сторонам.

На берегу Москвы-реки, опершись локтями о гранитный парапет, стоял тощий мужчина с огромным животом — рыбачил, если можно так назвать то, чем он был занят. А занимался он следующим: выдернет из воды рыбешку величиной с мизинец, сорвет ее с крючка, положит на гранит, шмякнет ей по голове кулаком, возьмет за хвостик и швырнет обратно в реку.

— Зачем вы так делаете? — поразился я.

— Из чисто гуманных соображений, — очень сытым голосом отозвался пузач. — Нельзя же отпускать в реку рыбу, пораненную крючком: ей больно.

— Простите, а зачем ее отпускать? И зачем вообще ловить, если рыба вам эта ни к чему?

— Спо-орт, мой мальчик, — еще сытнее промолвил он, вынимая из серебряного портсигара «беломорину». — Спорт у нас не запрещен, а даже наоборот, всячески поощряется.

— Разрешите?.. — невольно вырвалось у меня при виде папирос.

— Закурить? — пузатый «рыболов-спортсмен» оглядел меня с головы до ног,

как какого-то недоумка, и удилищем указал в сторону Киевского вокзала. — Вон там табачный киоск есть, подойдите к нему, заплатите двадцать две копейки, получите пачку «Беломора» и курите себе на здоровье. Желаю удачи!

— Прощайте, товарищ гуманист... — ядовито сказал я и назвал его по фамилии, так как в «гуманисте» этом узнал одного из тех «киношников», что не поставили ни единого путного фильма за всю жизнь, а корчат из себя черт знает кого, особенно на художественных советах...

Я отошел от него, как оплеванный, и побрел дальше по набережной. В тот миг я был обижен на весь свет, жалел себя почти до слез.

В глазах было темно. Я невольно посмотрел на небо, покрытое облаками, и оно показалось мне жутким нагромождением чугунно-чёрных скал, готовых вот-вот рухнуть на мою голову, отчего я даже съёжился.

И в эту секунду у меня за спиной раздался вдруг знакомый голос:

— Земеля... Стой!

На плечо хватко легла увесистая рука, которую я узнал, даже не глянув на нее, потому что это была рука Василия Шукшина. Вихрь самых разных не выразимых словами чувств охватил меня и колючим, удушающим комом застрял в горле.

— Вась!.. — прохрипел я. — Подыхаю...

Шукшин рывком поворотил меня лицом к себе, схватил за грудки и встряхнул:

— Опомнись, в три гроба тебя!..

Опомнился я за столом в ресторане «Днепр», когда выпил «столичной» и что-то съел. Смотрю: напротив сидит Шукшин, подперев ладонью щеку, и смотрит мне в глаза с особым значением:

— Ну, очухался, чудик с улицы Таежной? А теперь рассказывай, что это с тобой на набережной было. Я, понимаешь ли, еду в троллейбусе на «Мосфильм» и вдруг вижу: тащится мой земля — нос ниже пупа и очки на одном ухе болтаются. Пришлось выскочить из троллейбуса и догонять тебя... Так что же это было?

— Вась, ты сейчас уже сам рассказал, что было: нос повесил... очки... — вздохнул я. — Ты лучше спроси, отчего это было.

— Ну? Очередной разгром в «Юности», что ли?

— Да. Одиннадцатый, кажись.

— Кхэ, «кажись»... — Василий досадливо кривнул головой. — Аж со счета, бедняга, сбился. Ничего себе! А знаешь ли ты, что студия не имеет права заставить автора переделывать сценарий более трех раз?

— Как же не знать! И они там, понятное дело, тоже знают. Но они предлагают мне писать эти проклятые варианты как бы в неофициальном порядке. Или, как они выражаются, «в порядке откровенно добрых пожеланий».

— Вот словоблуды! А режиссер у тебя есть?

— Был бы!.. — вздохнул я.

— Ну-у, — Василий безнадежно махнул рукой, — тогда ты будешь «вариантить» до второго пришествия Христа.

— Вообще-то сценарий двум режиссерам нравится, но им не дают постановки.

— Почему?

— Считают, что не потянут ребята. А те режиссеры, которым студия доверяет, от сценария отказываются, потому что не знают моей темы, ведь моя тема — это, как тебе известно, жизнь таежного поселка.

— Н-да... — Василий почесал лоб. — Я за такую тему тоже бы не взялся: далек я от тайги, хотя и сибиряк. Кроме того, у тебя в сценарии главные герои — дети, а

с детьми я как режиссер работать не пробовал, да и не хочу. Потому что в детском кинематографе выразить себя до конца очень трудно, вообще почти невозможно. Это, конечно, моя точка зрения, и дай бог, чтобы я ошибся.

Умолкли. Василий долго глядел на меня, как на больного, и заключил:

— Устал ты, однако, Игнаха... Слышь, а не послать ли тебе к черту этот сценарий? Стоит ли он того? Подумай: может, лучше в штат куда-нибудь устроиться, в какую-нибудь газету, а?

— Нет, — твердо сказал я. — Здесь у меня особая позиция. Я просто не в силах отказаться от сценария, потому как мне чертовски хочется поделиться с людьми через экран той радостью, какую я испытываю от общения с таежной природой и с сибирскими горами. Ты меня понимаешь?

В ответ Василий приподнялся и через стол крепко пожал мне руку, говоря при этом по-шукшински откровенно, твердо и серьезно:

— Прости за мое предложение. Впрочем, другого ответа я от тебя и не ждал. Я и раньше верил, а теперь окончательно уверовал: сценарий ты пробьешь... Только как бы это дело ускорить? — он обеими руками озадаченно почесал в затылке. — Как?.. Да ты ешь, ешь! — он налил мне еще «столичной». — Расслабь пружины-то, отмякни. А я не буду: у меня сегодня разговор деловой есть. А тебе можно — ты свою смену нынче отработал.

— Ага, и заработал... — горько усмехнулся я. — Сейчас приеду домой — получка будет.

— Ничего, на сытый желудок стерпишь, — зная из прежних моих рассказов, о какой «получке» идет речь, промолвил Василий и, помолчав, спросил: — Тебя с женой в очередь-то на жилье еще не поставили?

— Нет. Жена приводила откуда-то целую комиссию. Комиссия эта осмотрела нашу дымную конуру, понюхала, поохала, посочувствовала, а под конец заявила: «Значит, ваш муж молодой писатель. Работать ему, конечно, здесь трудно — понимаем. Но помочь, к сожалению, пока ничем не можем. А потом жизненные трудности молодому писателю не повредят: вон Алексей Пешков — под лодкой жил, а стал Максимом Горьким». И с тем сия комиссия удалилась.

— Н-да-а... — крепко переплетя пальцы, Василий отчаянно хрустнул суставами. — Ну, никак до меня не доходит, почему это писатель, художник и вообще творческий человек сперва непременно должен страдать...

Шукшин закурил и, пустив из ноздрей две мощные струи белого дыма, выбил ногтями дробь по столу, молвя на мужицкий манер:

— Да-а, паря, жизнь у нас... Я говорю «у нас», потому что мне, Игнаха, тоже несладко: прописки-то в паспорте нет...

— Знаю. Слава богу, хоть деньги-то есть.

— Есть, да не тем делом их зарабатываю — актерством все занимаюсь, а мне фильмы ставить хочется и писать, писать...

— А как у тебя на студии Горького с постановкой фильма (речь шла о фильме «Живет такой парень») — шелкнуло что или нет?

— Вроде бы — да, ведь мне чуть полегче: я и сценарист, я и режиссёр. Но обольщаться пока рано: кино есть кино. Кстати, давай-ка вернемся опять к твоему «кино». У тебя редактором, ты говорил, Людмила Голубкина — да?

— Она самая.

— Ну и что она тебе сегодня сказала?

— Предложила внести в сценарий побольше таежных приключений, а я, кажись, иссяк в фантазии: ведь одиннадцать вариантов, и все на одну тему — шутка ли!

Шукшин, опершись подбородком на кулаки, глубоко задумался. Потом хохотнул, что-то вспомнив: выпил полфужера боржомом и очень весело попросил:

— Ну-к, расскажи мне, как два чудика с улицы Таежной — Игнаха да Павлуха — медведей по сопкам гоняли. Было такое?

Павлуха — это мой младший брат. Я вспомнил, что он недавно приезжал с Тихого океана, где служит матросом, ко мне в Москву на побывку и здесь быстро нашел общий язык с Шукшиным, так как тот в прошлом тоже служил на флоте. Мастер точить лясы на любую тему, Павлуха, видимо, успел и о нашем таежном детстве наговорить Василию с три короба.

— Так было такое или нет? — повторил Шукшин. — Гоняли?

— Гоняли, и не раз, — сказал я. — Ведь в наших краях медведей что лосей в Подмосковье. Только зачем ты про это спрашиваешь?

— Вот расскажешь — тогда, может, отвечу.

— Ну ладно, слушай. Был, например, однажды такой случай. Отправились мы с Павлухой по кедровые орехи в Золотые Сны...

— А Золотые Сны — это что такое?

— Да распадок с ручьем, лог.

— А-а, красивое название. Ну, продолжай, да как можно подробнее — ладно?

— Хорошо. И вот добрались мы до самого верховья этих Золотых Снов, а там знакомая охотничья избушка стоит, в которой нам иногда ночевать приходилось. Подходим к ней. Без шума, конечно. В тайге к избушкам вообще всегда приближаешься тихо. Подходим и вдруг чуем: внутри кто-то возится — не то ведро катает, не то печурку мнет. Смекнули мы: медведь! Я из-за угла на дверь глянул, она полу-распахнута. А Павлуха сзади шепчет: «Давай захлопнем ее и подопрем бревном!» Глупое дело немудреное: и трех секунд не прошло, как Топтыга взаперти оказался, а мы на бревне повисли, которым дверь подпёрли.

— Вот охламоны! — вырвалось у Шукшина. — Это, но сколько же лет вам было?

— Мне, кажись, пятнадцать, а Павлухе... На четыре года моложе меня, — припомнил я. — Но слушай дальше. Подперли мы, и... Бог мой, что тут началось! Топтыга взревел, как паровоз, в дверь ударился, да, к счастью нашему, дверь-то из толстых горбылей была — не сломалась. Топтыга снова взревел, в оконце ринулся, да не пролез — узко. И опять рев, удары в стены, избушка ходуном ходит! Потом смотрим — с крыши корье полетело: зверина занят, потолок разбирает. Мы с Павлухой — драпать без оглядки... И уж не знаю, как там дальше было, только часа через три, когда мы вновь подошли к избушке, то увидели ее сдвинутой с места, покосившейся и без потолка.

— А медведь? — уставился на меня Шукшин.

— Удрал.

— Зря. Я бы на его месте обождал вас и побеседовал на тему, как относиться к «братьям нашим меньшим», — с шутливым сожалением произнес Василий и сразу же перешел на серьёзный, деловой тон: — Вот что, земляля. Если ты хочешь, чтобы сценарий у тебя приняли, то немедленно вводи в следующий вариант нового героя — топтыгина. Бери его за нос, за ухо, за лапу — за что хочешь — и вводи. Зверина этот, судя по твоему и Павлухиным рассказам, тебе знаком преотлично. И вы с ним, с медведем-то, вдвоём можете закрутить сюжет, как в детективе. Голубкина, по-моему, ждет от тебя что-то именно в этом духе. Понимаешь?

— Вась, медведь — это первая зверюга, о которой я подумал, когда еще только собирались сесть за сценарий, — заметил я. — Но мне показалось, что это банально — медведь.

— Вот чудик! — вскинул брови Василий, и три продольные морщинки прорезали его лоб. — Индия без слона — для меня, например, не Индия. А горная тайга без медведя, да еще в детском приключенческом фильме, — это что хлеб без соли. — Он сделал паузу и как бы обиделся на меня. — Конечно, для вас с Павлухой медведь — это банально, а для тысяч и тысяч других пацанов — как? А?

В ту минуту я даже не подозревал, что этот разговор с Шукшиным сыграет очень большую роль в моей жизни. Поразмыслив над советом Василия, я в скором времени охотно внесу в новый вариант несколько эпизодов с топтыгиным, и сценарий (не без помощи, конечно, редактора Людмилы Голубкиной) начнет постепенно принимать ту форму, в какой потом поступит наконец в режиссерскую разработку, но уже не в объединении «Юность», а на студии имени М. Горького, которая перекупит его у «Мосфильма». Однако повторяю, в ту минуту ничего этого я даже и не подозревал, и ответил Шукшину в его же шутливо-серьезной манере:

— Хорошо. Сегодня же позвоню в Золотые Сны топтыге — пусть приезжает, поможет мне доказать «Мосфильму», что я хороший.

— Действуй! — Шукшин посмотрел на часы и поднялся. — Ну, мне пора. С официантом я расплатился; так что сиди спокойно. Да носа больше не вешай! Понял?

— Спасибо, Вася. Слышь, а ты где сейчас живешь-то?

— Кхэ, если бы я сам знал — где. Но чаще всего все там же — в «общаге» ВГИКа. Конспиративно, конечно. Как подпольщик. Ну, пока!

И он ушел, оставив меня в смятенных чувствах мысленно повторять, как сломанная пластинка, одно и то же: «Живет такой парень — Шукшин... Живет такой парень — Шукшин...»

Через полчаса я тоже покинул «Днепр» и, выйдя на улицу, вдруг обнаружил, что у меня по-прежнему нет курева.

«Суровый и добрый земляк, обед в «Днепре», дельный разговор — уж не горячечным ли бредом все это было?» — невольно подумалось мне.

Однако у входа в метро я вновь вынужден был ощутить, что парень такой — Шукшин — действительно живет: отыскивая в карманах пятак на проезд, я неожиданно нашел в одном из них целых двадцать пять... рублей! Когда и как Василий умудрился вложить их мне — это осталось и останется навсегда его, шукшинской, маленькой тайной.

4

— Так как же у тебя обстоят дела с топтыгиным? — вновь спрашивает Шукшин. — Чего молчишь-то?

— Да «Днепр» вспомнил.

— А! Забудь.

— А с медведем нормально, эпизоды сняли все удачно. И Топтыга передает тебе большое таежное «спасибо» за то, что ты заставил меня вызволить его из берлоги.

— Из этой? — Василий озорно тычет пальцем мне в голову. — Из этой «берлоги» я бы много чего вызволил, кабы хозяин ее позволил.

— Например?

— Например... Да ладно, на природе потолкуем, — называя природу «по-киношному» «натурой», произносит Василий и надолго умолкает.

Уже далеко позади остался город Бабушкин, и мы мчимся по осеннему Подмосковию. Василий задумчиво разглядывает пышные наряды желтых кленов и кроваво-красных рябин, стоящих за пестрыми заборами разноцветных дач.

«Для чего он рвется за город? Зачем?» — гадаю я и не нахожу ответа. Да, видимо, Василий и сам точно не знает того, а то бы откровенно сказал мне сразу, еще дома. И все же (я в этом уверен) Шукшин едет неспроста: он дорожит каждым своим часом и ради одного лишь желания «зарезать селедочку» в дальний путь не двинется.

Наш молоденький водитель всю дорогу нет-нет, да и приоткрывается, и бросит пытливый взор на Шукшина — хочет, похоже, спросить его о чем-то, но никак, чувствуется, не решится.

— Это что за «заимка»? — весело нарушает молчание Василий, когда мы въезжаем в большой городок.

— Град Мытищи, — охотно отзывается паренёк.

— Понятно: место, которое вечно ассоциируется с чаепитием, — шутит Василий. — А где бы здесь обычной сырой картошки купить?

— Купим, — заверяет водитель. — Вы пикничок решили устроить, что ли?

— Нет, просто из бутылки истину извлечь.

— Ясно, — шофер останавливает машину на площади с торговыми палатками и выходит из кабины. — Обождите меня, пожалуйста, минутку.

— Ну что... — раскрываю я портфель, намереваясь вынуть бутылку «Варны». — Может, извлечем по полстакана истины-то?

— В такси? Ради шалости, как бывало у нас в студенческие годы? Очень хотелось бы, но прошли те времена, земля. Нельзя мне.

— Почему?

— Да потому же, почему и ларь нельзя перетащить при людях. Таксист, кажется, узнал меня как артиста. Кстати, куда он пошёл?

— Не знаю. Думаешь, что помешает?

— Нет. Просто остерегаюсь лишнего трёпа: выпьем у него на глазах по глотку, а он потом наговорит по Москве на целую цистерну. Ни к чему это — создавать дурную славу об артистах, подводить своих коллег. Ведь обывателям только дай повод — вмиг «обобщат» и привяжут пуп к бороде, что-де наш брат, артисты, такие-рассяки. Понимаешь?

Василий выпивает редко — лишь в часы, когда у него что-нибудь донельзя не клеится в творчестве, особенно в литературном деле. Это называется у него «расслабить пружины». Погуляв, он наутро становится тих, предельно застенчив, от всех прячется: стыдно, хотя предосудительного ровным счетом ничего накануне и не совершил. Затем он яростно, с остервенением вновь наваливается на работу, и тогда его опять можно видеть хмельным, с воспаленными глазами, но уже не от вина, а от сладкой трудовой усталости, от катания своей тяжелой писательской тачки, к которой он добровольно приковал себя навсегда.

— Посмотри на забулдыг, — предлагает Шукшин, глядя в приоткрытое окно. — Вон на тех двоих. Видишь?

Возле ближней торговой палатки, ничуть не таясь, пьют прямо из бутылки вермут двое мужчин, один из которых держит в руке слесарную сумку и шланг для прочистки канализационных труб. Мимо, не обращая на пьющих никакого внимания, снуют прохожие.

— Вижу, — говорю я. — Слесари гуляют, и это будто никого не касается — всё как быть следует.

— Вот, вот! А если бы на их месте сейчас стояли, к примеру, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук, что получилось бы?

Вообразив, как два интеллигентных маститых артиста «глушат из горла» вино на улице, да еще принародно, я хохочу.

— Тебе смешно, — говорит Василий, — а Тихонову с Бондарчуком не до смеха бы стало, допусти они такое. Их бы вмиг окружила толпа прохожих, возмутились бы: «Ишь чего делают, а еще артисты... В милицию их!» А эти двое забулдыг в первую очередь проявили бы инициативу — из особого злорадства. «Ха-ха, — сказали бы они. — Оказывается, артисты такие же, как мы. Давай, Хведор, их в нашу компанию!». И прилипли бы к ним, как репья. Потому что артист, по их странному представлению, ни в коем разе не имеет права позволить того, что они себе позволяют. А если вдруг позволит, то они не простят ему этого — всю свою прежнюю любовь и глупую зависть к артисту в злость обратят. За примером далеко ходить не надо: вон Петр Мартынович Алейников снизошел до их уровня, так они его, безотказно доброго и слабовольного, в вине за это утопили: «Пей, Мартыныч! Пей, Ваня Курский!». И все это делалось под видом любви к нему. Правда, Петр Мартынович тут отчасти и сам был виноват. Но да ладно — не нам судить этого великолепного актера.

— Кстати, о Петре Мартыновиче, — говорю я. — Кроме того, что он был прекрасным актером, я знал его как замечательного мастера устного рассказа. И крепко жалею, что не смог принять однажды его очень интересного, дельного предложения.

— Какого же?

— Да звал он меня как-то раз поехать к нему на родину, кажется, в Белоруссию. Там у него где-то в деревне дядя живет. Работает этот дядя лесником, а звать его, к слову сказать, как и меня. «Давай, — предложил мне Петр Мартынович, — укатим к твоему тёзке, спрячемся от всех и вся в его лесной избушке и поживём лето. Я примусь молоко с медом пить, здоровье поправлять, и стану тебе исключительные случаи из своей жизни рассказывать, а ты не спеша их будешь записывать. За лето, глядишь, книжку веселых новелл смастерим. А они, сй-богу, будут веселые. Вот послушай...» И Петр Мартынович, помнится, поведал мне тут «для затравки» без передыха сразу добрый десяток удивительно занятных эпизодов из своей биографии, да с таким искрометным юмором, что я, по-моему, отродясь смешней и остроумней ни от кого ничего не слыхивал.

— Представляю, — улыбается Василий. — А книжку можно было бы прямо так и назвать — «Новеллы Петра Алейникова». И она бы имела большущий успех — я уверен в этом. Ну и почему же ты не поехал?

— Да у меня в то лето денег не оказалось на такую поездку, а сесть на иждивение к Петру Мартыновичу гордость не позволила.

— Гордость... Проклятие! — Василий от досады звонко хлопает ладонью по спинке переднего сиденья. — Сколько, поди, удовольствия могли дать людям эти новеллы!

— Могли бы, тут сомнений нет. Их читали бы, как сказки барона Мюнхгаузена.

— Ну и плюнул бы ты на эту свою гордость, коли так. «Присяжные» — я имею в виду читателей — потом тысячу раз бы тебя оправдали за подобное иждивенчество.

— Ты прав, Василий. Но я тебе не сказал основного: у Петра Мартыновича тоже в ту пору не было достаточно денег, и приглашал он меня главным образом на «пансион» своего дяди — лесника Игната. Разумеешь?

— А-а... — понимающе кивает Шукшин, и горячность его сразу же проходит; лицо становится уныло-постным. — Все ясно... И еще ясно, что не мужики вы оба. Потому как у мужика на самый крайний случай всегда есть заначка. Имей вы ее в тот раз — сегодня у народа были бы «Новеллы Петра Алейникова». Ведь так?

— Были бы, кабы не «бы»! — зло говорю я.

— Не сердись. Это я в шутку, про заначку-то: откуда людям свободной профессии иметь ее? Впрочем, Алейников мог бы и иметь, кабы не перестал сниматься в фильмах из-за этого проклятого «но» по имени вино. Однако то артист, причем известный. Я же сейчас о других толкую, в частности о молодых писателях. Уж им-то не до заначки, а хоть бы крохотный окладашко получать, чтобы их литературные головы были заняты делом, полезным отечеству, а не мыслишками о том, где бы перехватить рубль взаймы до гонорара, который еще то ли будет, то ли нет.

— Сие, Василий, от нас не зависит, — говорю я и невольно вскрикиваю: — Глянь — что это?!

К нам спешит наш водитель, прижимая к груди большой бумажный сверток, из которого торчат стрелки зеленого лука. Следом за ним шествуют трое таксистов, устремив взоры на нашу «Волгу».

— Это вам, товарищи, — забравшись в кабину, весело вручает шофёр Василию сверток. — Картошка, помидоры и лук. Ешьте на здоровье!

— Вот спасибо-то, как раз кстати, — молвит Шукшин. — Только зачем вы себя утруждали, ведь мы и сами могли бы сбегать — не без ног.

— Ничего, я помоложе. А потом у меня правило — исполнять желание своих пассажиров, даже если они и не просят. Ведь вы же хотели картошки, не так ли?

— Ну, спасибо еще раз, — Василий с улыбкой кладет сверток возле ног и бросает взгляд на таксистов; те, не дойдя метров шести до нашей «Волги», остановились и с нескрываемым любопытством разглядывают Шукшина. — А это что за Коллектив Иванович собрался?

Паренек наш, занятый поправкой разноцветной проволочной обмотки на ба-ранке, не слышит вопроса, или делает вид, что не слышит. А в приоткрытое окно «Волги» с улицы доносятся приглушённые голоса таксистов. Василий и я невольно наостраем уши. Между таксистами идет негромкий, но горячий спор о том, Шукшин перед ними или не Шукшин.

— Да он это! — утверждает один. — Мне его лицо хорошо по «Двум Федо-рам» запомнилось.

— А мне по «Золотому эшелону», — говорит другой.

— Да ну! — возражает третий. — Двойник это. Будет вам Шукшин картошку есть: артист же!

— А что — артисты, по-твоему, исключительно ананасы едят, что ли? Ска-жешь ты тоже, Сvirкин... — смеется первый.

— Да чего попусту гадать. Лучше давай спросим его, кто он, — принимает решение второй. — Не пошлет же, поди, к чёрту?

И вот уже он, склоняясь перед окном «Волги», обращается к Василию:

— Извините, вы... артист Шукшин, да?

— Нет, нет, вы ошиблись. Какой я артист! Артисты — они где? Они — там... — Василий большим пальцем многозначительно указывает вверх, пыта-ясь отшутиться. — Та-ма!

— Шукшин, ребята! — торжествует таксист. — И голос и движения его!

— Ну, хорошо, — сдаётся Василий. — Шукшин я, а в чем дело? Что надо?

Таксисты растерянно молчат, видимо, совершенно не зная, о чем говорить. Наконец тот из них, кого назвали Свиркиным, спрашивает:

— Товарищ Шукшин, вот мне интересно, сколько вы как артист зарабатываете, а?

Василия буквально коробит, когда к нему пристают из одного лишь праздного любопытства, разжигаемого мелкими страстишками обывателя, жаждущего пронюхать что-нибудь из личной жизни артиста, чтобы потом потрепаться за кружкой пива или под грохот костяшек домино.

— Миллионы! — с вызовом бросает Шукшин Свиркину и просит нашего водителя: — Поехали, да побыстрей!

Пока паренек жмет на стартер, мы с Василием слышим ропот таксистов.

— Видели — он с нашим братом даже разговаривать не хочет.

— Еще бы — лауреат!..

— А ведь был, газеты пишут, работягой, как мы. Зазнался, пим сибирский...

Едем. Шукшин сердит и оскорбленно мрачен.

— Слушай, паренек, — вдруг говорит Василий водителю. — Ты за что же это мне под самый дых-то? Ведь я тебя, кажется, не просил встречу с подобными зрителями устраивать.

— Да я вовсе не хотел этого, Василий, как вас по отцу-то?

— Макарович.

— Не хотел я, Василий Макарович. Это малый один из нашего таксопарка увидел, что я картошку покупаю, и подошел ко мне. Ну, разговорились — куда еду, кого везу. Я сказал, что вроде Василия Шукшина. А он побежал на стоянку такси, растрепался там, и они гурьбой увязались за мной поглядеть на вас.

— А я что... снежный человек — разглядывать-то меня? Кхэ... — Василий сокрушенно мотает головой. — «Зазнался», да еще «пим сибирский»... а сами не знают даже, чего им и надо от меня. Ну, подошли бы по-человечески, о деле бы каком, о кино, о трюковых съемках, что ли, спросили — разве бы я не ответил?! Да если уж на то пошло, я сам первым люблю завести толковище, но только о деле. А то: здрассте — сколько получаешь? Идиоты, дегтем бы их обдать!

В такси воцаряется молчание. Шукшин сидит в хмурости, водитель ерзает на сиденье, явно сожалея о случившемся. А я невольно вспоминаю один поздний субботний вечер, а точнее — ночь, когда Василий Шукшин, благоухая цветами и слегка коньяком, ввалился ко мне с огромной охапкой красных и белых роз и заговорил счастливо и оттого донельзя смущенно и отрывисто:

— Земеля! Я это... перед зрителями нынче выступал, вот. Нравится им Пашка-то мой. Шоферам нравится и другим рабочим — ага. И даже этим... как их? Эстетам, черт их целуй, тоже нравится, хотя они и косорылятся: грубо-де — ага. А народ вот цветов надарил, только куда мне их теперь, а?.. — Он подумал, подумал и вдруг встрепенулся. — Вот что, давай отправим розы на Алтай! И знаешь кому? Пашкам Колокольниковым на Чуйский тракт, их там много у меня — Пашек-то. Давай, а?

— Но как же мы их отправим?

— С оказией! Самолетом!

Когда у Шукшина в душе загорится, ничем не погасишь. И мы очутились в аэропорту Домодедово. Но Василию не повезло: «оказия», то есть пассажиры, улетающие в Барнаул, уже все ушли на посадку в самолет. Мы опоздали на ка-

ких-нибудь пять минут. Василий чертыхнулся и, почесывая в затылке, сдвинул кепку на брови:

— Что же делать? Ну, подскажи!

— Вась, а не мальчишество ли все это, чем мы сейчас заняты?

— Мальчишество. Допустим! Ну и что? — он свысока оглядел меня, будто петух мышонка, и клюнул: — У меня сегодня особый порыв, а ты не ценишь. Потому как ты старше меня на целых пять лет!

— По-моему, это ты на столько старше-то.

— Годами — я, да. А душой — ты! Но я твою душу омоложу... — сказал он с притворной угрозой. — А то чувство романтики утратил и спишь на ходу...

Потом Василий надолго ушел в себя и вдруг произнес огорченно:

— Н-да, парадокс!

— Ты о чем? — не понял я.

— Отчего-то подумал вдруг о Грине. Говорят, этого мрачного вятича в детстве дразнили «Грин-блин»... Жил и умер в лютой нужде, а ведь был самым богатым человеком в мире. Имел в собственности не корову, не пароход, не золотой прииск и даже не алмазный дворец, а целую персональную страну — Грину!

— Вась, а ты займай Шукшину, — в шутку предложил я.

— Такая страна у меня уже есть, — сказал он серьезно. — Правда, она еще малолюдная. Но клянусь — я заселю ее! В ней будут жить оригиналы, личности особого склада, но не такие, как у Грина, а глубоко земные, «от сохи», как любят выражаться эти... как их? Снобы, черт их целуй!.. Но пусть они выражаются, как им хочется! Я же знаю одно: читатель и зритель ждут не дождутся подобных — сугубо земных героев, потому что истосковались по поэзии интимных будней, по поэзии обыденных радостей и горестей, по поэзии той повседневной правды, которой живут мои герои, то есть истосковались сами по себе, так как мои герои — это те же самые читатель и зритель. И я поставлю им зеркалом свои книги и фильмы: радуйтесь, смейтесь, плачьте, люди, глядя на себя, и думайте, думайте, думайте, какие вы есть!

— Это твое как бы творческое кредо — понимаю, — заговорил я. — Но вот ты, Василий, сам — любишь ли ты Грина?

— Грина? Кто его не любит! Пожалуй, все любят, в том числе, наверно, и я, да... И все же мне, как человеку, ближе романтика Джека Лондона. Потому что Лондон... как тебе сказать?.. Более конкретен, что ли... Да, конкретен! Возьми хотя бы его Мартина Идена — этот великий упрямец аж физически заражает человека своим живым примером — как и каким образом надо идти к заветной цели. А Грин — это все-таки прекрасный рыцарь абстрактной мечты. Мечтайте, люди, верьте в счастье — и оно само приплывет к вам на алых парусах! — обещает Грин. Черта с два оно приплывет, если ты не будешь за него бороться одержимо, как герои Джека Лондона. Но сегодня, именно в этот ночной час, я почему-то отдаю предпочтение Грину, его мягкой колдовской романтике, зовущей совершить что-то необыкновенное и обязательно доброе. Но что я могу совершить в данный миг? Единственное — подарить вот эти розы. А кому?

...Вся наша беседа происходила на лавке, озаренной светом, шедшим из стеклянного здания аэропорта. Разговаривая, Василий поминутно то вставал, то опять садился.

— А вот кому я их подарю! Братьям Пашки Колокольниковых! — вдруг шепотом вскричал он и поднялся с лавки, явно что-то замыслив.

— Земеля, только чур, не бросай меня!

«Что же — колобродить так колобродить!» — сказал я себе мысленно и с радостью отдался веселой власти Шукшина.

Мы пересекли аэропортовскую площадь и оказались на стоянке такси, где зеленело с десяток огоньков.

— Вот так букет!..

Дивясь на розы, нас начали окружать водители. И тут Василия окончательно обуял его «особый порыв». Он поднял цветы высоко над головой и обратился к таксистам озорно и просто, словно к старым знакомым:

— Здорово, мужики! Вы Пашку Колокольникова знаете? Про него еще фильм снят «Живет такой парень» — смотрели?

— Это который «пи-пирамидон», что ли? — заикаясь, спросил кто-то голосом куравлевского Пашки, и несколько водителей сразу же засмеялись.

— Значит, знаете. Тогда братский привет вам от него с Чуйского тракта, а также подарок. Держите! — и Василий всучил охапку роз таксисту, стоявшему к нему ближе других.

— Да это же Шукшин, ребята!

Василия взяли в полукольцо и уставились на него с тем особым интересом, с каким провинциалы разглядывают подлинники хорошо знакомых им портретов, впервые придя в Третьяковку. Шукшин в свою очередь изучающе прошелся проницательным взглядом по их лицам, что-то оценил в уме, загадочно улыбнулся и, постукивая кулачищем себя по груди, заговорил интригуяюще-доверительно:

— Я пришел дать вам волю. Волю высказать мне в лицо правду о моей картине. Высказать не официально, как в конференц-зале, а как говорят шоферы или матросы друг другу в беседах при ясной луне, то есть без стеснения, — не покраснею, потому как привычный — сам шофёрил и матросил. Словом, говорите, как хотите, но только честно, откровенно и прямо, как гвоздь, — одним ударом. Согласны, ребята?

Шоферы молчали. Кто-то глухо покашливал, кто-то закуривал, кто-то тихонько хохотнул, опять повторив по-куравлевски: «Пи-пирамидон». Затем все разом сильно оживились, заговорили между собой, и кто-то бросил Шукшину с непонятной обидой:

— Хреново...

— Что — хреново? — насторожился Василий.

— Да то, что таких картин, как ваша, мало ставится.

— Уж что верно, то верно — мало, — подхватил другой. — Вообще-то картин на рабочую тему полно, да они за сердце почти не трогают, потому что нутра рабочего человека не раскрывают, души его, мыслей. Герои больше всё о производственном плане толкуют, будто они не люди, а какие-то неземные роботы.

— А что, и про план нужно говорить в кино. Потому как план — это часть нашей жизни, не отбросишь. Только вот говорить надо интересно, живо, чтоб аж дух захватывало, а не по-газетному, — включился третий, чем-то очень похожий на Василия Теркина, и обратился: — Товарищ Шукшин...

— Ребята, не надо официальнойности, просил же, — морщась, перебил «Теркина» Шукшин. — У меня ведь имя есть — Василий. И даже отчество — Макарович. Да.

— Хорошо, Василий Макарович, — учел просьбу «Теркин», — раз тут о плане речь зашла, то разрешите рассказать вам веселый сюжетец, как в нашем таксопарке один чудака пятилетку за три года выполнил. Может, вам где сгодится.

— Слушаю, — Василий закурил. — И как же?

— А так. Смотрим: ездит, ездит и каждую смену план все перевыполняет, перевыполняет, ребят аж завидки берут. И выполнил — ровно на пару лет раньше срока! Многотиражка его хвалит, стенгазета тоже, он цветет, выпендривается перед всеми, гоголь гоголем! Да... а потом, глядим, жена его к директору парка заявляется и говорит: «Когда моему мужу орден дадите?» — «Какой орден? За что?». Она: «За досрочное выполнение пятилетки». Директор отвечает: «Ваш муж передовик — признаем, понимаем, но ордена он пока еще не заслужил». А она: «Как не заслужил? Разве одного «Урала» недостаточно, чтобы орден дали?» Директор глазами хлоп-хлоп: «Какого «Урала»?» А та: «Обыкновенного — мотоцикла, который он продал, а деньги вносил в кассу парка как от перевыполнения плана». Директор наш: «Фью-ю!» — свистнул аж. А она в амбицию: «Чего “фью-ю”? Мой муж не пройдоха! Он почти каждую смену план перевыполнял, а когда не перевыполнял или недовыполнял, то вносил мотоциклетные, то есть свои. За честь вашего парка боролся. Разве все это не достойно награды?» Директор ей: «Хорошо, разберемся». А она: «Только побыстреей, пожалуйста». И пошла, вся разодетая... как светофор.

— А зачем ему орден так шибко понадобился? — спросил Шукшин.

— Не ему, а больше ей — хвалиться, что муж ее не только не пьет, не курит, но еще и орденосец, знатный человек — идеальный, словом.

— Ну и чем же наградили этого «идеала»?

— Пинком под зад из парка. Хорош сюжетец?

Водители хохотали, Василий тоже.

Хмурый в институте, молчаливый на киностудии, мрачный и скованный в Доме кино, Шукшин среди простого рабочего люда почти всегда резко преобразался — удивительно веселел лицом и добрел сердцем, словно попадал в гости к нежным родичам и дорогим землякам. Он широко распахивал душу, и люди сразу чувствовали это и становились с ним взаимно приветливыми и откровенными. Быстро расположить к себе людей — умение редкое, но разноталантливый Шукшин обладал и этим даром. В такие минуты я невольно сравнивал его с Петром Мартыновичем Алейниковым — тот тоже был мастер располагать людей, однако говорить, вести «толковище», приходилось в основном ему одному.

У Шукшина же было все наоборот: познакомившись с Василием, люди тянулись к нему, как правило, не столько его послушать, сколько выговориться самим, излить ему свою душу. Они как бы забывали, что перед ними артист, писатель и режиссер, и разговаривали с ним просто и доверительно, как с очень умным товарищем из их круга. Возможно, это происходило еще и оттого, что и сам Василий, когда «толковище» велось по душам, забывал, что он Василий Шукшин, и целиком растворялся в той массе, с какой разговаривал, но в то же время фамильярничать и панибратствовать с собой никому из собеседников не позволял, был независим и внутренне строг — словом, был «самостоятельный», как говорят в русском народе, желая выразить наивысшее уважение к человеку. Я долго старался уразуметь механику его скорого и умелого растворения в людях. А ее, оказывается, в общем-то и не было: Шукшин входил в народ, как в свою семью, как в свой родной дом, где ему не только все знакомо и понятно, но главное — интересно и жизненно важно. Самое живое и искреннее участие в том, о чем рассказывали ему люди, глубокое сопереживание, разговор сердцем — вот что растворяло Шукшина в народе. Я понял это неожиданно как раз в ту памятную домодедовскую ночь, когда Василий беседовал с таксистами.

Посмеявшись над незадачливым «передовиком», Шукшин поинтересовался:

— А как его турнули? Общим собранием, конечно?

— Нет, триумвиратом — директор, парторг, профорг, — ответил все тот же «Теркин».

— А вы где были? — вдруг зажегся Шукшин. — Ведь это же исключительный случай! Надо было всем парком потолковать с этим «идеалом», бабу его пригласить. Может, они бы поняли, что к чему в жизни.

— Была такая мысль, Василий Макарович. Да «триумвират» наш конфуз свой показать испугался: ведь раньше они все трое этого «передовика» в пример нам ставили, а тут... а тут тихонько пригласили его к себе и сказали: «Мотай по собственному желанию, прохиндей ты такой-сякой и бабье мочало!» Вот и все.

— Кхэ! — Василий кулачищем долбанул по капоту ближней «Волги» и тотчас спохватился: — Ох, виноват! Краска не отлетела?.. Нет. Извините, сгоряча вышло. От досады на начальство, что лишило людей удовольствия обсудить сообща такой блестящий пример несусветной человеческой глупости... Н-да, братцы, это уже не сюжетец, а целый серьезный сюжет.

Таксисты загалдели, каждый почему-то сочтя должным пороптать на начальство своего парка. Кому-то директор обещал машину новую, да не дал; другого незаконно, по его мнению, лишили премии; третьему отпуск передвинули на зиму... Роптали все, и все просили Шукшина «пропесочить посмешнее» их начальников «в кино с экрана».

— Зажимает дирекция наши права, — промолвил кто-то. — Да мы их толком и не знаем.

— Будет вам приbedняться-то. Уж кто-кто, а вы-то свои права знаете, как боги, и любого начальника за горло возьмете, если он их у вас хоть чуть-чуть зажмет. Разве не так? Так. А потому не прикидывайтесь передо мной ягнятками и не избражайте начальство серым волком, — отчихвостил Шукшин таксистов, но таким тоном, что те не только не обиделись, а даже, наоборот, прониклись к нему еще большим уважением — поняли: этот человек их рода-племени, видит все насквозь, и оттого сгущать краски и вообще пороть чепуху им не следует.

А Шукшин, обращаясь к «Теркину», опять заговорил об «идеале»:

— Каков, а!.. Жаль, очень жаль, что ваш «триумвират» струсил, замаял такое уникальное дело.

— Разве это дело?! — воскликнул другой таксист, толстенький и добродушный. — Вот у нас в парке от одного дубоватого праведника — тоже не пил, не курил — жена удрала с лейтенантом — это дело. Дубоватый так на неё осерчал, что даже в партком побежал возмущаться, а потом в газету клязу настрочил, где выразил такую мысль: «Если наши жёны — вот так, по-дворянски, с офицерами станут разрушать наши советские семьи, то никакого общества у нас не будет». Все это я своими глазами читал.

— Во дает! Вот уж действительно дуб! — смеялись таксисты над «праведником». — Ну и дурак!

— Нет, он не дурак, а натуральный воинствующий мещанин и эгоист, а главное — демагог, только малограмотный, — заметил Василий и мельком бросил мне: — Отличный рассказик!

— Демагог — это точно, — охотно подтвердил толстячок. — На собраниях все о благе народном гундосит, а присмотришься — лишь о себе думает. Кстати, Василий Макарович, а в кино такие есть?

— Встречаются, люди же везде одинаковые. Только в кино демагог масштабом покрупнее вашего, потому как грамотный. И вреда может принести побольше.

— Так еще бы: фильм-то смотрят миллионы! — понимающе молвил толстячок и крутнул головой, сокрушаясь: — Рождаёт же природа уродов! Кстати, а вот еще один случай...

Над аэропортом стоял туман, самолеты не летали, таксистам везти было некогда, и оттого «сюжетцы» и «случаи» лились рекой. Слушая их, Василий то смеялся, то негодовал, то затевал спор и огорчался, если протспоривал, но чаще торжествовал, выходя из спора победителем. В этот час он полностью был во власти таксистской жизни, горел страстями водителей, дышал их шоферской атмосферой. И мне порой начинало почти всерьез казаться, что Шукшин вовсе не кинематографист и литератор, а бывалый, заправский таксист.

Впрочем, если бы Василий беседовал в тот момент с летчиками или с дворниками, он точно так же выглядел бы летчиком или дворником: диапазон подобных перевоплощений у него был необычайно широк. Однажды, например, в Крыму, когда Шукшин вел «толковище» с колхозными рыбаками из поселка Судак, мне вдруг почудилось, что он самый что ни на есть настоящий «пахарь моря»: до того органично и глубоко сумел он вписаться тогда в рыбацкую среду.

«Как ему удастся такое — быть своим среди людей самых разных профессий?» — гадал я и долгое время объяснял это его актерским мастерством.

Но домодедовское «толковище» — скажу об этом еще раз — дало мне понять иное...

— Кхэ! Значит, ты его, бюрократа пьяного, к жене привез, жизнь ему спас, рискуя собой, а он к тебе же еще и с претензией... Это надо же — какой гад! Да я бы ему ключом по ребрам! — зло возмущался Василий, выслушав очередную таксистскую историю.

У него яростно гуляли по щекам желваки и глаза блестели, как у больного при жару. Я смотрел, смотрел на него, и вдруг меня осенило: «Так вот почему Шукшин свой среди них: он не в силах оставаться равнодушным к их делам и заботам! Их боль — его боль! Их радость — его радость! Жизнь этих людей — его жизнь!.. И актерское мастерство здесь абсолютно ни при чем!..»

И еще я заметил той ночью, что Василий обладает какой-то удивительной, прямо-таки чуть ли не гипнотической силой одергивать и остепенять людей. Когда таксисты, обсуждая один острый случай, дошли вдруг до взаимных оскорблений, Шукшин негромко и сдержанно, но очень властно осадил их:

— Мужики! Перестаньте лаяться! С этого же драки начинаются, в три короба вас!..

— И то верно, — сказал кто-то. — Хватит базарить!

— У вас что — головы опустели? Если так, то лайтесь и деритесь: пустые головы не жалко!

Таксисты быстро охладили свой пыл, опомнились и утихомирились, будто Шукшин окатил их водой. В общем-то он ничего особенного им не сказал, но зато его тон был таким предупреждающе-грозным, как если бы он крикнул: «Осторожно, ребята: мины!».

Я глядел на Василия и, сам не знаю почему, думал, что в пору боярства на Руси этот человек вполне мог бы быть мужчицким атаманом: умен, крепок волей и властен силой духа. И еще я подумал, что роль Степана Разина в кино никто, пожалуй, лучше, чем он, не сыграет.

— Так, мужики, — спохватился под конец Василий. — Розы поделить! Да!.. А про картину-то мою вы мне так ничего конкретного и не сказали.

— Да что говорить — душевная картина. Про нас и без прикрас — вот что замечательно в ней, — сказал «Теркин» и спросил: — А чем нынче занят Леонид Куравлев?

— Снимаю его в новом фильме, который будет тоже «про нас и без прикрас», про ваших братьев, хотя уже и не про шофёров.

— Лишь бы все по правде было, а шофёр там, профессор какой или печник — это не важно, — заметил кто-то. — Будет так?

— Стараемся.

— А смешного много будет?

— Вот это вы мне сами потом скажете, — ответил без улыбки Шукшин и стал прощаться. — Ну все, ребята. До свидания. Спасибо за разговор. Кто нас отвезет в Москву?..

Спустя часа два мы оказались в Свиблове. Распрощавшись с «Теркиным» — а отвез нас именно он, — Шукшин так высказался о встрече с таксистами:

— «Толковище» было что надо! Интересные мужики попали нам, башковитые, мыслят масштабно. И не бездари — мужик-то, что на Васю Теркина похож, — рожденный рассказчик! И другие умеют, ты это заметил? Во-от, то-то!.. Народ!.. — он со значением потряс указательным пальцем. — Зарядился я от них — надолго хватит!.. Слышь, а кто рассказ под названием «Идеал» напишет — ты или я?

— Я не буду: тайги в сюжете нет.

— И я не стану: села нет в сюжете.

На этом и закончилась тогда полуночная одиссея Василия Шукшина, ярого поклонника Джека Лондона и открывателя своей собственной литературной страны — Шукшинии...

5

Часа три пополудни. Сидим на обрывистом берегу Клязьминского водохранилища у костра. Печем на углях картошку, которую наш молоденький водитель вручил Шукшину почти насильно. Насильно потому, что Василий, обозленный на беспардонность трех таксистов, заодно разобиделся и на нашего паренька, да так крепко, что поначалу, когда мы приехали к воде, даже отказался принять от него пакет с овощами. Паренёк взмолился:

— Они нахамили, а я-то при чем здесь, а? Меня-то за что вы невзлюбили? А, Василий Макарович?

— Под горячую руку попал, — сказал Шукшин и смилостивился: — Ну ладно уж, давайте.

Он взял пакет и протянул пареньку два рубля.

— Не надо, не надо! — запротестовал тот. — Я вам от души, а вы деньги... Лучше помогите мне один вопрос решить. Я всю дорогу хотел к вам обратиться, да стеснялся. Можно?

— Ну говорите, слушаю.

— Дело такое, значит. Старший брат у меня есть. Воровал когда-то, отсидел шесть лет за коллективный грабеж. Нынче на свободе, работает сантехником. Женится, ребенка заимел. С прошлым порвал окончательно, или «завязал», как у них

там выражаются. Однако брат считает, что лучше бы уж не «завязывал», потому как дружки его давние теперь грозят по телефону: «Развязывай, фраер! Ты вор и должен делать свое дело, иначе пришьем!» Звонят обычно по ночам или рано утром по праздникам. Брат после их звонков сам не свой становится — весь в себя уходит, молчит или, наоборот, буянит, водку глушит и с женой ссорится. Василий Макарович, вы человек, по всему видать, самостоятельный, с опытом жизненным, — посоветуйте, как быть моему брату. Ведь убьют же!

— Кхэ, вот губошлепы, табуном бы коней их топтать! — Василий в негодовании потряс сжатым до белизны кулачищем, а потом сказал мне с отчаянием: — Знаешь, вот уже, поди, десятый раз люди просят у меня совета, как выкарабкаться человеку из подобной ситуации, а я бессилён изречь что-либо путное. Потому как та мораль, какой живут нормальные люди, для уголовников, подонков общества — это пустые звуки. Они уважают и почитают лишь одно... — Василий показал свой кулачище. — Вот это — грубую материальную силу. Волку (а подонки подобны ему) ведь не скажешь: «Серый, не ешь человека!» — потому что он не понимает человеческого языка. С волками жить — по-волчьи выть...

— Но мой брат не хочет больше с ними ни жить, ни выть, — промолвил паренек. — Но и отделаться от них не может: обложили, сволочи. Где выход?

— А в милицию он обращался? — спросил Василий.

— Хотел, да побоялся; его дружки бывшие предупредили по телефону: «Не вздумай в отделение побежать — мы следим за каждым твоим шагом и ухлопаем тебя раньше, чем ты окажешься в милиции».

— Вот оно что, ясно... Слушайте: ваш брат обязательно и немедленно напишет на Петровку, 38, в МУР и укажет в письме имена тех, кто ему угрожает.

— Мы с братом думали уже об этом, да беда — брат не знает всех имен. МУР, положим, задержит тех, на кого он укажет, а кто-то из оставшихся на свободе всадит ему нож в спину.

— Ничего, МУР есть МУР: они найдут способ, как человека защитить. Не думайте, что там люди деньги зря получают, муровцы умеют повязывать подонков. И вообще, милиции надо верить. Поняли? А потом сообщить МУРу — это в конце концов гражданский долг вашего брата, да и ваш тоже. Долг оградить общество от шайки негодяев. Ясно?

— Хорошо, скажу брату, — подумав, вымолвил паренек. — Нет, не скажу, а заставлю написать. А вам спасибо за совет. Большое спасибо, Василий Макарович. До свидания!

И паренек уехал. Василий проводил взглядом его «Волгу» и уже в который раз вновь надолго ушел взглядом в себя.

— Н-да, дела... — спустя некоторое время произнес он. — Когда-нибудь я возьму и напишу книгу или поставлю фильм о бывшем воре, который осознал свои ошибки, раскаялся в преступлениях и жаждет вести нормальный образ жизни, а подонки мстят ему за это и в конце концов убивают...

Ах, как разобидятся на Василия Шукшина многие воры, когда он исполнит эту мечту — выпустит в свет свою «Калину красную»! В его адрес посыплются сотни злопахательских писем, и один вор, называя себя с большой буквы — Вором, будет уверять создателя кинотрагедии от имени всех воров, что они-де совсем не такие, они-де милостивее экранного Губошлепа, убившего Егора Прокудина, потому что они-де воры порядочные и... честные! У них-де есть железный закон: хочет вор «завязать» — пусть «завязывает», они ему «разрешают» не воровать и

«позволяют» стать «честным фраером». Шукшина взбесит этот факт разделения ворьем самих себя на честных и нечестных, и он ответит им через газету «Правда» примерно так: на свете нет двух правд, нет двух честностей, а есть только Правда и только Честность, остальное — Ложь, какими бы правдешками ее ни оправдывали и в какую бы розовую тогу ее ни наряжали...

Но это произойдет лет восемь-девять спустя. А сейчас... Сейчас мы, отыскав укромное безлюдное местечко на крутом берегу Клязьминского водохранилища, занимаемся сугубо прозаическим делом — печем картошку и ведем непринужденные разговоры на самые разные темы.

— Чего мать-то тебе пишет? — спрашиваю я.

— Просит, чтобы мы с тобой сегодня сильно не забутыливали, — шутливо шепчет Василий.

— А серьезно? Если, разумеется, это не тайна?

— А серьезно — сообщает, что в Сростках уже выкопали картошку и теперь на огородах ботву жгут. И еще пишет, что скоро на Алтай прикатит месяц октябрь на телеге, полной капустных кочанов, и тогда по всему селу застучат железные сечки. Хозяйки уже пропарили кипятком с калеными гальками и смородинными ветками бочки и промыли берёзовые корыта, в которых будут рубить капусту. Ах, как хорошо сейчас там! Как хорошо, земля!.. Ну, давай выпьем за нашу добрую землю, что учит нас говорить на языке родных берез!.. Что? Что? Выспренне выражаюсь? Ничуть!

Обжигая пальцы, ломаем черную хрустящую корку печеной картошки и закусываем снежно-белой крахмалистой мякотью.

— И что у людей за манера: чуть растрогаешься, заговоришь искренне, сердцем — сразу же тебя обвиняют либо в выспренности, либо в сентиментальности, — ворчит на меня Василий.

— Ну, я-то тебе так — шутя про выспренность брякнул, — говорю я и делюсь с Шукшиным своей душевной болью, которая будет угнетать меня неизбежно: — Тебе, Вася, хорошо: у тебя есть родина — твоё село. А у меня вот нету.

— Как так?

— А так: Балахчин мой вместе с Таежной и другими всеми улицами исчез с лица земли.

— Не понимаю.

— А ты послушай. Жили в Балахчине тысячи три человек, большая часть их добывала золото. А потом золото — это случилось не так давно — вдруг разом кончилось, и люди вместе с домами переехали в райцентр Ширы, что находится в семидесяти километрах. И шумит теперь на том месте, где я жил, учился и работал шахтером и геологом, молодая тайга. Ни единого домика не осталось! Понимаешь?

Василий в долгом молчании режет помидоры, ветчину, сыр — осмысляет, видимо, сказанное мною, а потом говорит:

— А ведь это очень печально — то, что ты мне сообщил, н-да... Исчезни-ка, к примеру, мои Сростки — мне, пожалуй, будет ничуть не легче, чем березе без корней. И это, земля, не громкие слова, не выспренность, а непреложная истина. Живу я вот в Москве, а соки-то жизненные, силы-то духовные и творческие черпаю оттуда — из Сростков, да... а вот откуда же ты теперь брать их будешь, а?

— Я не приверженец в писательстве какой-то одной-единственной темы, как ты. Конечно, я порой до слез жалею, что у меня нет больше родимого уголка с

отчим домом и милыми земляками, как у тебя, но, однако, что же делать! Жизнь в конце концов не сошлась клином на одном золотом руднике. Охотники, взрывники, таежные пастухи, строители железной дороги, учителя, художники... да мало ли самых разных людей, о коих я пишу и хочу писать! Ты же — сельский житель и меришь все, как говорится, от своей крестьянской телеги...

— Чудик ты! — вдруг снисходительно хлопает меня Василий по колену. — Да ты почитай мои рассказы повнимательней, и увидишь, что на телеге-то у меня самый разный люд едет. Сам народ-батюшка, да! Только наделен он чертами моих земляков-крестьян, потому что так мне легче и сподручней выражать свои мысли. Черты крестьянские — это как бы мое особое средство, своеобразное орудие художественного отображения общенародной жизни. А давал и дает мне это средство мой родимый уголок — Сростки. Вот о чем я тебе толкую. Я могу написать об артисте, о космонавте, о докторе технических наук, о слугителе культа, о министре, о трактористе, об адмирале флота — о ком угодно! Но характеры, образы этих людей получаются у меня удачно лишь в том случае, если я, курчаво говоря, буду макать свое перо в чернильницу крестьянской жизни. Да, я сельский житель, крестьянин, мужик, но глубоко заблуждаются те, кто считает, что в голове у меня сидит только «соха». Любимый мною Сергей Есенин — он тоже из крестьян, тоже «от сохи», но он — поэт далеко не крестьянский, а общенародный, потому что, играя на своей березовой мужицкой лире, сумел затронуть ее звуками душу каждого — от самого простого мужика до суперинтеллигента. А удалось ему добиться этого тем, что лира его издавала звуки вечной общечеловеческой правды. Скажу откровенно, мне не важно, от крестьянской телеги или от заводского станка шагает литератор, главное — чтобы он шагал от большой жизненной правды, понятной и нужной всем. И в то же время я желаю каждому литератору иметь на земле свое Константиново, свою Вешенскую, свою Тарусу или хотя бы... — Тут Шукшин конфузливо кашляет. — Или хотя бы Сростки. А тебе мой совет: ты хоть и не приверженец какой-то одной темы, однако держись своей горной тайги, родной природы, которую ты, себе на счастье, знаешь и чувствуешь, как дикий зверь, а главное — любишь. Пиши, о чем хочешь, но все озаряй той любовью, теми добрыми чувствами, какие пробуждаются в тебе, когда ты сидишь при закате летнего дня у таежного костра, под зеленой крышей ласковой природы родного края.

— Прямо стихи в прозе! — восклицаю я шутливо.

— Сейчас я с тобой и о прозе потолкую, в частности о твоей, — строговато молвит Василий и спрашивает с прищуром: — Сколько у тебя на сегодня написано рассказов о природе?

— Около сорока таежных былей.

— Ого! А какого дьявола книгу не издал?

— Унижаться не хочу.

— Что это значит?

— А то! Году еще в шестидесятом отнес я кипу своих рассказов в «Литературу и жизнь» — пусть, думаю, обсудят. А редакция взяла, да и отдала их на рецензию одному студенту из Литинститута. И тот, начав с рассказа «Колдун», где я описываю повадки соболя, рябчиков и бурундуков, категорично заявил на официальном газетном бланке: «Бурундук — такого зверя в России нет, а поэтому «Колдун» и прочие рассказы вызывают сомнение в достоверности описываемого. К тому же язык всех рассказов изобилует областными словечками, как-то: «тайга», «кедрач», «сопка», «пихта» и т.п.». И подпись: «С приветом, литконсультант...»

— Великолепно! — хлопая себя руками по бедрам, хохочет Шукшин. — Ну и что ты после такой рецензии сделал?

— Сперва хотел пойти к этому самому рецензенту и потолковать с ним, но затем подумал, поразмыслил и решил, что к подобного рода деятелям, которые не знают элементарнейших вещей, мне, выросшему среди сопок, покрытых черно-синими пихтами, ходить унижительно.

— Обиделся, значит...

— Да, обиделся, но не на рецензента — что на него обижаться, раз он «с приветом»! — а на редакционные порядки — отдавать работы профессиональных литераторов на рецензии случайным людям.

— Да, за редакциями водится такой грешок — подкармливать рецензиями окололитературных мальчишек, которым в общем-то плевать на то, что они рецензируют, абы удалось заработать, — говорит Шукшин. — Но мне, к счастью, повезло — бог спас от встречи с ними. Я ввалился в редакцию и разыграл там роль сугубо занятого мужика. Обсудите, говорю им, мои рассказы немедленно, а то я на экзамен тороплюсь!.. И они, как это ни странно, особо долго тянуть не стали, обсудили без помощи мальчишек-рецензентов.

— Странного тут ничего нет: артист пришел — любопытно, интересно. Вот, к примеру, принеси им свои рассказы Олег Стриженов — тоже вмиг обсудят. Не понимаешь, что ли?

— Может быть, ты и прав, — раздумчиво произносит Василий. — Но ладно, не обо мне сейчас речь. Я, помнится, обещал сегодня кое-что вытащить из этой вот «берлоги», — он опять, как в такси, шутя тычет мне пальцем в голову.

— Тащи, разрешаю. А что надо-то?

— А вот что — дай мне твои рассказы, и я протолкну их в каком-нибудь издательстве.

— Нет! — отрубаяю я. — Сам, без протекций, протолкну, иначе уважать себя не стану.

Василий минуты две смотрит на меня сосредоточенно, а потом говорит, пожимая плечами:

— Не знаю, то ли уважать, то ли жалеть, то ли бить тебя надо за этот отказ. Ведь опять напорешься на какого-нибудь рецензентушку.

— На этот раз не напорюсь — ученый.

— Ну смотри, дело твое, но, если в ближайшие годы ты не подаришь мне свою хоть одну книжку, я перестану с тобой здороваться.

— И подарю! — заносчиво говорю я и тем самым как бы сжигаю за собой мосты для отступления. — Жди! И не одну!

И я действительно в недалеком будущем подарю ему сразу два сборника своих рассказов о природе: «Колдуна» и «Ошибку ястреба», которые выйдут в свет с благословения Сергея Венедиктовича Сартакова. Книжки будут адресованы самым маленьким читателям, но Василий Шукшин отзовется об их содержании так:

— А ведь это интересно всем — и малым и старым. Почаще публикуй такие рассказы, Игнаха. И не только отдельными книжками, но и в периодике. Подружись крепче с газетой «Сельская жизнь», с журналом «Юный натуралист» и шуруй!

И я подружусь. Но это все будет после, после. А сейчас я интересуюсь у Василия, когда он начал серьезно заниматься писательским делом, при этом говорю шутя:

— Вась, вот тебя как писателя не было, не было, не было и вдруг — ба! — объявился, как с неба свалился! Как так?

— Спасибо тебе, — с непонятным вызовом отвечает он.

— За что? — недоумеваю я.

— А помнишь, как я бегал за тобой по институту и умолял написать для меня сценарий по книге «Угрюм-река»?

Я припоминаю: да, было такое — просил, и не раз просил меня Шукшин перевести шишковский роман на сценарный язык: он хотел экранизировать «Угрюм-реку» то ли в курсовой, то ли в дипломной работе. Но я отказал ему, заявив, что-де писать экранизации — это не мое, хотя на самом деле поводом для отказа явилась совсем иная причина, о чем я скажу чуть позже.

— Помню, — говорю я Василию. — Но при чем здесь «Угрюм-река» и твое писательство?

— А при том — когда ты отказался помочь мне, я обругал в душе тебя, а заодно и всю вашу братию со сценарного факультета, а потом решил: сам напишу сценарий по «Угрюм-реке»! Но попробовал — ничего не получилось: уж шибко толстая книга. А тут как раз вышел в свет вгиковский альманах «Творчество молодых», где напечатали свои короткие рассказы ты, Коля Гонцов, Леха Габрилович и другие. Почитал я вас и сказал себе: «А чем я хуже этих пацанов? Ничем!». И взялся втихаря за перо. Пишу, помнится, ночами коротенькие вещицы, и вдруг чую: получается!.. С этого и пошло. Однако если уж всю правду сказать, я и прежде немало сочинял, только не нравились мне мои рассказы: не было в них одного «пустячка» — меня самого, моего «я», как, впрочем, и в моих стихах, которые я писал явно с голоса Сергея Есенина. Кстати, у меня стихами была заполнена целая тетрадь, только тетрадь эта куда-то запропала. Но, может быть, еще найдется... Интересно бы почитать в ней, чем полна была душа моя в юности... Ну да бог с ними, с этими стихами. Дай мне лучше твою собаку для разнообразия...

— Какую собаку? — теряюсь я.

— Да эту, что ты куришь, — он указывает на пачку сигарет «Друг», которую я только что распечатал и держу в руке.

Я даю, он прикуривает от уголька и продолжает:

— Вот, значит, таким манером я и стал писать всерьез. Конечно, я бы рано или поздно все равно взялся за перо по-настоящему, но твой тогдашний отказ от «Угрюм-реки» меня взорвал, уколел мое самолюбие и ускорил дело, да так лихо, что я нынче тебе и всем остальным сценаристам кричу в душе: «Что, съели? А-а! Так вам и надо... Догоняйте меня теперь, профдрамоделы!» — Василий в незлобивом торжестве машет мне рукой, как машут с подножки убегающего поезда. — Шиш догоните! Дуду-ду! Адью-у!..

— Вась, уж не хочешь ли ты зависть во мне пробудить? — усмехаюсь я. — Напрасно стараешься. Да! Потому что завидует тот, кто чувствует себя неполноценным. А я пока и телом здоров, и духом не болен, а главное — мне дано сказать то, чего ни ты, ни сам Шолохов не скажете, потому как это самое «то» есть мое, мне одному принадлежащее. Пусть маленькое, вот такусенькое, но — мое, пономаревское! А потому догонять тебя мне нет никакой надобности. У меня моя дорога, а ты своей кати. Адью!

— Молодец! Хорошо отшил!

— Адью! — повторяю я. — Кати! Только сперва выслушай правду, почему я отказался помочь тебе в экранизации «Угрюм-реки».

— Гением себя считал, вы там, на сценарном факультете, тогда все в гениях ходили — вот почему, — убежденно произносит Василий, выдавая тем самым свою особую обиду студенческих лет.

— Эх, ты! — укоризненно качаю я головой, изображая, что очень задет его словами. — Какую чепуху городишь, а еще Василий Шукшин!..

— Да, я Василий Шукшин!..

— Так слушай же правду, Василий Шукшин! Я не от экранизации отказался, а от тебя самого, потому что пугался тебя. Пугался, как быка бодучего! Взять, к примеру, наше общежитие: я в 329-й комнате обитал, а ты в 426-й, так я в сторону твоей комнаты ни единого шага без особой надобности не сделал: жутко было, потому что там — те! шу-шу-шу!.. Шукшин живет!

— Любопытно, — ерзает на траве Василий. — Чем же я тебя так страшил? Чем?

— Наряд твой — защитная гимнастерка, синие галифе и черные сапоги — вот что вызывало во мне чуть ли не животный страх!

— А вот это уже интересно. Но почему?

— А потому — в таком вот точно наряде к нам в Балахчин приезжал как-то из райцентра один уполномоченный, урезать у людей лишние метры огородной земли. Только бабы вскопают землю, он тут и заявляется: в руке у него сажень в виде огромной буквы «А», и рычит: «Я призыву вас к порядку!..» Бабы спорят, режут, а я в бане прячусь. В ту пору я был мал и оттого страху столько набрался, что его потом хватило мне чуть ли не до четвертого курса ВГИКа.

— Кхэ. А отчего уж не до самого выпуска?

— А оттого — увидел тебя однажды на актерской площадке — ты там какую-то роль репетировал, в обычной гражданской одежде — и вдруг понял: «Ба! А Шукшин-то, оказывается, обыкновенный человек, если его вытряхнуть из этой зелено-сине-черной спецуры...» Скажи — и на кой черт ты так одевался? Али не во что больше было?

Шукшин долго хмурится, невидяще глядя на угли костра, непонятно похмыкивает, а потом резко вскидывает голову:

— Наряд мой — это вызов ВГИКу, а точнее — призыв к благоразумию. ВГИковцы — про тебя не говорю, ты одевался просто — шастали по институту вечно кто с коконом, кто с локоном, и разодетые почти все, как попугаи. А деревня русская в ту пору даже по великим праздникам в «кухвайках» ходила. Ух, как чесались у меня руки снять солдатский ремень и выдрать некоторых а-ля бродвейцев! Буги-вуги, рок-н-ролл — «па-ба, па-ба!» — пляшут, помню, в общаге, и никакого-то им дела нет до того, что в этот час в деревне бабы с мужиками кряхтят, выбиваясь из последних сил, чтобы этим лоботрясам хлеба дать. Ух!..

— Вась, ты злился оттого, что танцевать не умел, — признайся хоть теперь-то, — пробую я свести разговор на шутку, так как Шукшин начинает сердиться уже всерьез.

— Умел, но не хотел! — режет он. — И мог бы одеваться, как они, но не одевался, потому что даже в одежде не желал походить на них!

— Да на кого «на них»-то?

— На пижонов, что поступали тогда во ВГИК, не имея за душой ничего, кроме папы-маминых громких фамилий да равнодушия и брезгливости к простому люду, — это я на своей шкуре испытал. Помню, иду однажды по третьему этажу института и вдруг слышу, как один слюнвявый отпрыск важного папаши изрекает, обращаясь к другому: «Если говорить о возрождении интеллигенции в России, то

этот вопрос решится не скоро. Кстати, вон Шукшин — эта фамилия войдет в список интеллигентов, пожалуй, лишь в седьмом колене и то при условии, если ему вдруг удастся случайно закончить ВГИК и произвести потомство от кого-нибудь из нашей среды». А другой: «Безусловно: генетика!..».

— И ты не дал им по рожам?

— Дал! Но не тогда и не кулаком, а делом своим — фильмами, книгами. И еще дам, в гробину их! А они... Что они создали для народа, окончив ВГИК? Ничего путного! А кто и пытается создать что-либо о селе, о заводе, то делает это не сердцем, а жалкими вздохами дачника или туриста, идущего по деревне с сачком для ловли бабочек. А происходит это все потому, что они жаждут ставить фильмы только ради того, чтобы кичиться, что они-де режиссеры или они-де драматурги, то есть любоваться собой в искусстве, а не любить искусство в себе, которого в их душах не было и нет, потому что они пусты, точно мыльные пузыри, из-за своего равнодушия к болям жизни. Как во ВГИКе утверждали они себя пижонством, так и в искусстве пижонят, пустозвоны от кинематографа!

— «Они», «они»... Но ведь многие ребята, которые варились вместе с нами во вгиковской каше, уже что-то создали. И добротное! — спорю я. — И еще создадут!

— Я не про них говорю. Эти парни — личности, их признаю. Признаю за глубокие и серьезные размышления о жизни, за твердые гражданственные позиции и несомненные таланты. А злюсь я на безликих. Впрочем, даже не злюсь и не обижаюсь, а так... смотрю на них, как на раздражающую ошибку вгиковского высева, как на сурепку среди репы.

Василий откупоривает бутылку нарзана и, выпив ее до половины, говорит уже спокойнее:

— Есть у меня тайная задумка, открыть во ВГИКе свою творческую мастерскую. Поеду по городам и селам, понаберу там даровито пишущих мужиков с режиссерским видением, — а их много в России, уверен в этом! — и примусь из каждого своего ученика готовить сценариста и режиссера в одном лице. А? — он многозначительно подмигивает мне. — Ясна идея?

— Слушай, будущий профессор ВГИКа Шукшин, а не мечтается ли тебе еще живописцем или композитором стать?

— Рисовать не умею, а музыку сочинить могу, медведь на ухо не наступил, — вполне серьезно отвечает он и повторяет свой вопрос: — Так ясна тебе моя идея или нет?

— Ясна. Новых Шукшиных открывать собираешься. Это, конечно, замечательно, и я полностью — «за». Но думаю, что тебе сперва надо бы себя еще открыть до конца, например, как писателя. Ведь кто знает, может быть, ты велик, как сам Чехов, — без всякой иронии говорю я.

— Нет, — подумав, мотает Василий головой. — Я велик как Шукшин. Шукшин я! — он бьет себя в грудь кулаком. — Ну-ка, налей мне «Варны»! Хочу выпить за здоровье этого человека — Шукшина, и пожелать ему две жизни, потому что за одну жизнь ему никак не управиться с тем, что им замыслено.

Он выпивает, но не становится веселее, погружается как бы в забытье: глядит прямо мне в лицо, но меня явно не видит — ведет себя точь-в-точь, как сегодня утром, когда мы встретились.

— Вась, тебя что... все строчка донимает?

— А? — будто спросонья дергается он. — Что ты говоришь?

— Про строчку.

— А-а, да, да... Слышь, ты как пишешь?

— Одну к десяти.

— То есть?

— Ну, на одну страницу беловика приходится в среднем десяток черновых. А ты?

— А я без черновигов, и в этом моя беда. Завидую тебе, честное слово.

— Не понимаю, — искренне дивлюсь я.

— Ну, ты пишешь, пишешь, а как устанешь, то бросаешь и свободно занимаешься другим делом. Ведь так?

— Абсолютно верно, но откуда ты знаешь это?

— Подобным образом многие пишут. А я так не умею, не дано. Картину ли ставлю, в фильме ли снимаюсь, а вторым планом в голове все писанина идет. Вот сегодня, например, болтаю с тобой целый день, а в подсознании строчка, строчка...

— Да ты что — двухумственный, что ли?

— Ага, Гай Юлий Цезарь, — обижается он. — Я тебе про беду свою, а ты...

— Ну ладно, прости. А о чем-строчка-то?

— Кхэ, кабы я знал... Она у меня так — вдруг мелькнет, точно молния, а зафиксировать ее не удается.

— Как зафиксировать?

— Ну, выразить в словах. Понимаешь? Нет, ты не поймешь, это трудно понять, потому что невозможно объяснить... Но ничего, я ее, блоху окаянную, поймаю. Схвачу! — Василий хапает ручищей воздух, будто муху ловит. — Не уйдет!.. Слышь, — он начинает подниматься на ноги, — пойдем гулять по полям русским!..

Уже добрый час бродим мы по широкому овсяному полю, с трех сторон окаймленному броской аlostью осин, золотом беломраморных берез и черноватым изумрудом толстых бронзовых сосен; четвертой стороной жнивье упирается в водную ровень рукотворного моря, а проще — в запруду на Клязьме-реке.

Бродим медленно и без всякой цели — так, по крайней мере, кажется мне. Оба подолгу молчим, вдосталь наболтавшись за день. Василий курит и все о чем-то думает, думает. Сейчас он удивительно похож на полеводческого бригадира, занятого решением важной сугубо земледельческой задачи. И я ничуть не удивился бы, если бы в этот миг к нему вдруг подошел колхозный тракторист и спросил: «Василий Макарыч, жнивье-то на зябь пустим или под пары оставим?», а Шукшин ответил бы кратко и деловито: «На зябь, конечно. Паши!» Или, наоборот, сказал бы: «Нельзя на зябь: земля устала!»

Иногда Василий останавливается, выдирает из земли пучок овсяной стерни и с интересом разглядывает чахлые корни, при этом странно, точно о чем-то сожалея, похмыкивает. А то возьмет щепоть земли, поплюет на нее и мнет пальцами, пытаясь скатать комочек. Но из этой затеи ничего не получается, и Василий после пятой или седьмой попытки громко молвит тоном заправского агронома:

— Не та почва. Не та! Почти голый песок, оттого и корни овса так себе. Вот на Алтае, или на Дону почва — будто черное масло! А тут... — он безнадежно машет рукой, однако потом произносит с особой упругостью в голосе: — Но все равно... земля!

И замирает на месте, медленно обводя взором поле и небо и как бы во что-то пристально вслушиваясь.

А в поле тихо, покойно. Но в то же время как бы и шумно, тревожно. Шумно от грустного звона красок осеннего леса, а тревожно от бордовой вечерней зари, что догорает на западе неба, где еще совсем недавно пылало солнце. От жнивья, крепко прогретого за день горячим светом, сейчас исходит парной дух овсяной соломы и горькой полыни, смешиваясь с прохладными струями воздуха, что невидимо ползут из леса, полные запахов прелой листвы и грибов. Василий по-звериному тянет носом и восклицает громогласно, весомо и утверждающе:

— Да, земля!

— Земля... земля... ля... — вторит эхо.

— Вот! — у Василия в глазах вспыхивают озорные искры, и он по-детски ликующе шепчет: — Слышишь — сама земля подтверждает это! А раз так, — он решительно расстилает на стерне плащ, — надо присесть... Хорошо здесь!

Садимся и оба надолго умолкаем, слушая звонкую осеннюю тишину поля и глядя по сторонам. На юго-востоке в глубокой вышине зеленоватого неба до дерзости хлестко и ярко для этого времени суток блестит золотая луна, чуть прикрытая легким малиновым облачком. По берегу водохранилища мальчик в синей рубашке ведет под уздцы белого коня, и конь, освещенный угасающим светом зари, кажется розоватым, как птица фламинго. На опушке леса темнеет стог сена, накрытый сверху толем. На нём сидит серая ворона и, что-то прижимая лапой, усердно клюет. А над головой, со свистом разрезая воздух крыльями, проносятся четыре перелетные утки — спешат на ночлег к водоему. Вдруг далеко за лесом начинают мычать коровы, и где-то звонко-звонко взлаивает собака. А от земли продолжает идти тепло, и голову кружат ее терпкие запахи... Тихо и звучно в осеннем поле, отраднo, и все-то вокруг овьяно миром и добрым, светлым покоем.

— Хорошо здесь! — повторяет Шукшин в глубоком раздумье. — Потому что все в согласии, как быть следует. День вон сменился вечером, вместо солнца засиял полный месяц, ворона делает свое воронье дело, а утки улетели спать на воду... Гармония стихии! Н-да...

Помолчав немного, Василий вдруг поворачивает ход своих мыслей на глобальную тему:

— Странно: в сей неразумной природе все разумно, а у нас же, существ мыслящих, населяющих планету Земля, как это ни парадоксально, еще царит дисгармония. И она будет до тех пор, пока человечество не покончит с обывательщиной, порождающей равнодушие. Ибо равнодушие — это попустительство всем безобразиям, что творятся в человеческом Доме. Как-то я разговаривал на ВДНХ с одним американцем, и речь у нас зашла о Пентагоне. «Пентагон? — задумался американец. — Ах, да, Пентагон — знаю! Это... как это по-русски?.. «Ястребы» там — вот! Но мне нет до них дела, я сам по себе. У меня есть это... как это? маленький лавочка»... Ты понял, земля? «Сам по себе» — вот где, оказывается, собака зарыта! Вот где корень зла! Именно такие вот «сами по себе» и допустили однажды к власти Гитлера и прочих разных фюреров и дуче. «Сам по себе»... — Шукшин зло закуривает. — Тут шар земной висит на волоске, а он уткнулся рылом в свою «маленький лавочка» и больше знать ничего не хочет... Обыватели, конем бы их топтать!

Василий презрительно сплевывает сквозь зубы и умолкает, склонив голову на грудь в глубокой угрюмости.

А в природе, пока он говорил, уже все изменилось. Заря догорела, и небо, где она полыхала, сделалось матовым и неказистым. Над водоёмом закурился туман

и начал тихо наступать на жнивье. Луна поднялась совсем высоко и стала еще яростней в своем золотом сиянии, а рядом с ней объявилась и весело блестит яркая лучистая звездочка. Но Шукшин ничего этого в данный момент не видит: он ослеплен черным светом своего возмущения.

— Равнодушие, в чем бы и где бы оно ни проявлялось, — заявляет он, не поднимая головы, — его надо бить и бить. Равнодушие — это болото. Конечно, на Руси нет таких вот глобально опасных «сам по себе», потому как нет частных лавочек. Но равнодушных еще предостаточно. И я без сожаления, даже с яростью, угрожаю всю мою жизнь, чтобы хоть на Руси до конца осушилось это болото. Не-ет, я не строю иллюзий, что оно осушится скоро, при мне. Но свою посильную лепту я в это доброе дело внесу. Внесу! Иначе кто я буду? Да тот же самый обыватель, не больше!

Шукшин говорит негромко, сквозь крепко стиснутые зубы, потому что старается изо всех сил сдерживать в себе бурю чувств, отчего слова его клятвы звучат так сильно и убедительно, точно их произносит сама Правда.

Я гляжу на него, и мне невольно становится даже физически зябко: этот человек на самом деле, прямо на моих глазах «угроживает» себя — даже здесь, вдали от людского моря, на дорогом его сердцу тихом поле, он не может никак отрешиться от мысли о неустроенности человеческого Дома и успокоиться.

Желая его отвлечь, я почти кричу:

— Вась, да подними ты голову и глянь, какой туманище стоит над водоемом! А луна-то, луница-то какая! Я отродясь еще подобной не видывал!

— Кхэ, и правда, хорошо, — осмотревшись окрест, крикает он, и лицо его, освещенное луной, делается умиротворенным. — Дивно даже, да...

— А в наших сибирских краях уже новые сутки наступили, — сообщаю я, стараясь все дальше и дальше увести Василия от его тягостных раздумий. — Там теперь без четверти час пополудни.

— Да, так и есть, — поглядев на стрелки наручных часов, подтверждает он и прищуривается. — Интересно, чем же мои земляки сейчас занимаются? Поди, спят... а молодежь — та над Катунью в берёзовом колке резвится под луной, если там луна еще не закатилась.

— Не должна бы пока, — говорю я и задаю вопрос: — Вась, а почему в твоей Катунь вода такая илисто-мутная, а Бия прозрачная, как роса?

— Это от бога, — отшучивается он. — Чтобы Обь-матушка, которая образуется из этих рек, не задавалась, что она чиста, как сама Ангара, дочь Байкала, из коего, по слухам, пьет сам бог... Кстати, как прекрасно жилось в старину обывателям: если что непонятно, то легко объясняли, говоря: «От бога так!» или «Так от лукавого!» Изрекут — и все, крышка! И ты, ум пылливый, не смей попробовать открыть тайну — сожгут к черту!.. Сколько же человечеству пришлось погореть на кострах, прежде чем...

— Вась, это всем известно, — умышленно перебиваю я. — Лучше скажи — водится ли в Катунь таймень?

— Таймень?.. Спасибо химикам — перестал водиться. Сейчас широколобку и ту не поймашь, совсем рыба пропала. А ведь была... Эх, поставишь, бывало, в пацанах, перемет в реку — раньше, до «химизации» рек, это разрешалось — и сидишь себе у костра... — Василий весь уходит в воспоминания, чего я, собственно, и добивался. — Сидишь, из леса густые сумерки ползут на воду, а середина реки, сам ее стрежень, долго еще блестит, точно там огромная длинная рыбина несётся, играя своим серебром...

Василий неожиданно умолкает на полуслове и, уставившись на меня отсутствующим взглядом, машинально вынимает из кармана авторучку, взмахивает ею, как дирижерской палочкой, и вдруг радостно вскрикивает:

— Ага! Поймал, наконец-то, ее, блоху окаянную!.. — он вскакивает на ноги. — Нашел — а! Молодец, Шукшин!

— Поймал, а чего медлишь? Записывай! — тороплю я.

— Зачем? — он спокойно кладет авторучку в карман. — Теперь она уже никуда от меня не упрыгнет. Отсюда, — он стучит себе пальцами по лбу, — ей только одна дорога — в рассказ. (Я удивлен.) Да! Уж такая моя метода, как любил выражаться в старину профессора... Ну, айда домой. Больше мне здесь делать нечего, кончен мой бал на сегодня. Рад: выходной не пропал даром. Да и тебе он когда-нибудь пользой обернется: к примеру, сей вечер волшебный опишешь.

«Так вот зачем он так рвался нынче в поле — строчку найти», — наконец-то доходит до меня смысл всей нашей сегодняшней одиссеи.

— Ну и что же за строчка-то у тебя получилась? — с особым интересом спрашиваю я. — Можешь сказать?

— Не скажу, это мой секрет, — медленно обводя взором окрестности, отвечает он и произносит: — Ну что, земля... спасибо тебе за все. И прощай до новых встреч. Пока!

И в этот миг мне всерьез кажется, что Василий владеет какой-то особой тайной общения человека с землей, знать которую дано лишь ему — Василию Шукшину.

...Часа через три такси привозит нас к кинотеатру «Сатурн», к которому мы заезжаем, чтобы забрать старинный сундук.

— А ларя-то и нет: взял кто-то... — огорченно произносит Василий, но, поразмыслив, заключает неожиданно: — Ну и хорошо, что нет. Значит, не я один такой в Москве. И это прекрасно!..

— И это прекрасно... — повторяет он, расставаясь со мной на пятом этаже нашего дома, и вместо «до свидания» говорит строго: — Пиши, земля! Готовь творческий отчет себе и людям, зачем ты пришел на белый свет! Пиши!!

И он направляется в квартиру № 33, чтобы продолжать работу над своим, шукшинским «отчетом по жизни», а я поднимаюсь к себе на девятый этаж и выхожу на балкон.

Спит Москва, озаренная светом небольшой красноватой луны, которая над городом всегда выглядит меньше и тусклее, чем в поле. Спит Москва, смежив четырнадцать миллионов глаз, уставших за день, а вместе с нею спят и все жильцы нашего дома. Скоро засну и я, погасив свет в квартире. И дом наш наполнится сплошной темнотой.

И только в одном окне свет останется гореть до утра — там будет бодрствовать Василий Шукшин, имеющий обыкновение писать по ночам, иной раз без сна суток по двое кряду. И может быть, именно в эту ночь на бумагу ляжет такое вот предложение:

«...сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная рыбина несётся серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим».

Я прочту его спустя много лет в рассказе Василия Шукшина «Миль пардон, мадам!» и враз догадаюсь, что это и есть как раз та самая «строчка», которую он «поймал» в нашей с ним «беседе при ясной луне». И мне в деталях припомнятся нынешний день и Василий, весь издерганный, нервный и то и дело уходящий взглядом в себя.

— Ах, строчка, строчка! — выписывая из рассказа предложение в тетрадь себе на вечную память, скажу я. — Казалось бы, совсем и незамысловатая, но каких сил и мучений стоила ты своему создателю!

Потом я мысленно подсчитаю, что в книгах Василия Шукшина тысячи предложений, и помножу их на муки одного лишь дня, причем выходного, а затем прибавлю к этому еще тяжкие творческие будни Шукшина — режиссера, сценариста, актера — и, потрясенный, однажды приду в сиротливом одиночестве такой же вот лунной ночью на знакомое «шукшинское» поле у Клязьмы и тихо крикну:

— Василий, ты совершил творческий подвиг!

И «шукшинское» поле подтвердит это упругим эхом:

— Подвиг... подвиг... подвиг...

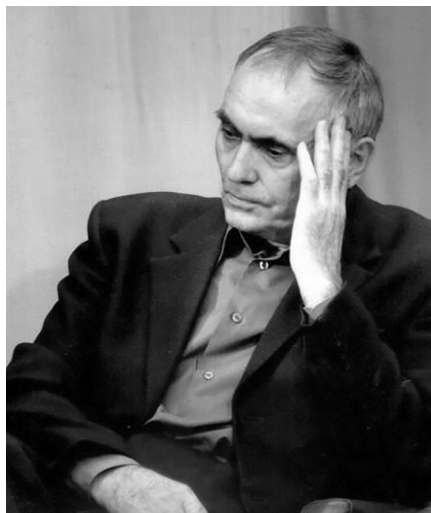
А с неба будет литься свет все той же ясной луны, под которой у Василия Шукшина рождались в сердечных беседах с людьми и в тревожных раздумьях о судьбе народа его золотые строчки...

*Публикацию подготовил журналист Василий Иванченко
(«Наши современники», 1981 г. № 3)*

ПОЭЗИЯ



АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



Иду смиренным смертным смердом...

Образ вечный

Замела снеговейная зямлять
Годы прошлые, были — и нет..
Но хранит стариковская память
Первопутья устойчивый след.

Всё забылось, потускло, погасло
Там, куда я уже не вернусь.
Над одним только время не властно —
Над селцом в стороне подсянской,

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился на юге Красноярского края, в селе Таскино, в крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Александр Щербаков — автор более 20 книг, в т.ч. прозаических — «Свет всю ночь», «Деревянный всадник» (Красноярск, Москва), «Месяц круторогий», «Душа мастера» (Красноярск), поэтических — «Трубачи весны» (Москва), «Глубинка», «Хочу домой», «Свет Родины» (Красноярск). Печатался в журналах «Наш современник», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Сибирь», «День и ночь», «Дальний Восток» и др. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат краевых премий, победитель Международного конкурса им. А.Н. Толстого на лучшую книгу для юношества (проза), дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Живёт в Красноярске.

Что мне видится чётко и ясно
До последней избышки и прясла
В простоте деревянной прекрасным
И манящим, как Древняя Русь.

И до каждого словно бы вживе
Дорогого, родного лица —
Землячков из ребячьей дружины,
Кровных братьев, сестёр и отца.

А всех чаще видением прочным
Предстаёт незабвенная мать,
Та простая крестьянка в платочке,
Что Марией Васильевной звать.

Дай мне Бог до конца и не мельком
Видеть это и в сердце носить,
И сойти своим часом в земельку
С этим образом вечной Руси.

Живучая шутка

Шутил Макар, мой дядя, Когда тощала плоть: «На мельницу бы надо, Да нечего молоть».	Когда всё было это? Давно забыть пора. Уж ни Макара нету, Ни конного двора,
--	--

Колхозные амбары Трещали от зерна, У конюха Макара В сусеке — тишина.	Ни мельницы на речке, В кудрявых тальниках, Ни ребятни на печке С картохами в руках...
--	---

Прожорливых детишек Учил он то и знай: «Не жди, ребята, пышек, На бульбу нажимай».	Но живы шуток дяди Поныне дух и плоть: На мельницу бы надо, Да нечего молоть.
---	--

Нет ответа

Не шастаю по заграницам, С ружьём по тайге не брожу, Я в нашей районной больнице Лежу и в окошко гляжу.	Сплошная гармония в вышних И в дольном одна благодать, Но, градусник грея под мышкой, Зачем-то я должен страдать.
--	--

Там прыгают птички по клёнам, Сияет небес бирюза, И корпус «сердечный» влюблённо Таращит на солнце глаза...	Затем, чтоб, страдаючи, мыслить И выстрадать некий ответ? Седины мне на уши свисли, Однако ответа всё нет.
--	---

Сон

Мы не знаем ни часа, ни дня...
Но однажды во сне я увидел,
Что во гроб положили меня...
Тесновато, но я не в обиде.

Я и в жизни раздолья не знал,
По одежке протягивал ножки.
Не бывала к нам щедрой казна,
За труды отпуская по крошке.

Всё — в душе, ничего — за душой.
Жаль, не слышу ни стона, ни плача.

Впрочем, что там... Побыл да ушел,
Отработала старая кляча.

Слава Богу, без фальши и лжи,
Без елейных гримас и турусов.
В честной бедности больше, кажись,
Чем порой представляется, плюсов.

Положил я ладони на грудь.
И покуда доской гробовую
Не накрыли, всяк может взглянуть —
Ничего не беру я с собою.

Молчание

Молчанье звёзд, молчание пространств
И самого Создателя молчанье
Подчас приводит ежели не в транс,
То в состоянье, близкое к отчаянью.

Летят за веком век, как день за днём,
Но некому, похоже, нам ответить,
Кто мы, откуда мы, куда идём
И вообще зачем на этом свете.

Ответа нет на корневой вопрос,
И остаётся только верить в чуда,
Которыми пронизаны насквозь
Все библии, кораны и талмуды.

Да он и вправду сказочный, наш мир,
Как райский сад или как «Песнь песней».
Взгляни вокруг — что может быть чудесней!
И нас Господь позвал на этот пир.

Жаль, гостеванье на пиру не длинно,
А там — возврат домой, в родную... глину.

Тщеславие

Бывал тщеславен, Господи, прости.
Зачем оно, признание людское,
Волнует нас на жизненном пути,
На приводящем к вечному покою?

К исчезновенью и к небытию,
К тому ничто, которое ничтожит...
И неужели я строку свою
Мечтал вписать в анналы мира тоже?

Какое самомнение, если так,
Какое роковое заблуждение!
Да и какой я, значит, был простак
(Чтоб не сказать прямее) от рожденья.

Иду...

Иду к концу. Молюсь и каюсь, Как все ветшающие мы.	Достигший ранга старожилы, И сир и нищ, и сух и сив,
По-прежнему не зарекаюсь Ни от тюрьмы, ни от сумы.	Иду, натуживаю жилы, Стараюсь из последних сил.

Иду, забыв пути начало, Не зная, где прерву следы, Несу тревоги и печали, Таю предчувствие беды.	Иду смиренным смертным смердом, Иду, грехами тяготим, Иду к Тебе, о Милосердый, За всепрощением Твоим.
---	---



СЕМЁН ПОПОВ — СЭМЭН ТУМАТ



Дыхание великого зверя

ПОВЕСТЬ

«Сынок, Сэмэн, я родила тебя на далёком Севере,
где женщин саха в те годы почти не было.
Далёкий край с благословением принял тебя —
ты родился на свет с появлением долгожданного солнца
после полярной зимы. Ты был для нас очень долгожданным.
Помни об этом всегда...», — эти слова мне сказала мама,
похоронившая двух детей, родившихся до меня.

Автор

После пятнадцати дней Большого ветра бескрайняя тундра наконец-то вздохнула с облегчением. Из печной трубы крохотного балагана, устоявшего под натиском пурги и торчащего на острове Куба Арыыта, словно рукоять охотничьего ножа, заструился тоненький синий дымок — признак жизни на этом завьюженном метелями крае земли.

ПОПОВ Семен Андреевич — Сэмэн Тумат (23.02.1944) — поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, журналист. Народный писатель Якутии, Заслуженный работник культуры РС(Я). Член СП Якутии и РФ с 1993 г. Родился в Туматском наслеге Булунского района в семье сельского учителя. В 1973 г. окончил филологический факультет Якутского государственного университета. Работал научным сотрудником литературного музея им. П.А. Ойунского, корреспондентом газет, главным редактором телерадиостудии «Маарыкчаан». В 1996–2014 гг. — редактор отдела очерка и публицистики журнала «Чолбон». Автор прозаических сборников «*Муора арытыгар олох*» («Жизнь на острове среди моря», 1986), «*Туундара оһоһо*» («Печка тундры», 1989), «*Улуу кыыл тыына*» («Дыхание великого зверя», 1992). Автор более 30 и составитель-редактор более 70 книг якутских писателей и разных изданий. В последние годы занимается переводами классиков мировой литературы и философии — Омара Хайяма, Конфуция. Является лауреатом Государственной премии им. П.А. Ойунского, премии Ил Тумэна им. А.П. Илларионова, премии им. С.А. Новгородова и Большой литературной премии России.

Было слышно, как откапывают занесенную снегом дверь тамбура — небольшого пристроя к балагану, больше похожего сейчас на снежные сени, и вскоре оттуда показалась женщина в лёгком пыжиковом пальто, туго подпоясанном ремешком из мягкой замши. Её облезшая остроконечная шапка съехала на затылок. Запыхавшись, женщина выбралась наружу, утерла лицо тыльной стороной рукавицы из ровдуги и с наслаждением втянула в себя свежий воздух, внимательно огляделась по сторонам, словно надеясь найти какие-то перемены в пейзаже острова после Большого ветра. Она с радостью отметила голубые прогалы в небе, сквозь которые солнечные лучи раскрасили облака на востоке в розовый свет, и даже прошептала тихонько про себя: «Солнце! Скоро будет солнце!» После этого юркнула обратно в снежные сени своего балагана и показалась оттуда уже с ведром. Для видимости поковыряла ногой занесённый пургой снежный вал для мусора и быстро вылила туда содержимое ведра.

Это — Ааныс. Бесконечное завывание ветра настолько утомило её, что она чувствовала себя полностью опустошённой. Она думала, что могла бы счёт дням и ночам потерять, если бы не часы. Ааныс подстраховала себя ещё тем, что после каждых полных суток откладывала один гусиный клюв в берестяную плетёнку. Так она и пережила Большой ветер. Гусиные клювы собирал её старший сын Егорушка, который сейчас учится в четвёртом классе в Сагастыре, где живёт в интернате при школе для таких же, как и он, детей оленеводов и охотников, круглый год скитающихся по бескрайней тундре. Высушенные и старательно нанизанные сыном на нитку из оленьих сухожилий гусиные клювы висят за печкой. Ааныс каждый вечер вспоминала своего старшенького, осторожно развязывала один клюв из связки и перемещала его в свою берестяную плетёнку-памятку. Когда Большой ветер стих, она насчитала там ровно пятнадцать штук. Если бы пурга побесновалась ещё пару-тройку дней, то у них бы закончились дрова для растопки печки, да и младшие дети, которые сейчас с ней, совсем бы зачали без свежего воздуха и привычного их глазу простора тундры. Ньукуус, средний сын Ааныс, в первые дни после начала пурги даже пытался счищать иней с окошка, чтобы хоть как-то впустить свет в балаган, а потом и вовсе стал языком лёд лизать. Кое-как она его уgomонила.

Ааныс откопала от снега занесённые пургой два небольших окошка, счистила иней изнутри, и в балагане стало заметно светлее и даже как будто просторнее. Она быстренько одела Ньукууса и немного погуляла с ним на свежем воздухе, а потом, пока ещё светло, решила сходить и нарубить заранее заготовленный плавник вдали от балагана, а то на растопку осталось всего несколько поленьев. Андрей, так зовут её мужа, уехал сдавать шкурки песца и, если его друг Тыппы будет на месте, он планировал сходить с ним на сопочный увал Тумата — поохотиться на оленей. «Хорошо, если бы он удачно сходил на охоту, — размышляла Ааныс. — А сейчас, наверное, застрял в Сагастыре. Конечно, он там. Какой нормальный человек отправится в путь во время Большого ветра».

Женщина взяла топорик и потащила за собою салазки по восточной низине острова — в сторону пади возле овального озерца, где она ещё летом заготовила дрова из плавников. Собранные вертикально в виде урасы они были видны ещё издалека. Ааныс ловко нарубила жердя длиной примерно в три полена каждая, чтобы не сильно выступали за санки, и поспешила домой. Грузёные салазки по утрамбованному после Большого ветра снежному насту скользят легко, а то до этого приходилось тащить их, утопая по колено в рыхлом снегу и выбиваясь из

сил. «Наверное, про это говорят, что нет худа без добра», — думает Ааныс, споро перебирая крепкими ногами. Ей кажется, что её шаги по гулкому снежному насту слышны на весь остров.

До жилища она добралась, когда уже начало смеркаться и тундра окрасилась в непривычный и невероятный по красоте для человека с материка тёмно-фиолетовой цвет, на что, впрочем, женщина не обратила никакого внимания. Она к этому привыкла давно. Быстро разрубив дрова, Ааныс с охапкой поленьев юркнула в балаган и растопила печку. Детишкам, которые не дождались матери и заснули, она на скорую руку приготовила стrogанину из молодой осетрины. Разбудила их только тогда, когда печка дала свой первый жар, а вкусное и очень нежное осетринное мясо приобрело тёплый жёлтоватый цвет, и на нём выступили первые капельки антарного жира.

* * *

В это же самое время на другом конце острова Куба Арыгта проснулась хозяйка этих суровых и неприветливых мест — белая медведица с детёнышем. Это была мощная крупная самка, лишь ненамного уступающая в размере самцам. Она природным инстинктом, который её никогда не подводил, почувствовала сквозь толщу снежной берлоги, что идут последние дни бесконечной полярной ночи, и на небе уже видны первые проблески солнечных лучей. Медведица уткнулась мордой в мягкую тёплую шерсть своего детёныша и подумала, что наступают славные деньки, когда они вволю порезвятся с малышом, и уже представила себе, как будет учить охоте это крохотное существо, дороже которого сейчас для неё никого нет. Вдруг она резко приподнялась и огляделась, поворачивая голову из стороны в сторону, словно могла что-то увидеть в темноте берлоги под толстым слоем снега. Ею овладело неожиданное возбуждение от одной мысли о бескрайних просторах, по которым она успела соскучиться, и сильными движениями могучих передних лап мигом раскопала вход в берлогу. Невольно зажмурил глаза от света, она втянула ноздрями свежий ароматный воздух родной тундры...

В этот день они прогуливались с медвежонком, который с огромным удовольствием — первый раз в жизни! — катался на животике с ближайших наметённых Большим ветром сугробов. Медвежонок был абсолютно счастлив — он сыт, мама рядом, и ему предстоит сделать ещё столько открытий на этом чудесном свете, созданном специально для него. Медведица краем глаза присматривала за малышом, а сама старалась различить тончайшие запахи, доносящиеся со всех сторон, и в первую очередь со стороны моря, где им вскоре предстоит охотиться с сыном. Вскоре она уловила чуть горьковатый запах дыма, а также едва различимый аромат вкуснейшего моржового жира. В животе тут же заурчало, и она решила вечером, когда малыш уснёт, сходить на разведку.

Изначально медведица хотела направиться на побережье моря, которое она в первую очередь собиралась исследовать с медвежонком, но ей приснился неожиданный сон, и потому она была в лёгком замешательстве. А приснилось ей, как будто она добралась до легендарного места Северного Ледовитого океана под названием Эйюк, где жирной рыбы и тюленей видимо-невидимо, и где также много других медведиц с медвежатами. Все кого-то ждут. И, действительно, немного погодя из водной глади сурового океана явился хозяин морей, озёр и рек Уу Барылай Байанай в распахнутой роскошной нерпичьей шубе, надетой поверх рубашки

из цельной кожи огромной нельмы. Он пришёл не с пустыми руками. Своим чудесным посохом, сделанным из челюстей невиданных размеров древней рыбы, он пригнал к берегу добрый косяк омулей. Все медведи поклонились ему в пояс.

Уу Барылай Байанай раздал всем медведям и медвежатам вкусных и жирных омулей. И во сне медведица увидела, что когда очередь дошла до неё, то у хозяйна морей, озёр и рек закончилась рыба. Но Уу Барылай Байанай пожалел её, погладил по голове, дал облизать лоснящиеся от рыбьего жира ладони и чудесным посохом, сделанным из челюстей невиданных размеров древней рыбы, указал куда-то в сторону, словно давая ей понять, мол, там твоя доля. И тотчас там, где в колышущемся снежном мареве медведица узнала очертания острова Куба Арыыта, где она в прошлом году залегла в берлогу и родила чудесного медвежонка, на снегу заиграл невесть откуда взявшийся волшебный отсвет. Медведица послушно направилась туда, а все остальные медведи и медвежата задумчиво смотрели ей вслед.

И вот теперь, уткнувшись мордой в мягкую тёплую шерсть своего медвежонка, она всё пыталась истолковать неожиданный сон. Она испытала какое-то смутное беспокойство, когда Уу Барылай Байанай дал ей облизать пустую ладонь, пусть и лоснящуюся от рыбьего жира. «Такова, видать, моя доля, — подумала она. — Не зря, наверное, хозяин морей, озёр и рек поступил так со мною. Значит, так надо». Она попыталась отогнать нехорошие предчувствия, и её чуткие ноздри вновь уловили непередаваемый аромат вкуснейшего моржового жира. В животе у неё опять заурчало, но медведица твёрдо решила дожидаться наступления темноты.

* * *

После Большого ветра жизнь в посёлке Сагастыр постепенно вошла в своё привычное русло. Андрей дал своим ездовым собакам, которые делили с ним все тяготы длительных переходов, немного ряпушки, чтобы те заморили червячка. Затем он, обращаясь к своему главному богатству и гордости в странствиях — псу жожаку по кличке Чолбон, сказал: «Ну, друг, настало время возвращаться домой. Завтра рано утром тронемся в путь. Так-то!». Андрей ласково потрепал своего любимца, с которым был неразлучен уже много лет, и уже удаляясь, услышал лязг зубов, жадно разрывающих мерзлую рыбу.

Накануне утром Андрей проснулся в замечательном настроении. Ночью ему приснился сон, будто красивая женщина в богатом одеянии протягивает ему бутылку спирта и говорит при этом: «Андрей, вот твоя доля, которую я отложила для тебя. Пей!» Свой сон он истолковал как будущую удачу на большой охоте, и в приподнятом настроении весь день провёл за приготовлениями к отъезду, которые свелись к покупке в магазине подарков жене и детям, а также тщательной проверке собачьих постромок, изготовленных из моржовой кожи. Вечером Андрей мысленно подвёл итоги поездки. Получалось, что он съездил удачно и дни даром не потерял — с ним рассчитались за сданную пушнину неплохой суммой, кроме того, он успел встретиться со всеми, с кем хотел, договорился о поставках своих трофеев на будущее. Единственное, что его беспокоило — это то, что Большой ветер дул целых пятнадцать дней, и у его домочадцев могли закончиться заготовленные дрова. За продукты он не волновался — как раз перед поездкой он успел добыть диких оленей.

Вечерет. Ааныс накинула пальто, чтобы занести в балаган дрова и лёд, но вдруг ей снаружи почудился какой-то непривычный звук — как будто где-то вдали скрипели полозья саней. Неужели муж приехал? Нет, вроде бы не похоже. Странно. Детям о непонятном звуке она ничего не сказала и с опаской вышла на улицу.

Звук слышался с северной оконечности острова. И он приближался. В этот раз он совсем не напоминал скрип полозьев, скорее это было похоже на чьё-то осторожное шорканье по плотному снежному насту. Время от времени звук прекращался, но потом опять слышались все те же самые «шорк, шорк». Это было странно и пугающе. Даже не пригодный пока для охоты щенок, призванный путаться под ногами и облаивать при приближении к жилью всех, затих и никуда от Ааныс не отходил. Щенок заскулил, просясь в балаган, но Ааныс отогнала его, и он, поджав хвост, направился в правый угол занесённого снегом тамбура, где обиженно свернулся калачиком на своём заиндевевшем коврикe.

Прислушиваясь с опаской к любым посторонним звукам, Ааныс быстро занесла в балаган дрова и лёд, оленину на завтрашний обед, рыбу на строганину и двух северных красавцев — белолобых гусей. Всю мёрзлую еду, кроме рыбы, она разместила на шесток печи. Печь у них была добротная, из хорошего кирпича, оставшаяся в наследство от какой-то экспедиции, которая обитала на острове прежде.

Уже стемнело, и Ааныс решила разжечь печку. Она взяла самодельный половник — жестяную консервную банку из-под тушёнки с привязанной к ней длинной деревянной ручкой — и попробовала набрать из ведра топлёный моржовый жир для розжига огня, но лишь со скрежетом поскребла по дну.

— О, закончился! — огорчилась Ааныс.

У побережья сурового моря, царства бесчисленных протоков и озёр, с сухостоём всегда туго, и потому для растопки печи приходится пользоваться заранее заготовленной сухой щепой. Но им повезло. Здесь лет двадцать назад была проведена кампания по забою морского зверя и заготовке моржового жира. Растопленный жир заливали в большие железные бочки и складировали тут же, прямо на острове. Но потом с трудом отгрузили и отправили в Тикси всего одну партию бочек. Оказалось, что морские суда из-за недостаточных прибрежных глубин к острову подойти не могут, а иных способов вывоза груза не было. С тех пор забытые всеми бочки со спасительным для Ааныс моржовым жиром, который за два десятилетия превратился чуть ли не в керосин, стояли под наспех сооружённым навесом из почерневших от времени досок. Жир годился на всё — и для растопки печи, и как добавка к собачьей еде, и как топливо для жирника, который заменял им керосинку или масляную лампу. Правда, жирники безбожно коптили, но это было всё же лучше, чем сидеть зимой в кромешной тоскливой темноте.

Делать нечего — надо было идти за жиром к навесу, расположенному поодаль от дома. Там же Андрей соорудил традиционный для этих мест продуктовый лабаз на столбах. Ааныс подкинула дров в печку и, схватив ведро для жира, вышла на улицу. Она шла в быстро наступающих сумерках, а из головы всё не выходил услышанный ею странный звук. Вскоре глаза привыкли к темноте и она, остановившись, внимательно огляделась, прислушалась и тут же насторожилась. Так и есть — со стороны их продуктового лабаза слышался какой-то непонятный скрип. Словно кто-то обутый в унты с толстой мягкой подошвой осторожно ступал по снегу. Спустя какое-то время она явственно различила звук, который бывает, ког-

да кто-то трётся о столб. Почти одновременно с этим Ааныс разглядела крупного белого медведя, который и издавал все эти насторожившие её шорохи. Ааныс мгновенно застыла на месте и тут же услышала другой звук и поняла, что это медведица, и она не одна, а с медвежонком. А это, как она знала со слов стариков, уже совсем другая ситуация — мама своего ребёнка никогда в обиду не даст. Её сердце гулко-гулко забилося, и она тихо пошла обратно к дому.

— Мама, а жир почему не принесла? — встретил её вопросом Ньюкуус, который сидел возле печи.

— Не получилось, сынок... Помешали... Там медведица с маленьким смешным медвежонком. Они у нашего продуктового лабаза... Завтра днём посмотрим на них? — всё это Ааныс попыталась проговорить как можно более спокойным голосом, чтобы не напугать своего сына.

В эти минуты оказавшаяся на острове один на один с великим зверем женщина решила поступить так, как в таких случаях всегда поступали их предки. Ааныс покормила дух огня и при этом беспрестанно произносила услышанные когда-то слова: «Не множь печали наши, печали простых людей. Отведи от нас взгляд великого зверя. Спаси и сохрани!»

Затем она вытащила из-под нар старенький эмалированный таз, и переложила туда ещё тлеющие жаром угли из печи, а Ньюкуусу велела взять несколько поленьев. Женщина утоптала снег под двумя окнами балагана, насыпала туда горячие угли и соорудила над ними небольшие шалашики из поленьев. Костры для отпугивания медведицы были готовы. То же самое она проделала у входа в снежные сени. Опасаясь, что щенок своим лаем привлечёт ненужное внимание медведицы, Ааныс загнала его в балаган. На радостях он тут же что-то опрокинул и был немедленно загнан под нары, но время от времени оттуда выглядывали чёрные озорные глаза шалунишки.

Даже Ааныс невольно улыбнулась, глядя на щенка, а сыну серьёзно, как взрослому, объяснила, что великий зверь приходит неспроста, и потому всегда надо придерживаться обычаев предков. Рассказала, что согласно поверьям медведь не трогает женщин и детей, и если женщина покажет ему свою обнажённую грудь, то он уходит. Ньюкуус очень внимательно слушал маму. По её словам выходило, что к ним пришёл не злобный зверь, а мирная медведица со своим медвежонком, и что ничего страшного не произойдёт. Мальчишка успокоился. Пока Ааныс рассказывала всё это сыну, немного успокоилась, даже как будто сама поверила всему сказанному. «Завтра посмотрим медвежонка, а потом они уйдут. Хорошо?» — сказала она начинавшему дремать сыну, который уже представлял себе маленького забавного медвежонка, большую медведицу и маму, стоящую с обнажённой грудью...

На улице Ааныс нарочито громко, чтобы медведица слышала, что тут есть люди, наколола дров, а заодно раскочегарила костры под окнами и у входа в балаган. Затем она притащила заготовки для полозьев саней, состоявшие из огромной коряги, и также пристроила их в свои костры. Чтобы дольше горели.

В балагане Ааныс зарядила двустволку мужа картечью и поставила ружьё у своего изголовья. Также несколько заряжённых картечью патронов она положила на стол. Черенком лопаты подпёрла дверь, поскольку на Севере двери всегда открываются вовнутрь, и привязала его для фиксации ремешком из жёсткой моржовой кожи. Зверь есть зверь, подумала она, лучше уж подстраховаться.

С невероятной высоты тёмного купола холодного неба расцветенный пламенем костров крохотный балаган, торчащий на острове Куба Арыгта, словно

рукоять охотничьего ножа, представлял фантазмагорическое зрелище. Внутри жилища — по его стенам — метались тревожные сполохи огня. Медведица, пришедшая на продуктовый лабаз, стояла и заворожённо смотрела на свой сон про хозяина морей, озёр и рек Уу Барылай Байаная наяву — над островом, где находится её берлога, в темноте полярной ночи сверкал невесть откуда взявшийся волшебный свет.

* * *

Запахи свежего моржового мяса и его вкусного жира вскружили медведице голову. У неё нещадно урчал желудок — с тех пор, как она залегла в берлогу и родила там своего малыша, она ничего ещё не ела. Мягко отодвинув путавшегося под ногами медвежонка в сторону, чуть постояла, приобняв столб лабаза, а затем вонзила свои острые когти в твёрдое, как железо, дерево. На её счастье нанесённый Большим ветром снег заметно сократил расстояние от земли до верхнего настила лабаза. Пара резких движений наверх, и медведица смахнула вниз лежавший с края кусок разделанного моржового мяса...

Дорвавшийся до еды великий зверь решил в берлогу не возвращаться, а залечь тут же. Медведица, конечно, узнала, что в человеческом жилище обитает женщина, догадалась, что это она разожгла костры, приснившиеся в её необычном сне. Подумала, что она тоже с ребёнком и, наверное, перепугалась до смерти. А ещё подумала, что, наверное, надо бы убраться незаметно. Тем не менее, аккуратно пристроила под мышку наевшегося и уже уснувшего довольного малыша, и с наслаждением начала грызть жирное и вкусное мясо. Какой бы осторожной она ни была, приятная истома сытости разлилась по её телу, и вскоре медведица задремала.

Ей снова приснился хозяин морей, озёр и рек Уу Барылай Байанай. В этот раз он мягко качал свою водную колыбельку и приговаривал: «Спи, спи. Ты даже не знаешь, что это я тебя специально отправил к этому жёлтому вкусному мясу. Это мой подарок тебе. Спи, спи...»

Так и переночевали эту долгую ночь две матери — медведица у лабаза с жирным моржовым мясом, и Ааныс в балагане, по стенам которого тревожно играли сполохи костров, разведённых на улице. Они обе не знали, что принесёт им новый день, но у обеих неприятно сосало под ложечкой и также одинаково ныло сердце...

* * *

Ааныс знала, что великий зверь пришёл неспроста, и в эту долгую ночь она не сомкнула глаз. Перед ней пронеслась вся её жизнь.

Однажды беременная Ааныс заносила домой лёд, поскользнулась и упала. Случился выкидыш. У неё пошла кровь, которую никак не могли остановить. В Саскылахе — небольшом рыболовецком участке из двух домов, где они тогда жили, разумеется, никакого фельдшера не было. Равно как и лекарств. Ааныс была при смерти, и она это чувствовала. Именно тогда, как она помнит, к ней пришла соседская старуха Маайыс. Она развернула дрожащими руками принесённый с собою тряпичный свёрток, в котором оказалось что-то тщательно завёрнутое в несколько слоёв серебристой фольги из-под чая. Это был маленький кусок засушенной медвежьей желчи. Чуть больше рыбьего глаза. Старуха Маайыс скovy-

рнула кончиком якутского ножа кусочек желчи на серебряную столовую ложку, развела водой и подошла к лежащей без сил измождённой Аанис.

— Милая, ты как? Вот я принесла тебе желчь великого зверя. Говорят, что при таких случаях только он и может помочь. Знаешь слова какой-нибудь молитвы, заклинания? Лучше будет, если произнесёшь их и выпьешь это — так оно вернее будет.

— Я попробую... Темнота застит мои глаза. К тебе, великий зверь, предводитель всех клыкастых на земле, обращаюсь я! Явившуюся неожиданно-негаданно погибель мою только ты можешь отогнать, только ты можешь меня защитить. Из чаши твоей золотой драгоценную влагу пригубляю я. Будь мне солнцем красным, месяцем ясным — останови мою кровушку! Спаси и сохрани!

После этого Аанис из последних сил втянула в себя приготовленное старухой Маайыс драгоценное снадобье и впала в забытьё. В ту ночь её кровотечение прекратилось, и она пошла на поправку. С той поры женщина безоговорочно верила в целительную силу медвежьей желчи. И впоследствии желчь великого зверя не раз помогала Аанис и её детям при разных недугах. Она, спасённая этим снадобьем от неминуемой смерти, была убеждена, что с правильными словами медвежья желчь может помочь ото всех на свете болезней.

Глядя на сполохи огня за балаганом, Аанис вспомнила другой случай, связанный с рассказами стариков о том, что великий зверь никогда не является просто так. Это произошло в доме великого охотника Улахан Абалахаана. Все домочадцы спали, когда мальчику, к которому чуть ли не с пелёнок прилипло ласковое пёсье прозвище Дружок, захотелось по малой нужде. На улице слышался отчаянный лай собак, но они часто устраивают драки, и поэтому на лай обычно никто внимания не обращает. Выскочивший в одних кальсонах и рубашке на улицу мальчишка тут же забежал обратно с застывшим от ужаса лицом, и даже не закрыв двери, кое-как произнёс заикающимся от волнения голосом: «О-отец! Та-там! Там медведь!»

— Где?

— У дверей в наши сени!

— Что за чушь!

— Сс-смотри!

За спиной мальчишки в сенях и вправду виднелось что-то необъятное.

— Ну-ка, отойди в сторонку! Ты смотри, окаянный, ещё и в мой дом явился!

С этими словами Улахан Абалахаан схватил висящий за его спиной на стене карабин и одним прыжком очутился у порога. Стояла полная луна, и он отчётливо разглядел щенка, задавленного медведем на снежном полу тамбура. Одним привычным движением отправил патрон в патронник, сделал для удобства шаг назад, опёрся спиной об печку, прицелился и выстрелил. Всё это произошло настолько быстро, что другие домочадцы так и не успели понять, что случилось. Огромный белый медведь с оскаленными зубами, вытянутыми вперёд лапами, издал страшный предсмертный хрип и рухнул прямо на порог их дома.

Выстрел в ночи переполошил весь посёлок.

«Ты почему, окаянный, пришёл ко мне, чтобы быть убитым на пороге моего дома?! Явился сказать, что грядёт час расплаты? Почему ты, великий зверь, не встретил меня достойно на охоте?!», — примерно такие слова, со слезами на глазах, произнёс великий охотник Улахан Абалахаан над огромным убитым самцом. Он перевернул тушу на спину и тут же на пороге разделал её.

При этом домочадцам великий охотник дал крепкий наказ, чтобы никто из

них не проболтался о случившемся. Но разве такое утаишь? И скоро об этом знал весь посёлок. Люди тихо шептались, мол, не к добру, что медведь сам пришёл к охотнику, вспоминали, что покровитель охоты Баай Байанай дарил великим охотникам перед их смертью большого зверя. Молва не молва, поверье не поверье, но тем же летом великого охотника Улахан Абалахаана хватил удар. От инсульта он не оправился и вскоре умер.

* * *

Ааныс вспомнила ещё один случай.

До того, как они с мужем переселились на остров Куба Арыыта, тут располагалась какая-то экспедиция. Однажды двое её членов отправились на северную оконечность острова. Неожиданно один из них провалился под снег, оказалось, что он упал в медвежью берлогу. Второй тут же заглянул в снежную яму и отшатнулся от ужаса — он услышал глухое ворчание великого зверя, увидел, как он положил на его упавшего друга передние лапы и посмотрел наверх. Прямо на него. И холодный синий пламень этого взгляда пронзил его насквозь, чуть не парализовал на месте и заставил испытать неописуемый животный страх.

Почти на последнем издыхании он добежал до лагеря, который располагался в балагане, и рассказал о том, что произошло. Экспедиция переполошилась, люди посоветались и решили, что надо немедленно сообщить об этом в Сагастыыр. Вестового туда отправили с наставлением, чтобы он без великого охотника Усун Бачыыга даже не вздумал возвращаться. Через сутки в лагерь экспедиции прибыл великий охотник Усун Бачыык, который, услышав историю, сразу же собрался в дорогу, и гнал своих собак, несмотря на быстро надвигающуюся ночь. Он тут же распорядился, чтобы хорошо растопили печь, и, даже не заходя в жилище, направился к берлоге медведя.

Когда Усун Бачыыгу вестовой рассказал, что медведь не задрал провалившегося в его берлогу человека, а только положил на него лапы, то старый охотник вспомнил законы Севера и сразу понял, что того ещё можно спасти, и сделать это может только он. К берлоге он решил идти один, чтобы в опасном деле, когда всё решают доли секунды, не зависеть ни от кого, а рассчитывать только на себя. Он даже всех собак оставил, взяв с собой только верного пса Догора, известного силой и храбростью и тем, что никогда не бросал своего хозяина при встрече с любым великим зверем. На него охотник мог полагаться.

...Две чёрные тени от яркого лунного света — старого охотника и его верного Догора — бесшумно парили по поверхности бескрайней тундры, над которой в куполе вечного неба были рассыпаны мириады звёзд. Охотник ещё издали увидел тёмный провал берлоги, куда упал человек, и, внимательно оглядевшись, понял, где могло быть занесённое снегом «окошко» медвежьего жилья. «Окошком» в этих краях называют узкое отверстие для воздуха, которое делает медведь перед тем, как залечь на спячку, и опытные охотники по ней находят берлоги. Сейчас они с Догором направлялись именно туда.

Удар приклада, обрушившего снег вокруг «окошка», стал для великого зверя полной неожиданностью, и он, привстав, с рычанием развернулся. Охотнику этого и надо было — выстрел карабина в морозной тишине прозвучал по-особенному громко. Медведь обмяк и медленно свалился на бок.

Усун Бачыык спустил в берлогу длинную кожаную верёвку, которой он был

подпоясан, но окоченевший от долгого лежания и, видимо, потерявший сознание человек не откликнулся. В ожидании подмоги от товарищей бедолаги, охотник закурил. По его прикидкам, потерпевший наверняка примёрз к снегу, и потому его надо было вынимать очень осторожно. Аккуратно сколоть образовавшийся от его тепла лёд и только после этого поднимать наверх. Вскоре подъехали взволнованные экспедиционщики. Охотник спустился вниз первым, помог поднять человека, который не подавал никаких признаков жизни, хотя наружный осмотр показал, что у него всё в целости. Подняли и медведя, который оказался довольно крупным самцом. Усун Бачыык удивился — обычно самцы в берлогу не ложатся, делают это очень редко и на короткое время. С другой стороны, подумал он, им всем повезло, что в берлоге не оказалось медведицы с медвежатами, тогда уж точно бы никто не поручился за благоприятный исход дела. Погрузив человека в одни сани, тушу медведя — в другие, все гурьбой направились к жилью.

В жарко натопленном доме пострадавшего по совету охотника раздели догола, а затем осторожно растёрли его тело сухой древесной трухой, предусмотрительно привезённой Усун Бачыыгом. Вскоре бесчувственное сначала тело порозовело, затем зашевелились кончики пальцев, вздрогнули ресницы, и вот он уже открыл глаза. Поняв, что жив, он хотел что-то сказать, но губы его ещё не слушались. Ему тут же влили в рот неразбавленный спирт...

Когда Володя, так звали «воскресшего» русского парня, более-менее пришёл в себя, его одели и усадили за стол. Ему рассказали, что спас его великий эвенкийский охотник Усун Бачыык. Володя до отъезда охотника в посёлок не сводил с него теплого взгляда, и всё сокрушался, что ему нечем отблагодарить своего спасителя.

Великий охотник Усун Бачыык смотрел на взволнованных членов экспедиции и думал о том, что надо благодарить непреложные законы Севера, которым подчиняются даже великие звери. Белый медведь не разорвал свалившегося на него человека, ибо для него он был слаб и мал. Он не переступил через эти законы, даже зная, что добром это для него не кончится...

* * *

Ааныс решила выйти на улицу, когда свет за окном только приобрёл слегка голубоватый оттенок. Она насыпала на доньшко ведра углей из печки и, держа его перед собою, словно большую защиту, осторожно вышла во двор. Раздула огонь костра возле входа, подкинула дров и с охапкой поленьев быстро зашла обратно. Приготовила завтрак и разбудила мальчиков, когда окончательно рассвело. Младшенького сына, которому они с мужем ещё не придумали имя, покормила грудью, а Ньюкуусу сказала, чтобы он поскорее доел завтрак. «А то наша медведица с медвежонком уйдут в берлогу, и мы их уже не увидим», — добавила она ровным голосом, успокаивая себя и ребенка.

— Мама, а медвежонок совсем маленький?

— Не совсем. У него уже мягкая пушистая шёрстка, короткие, но толстенькие лапки и чёрные-чёрные глазки-пуговики.

Ааныс расстелила на нарах оленью шкуру, пристроила туда поудобнее младшенького сына, одела Ньюкууса и оделась сама. Огляделась, взяла ведро для моржового жира и почему-то взяла ещё палку из тальника.

Лучи солнца, пока ещё не видимого из-за горизонта, окрасили небо на восто-

ке в нежный алый свет. На другой стороне небосвода, будто вылинявшего после долгой полярной зимы и потерявшего сочные краски, был виден бледный серпик луны. Всё говорило о том, что уже через несколько дней покажется солнце. Для тех, кто живёт за полярным кругом, это целое событие — радостное и волнующее, непередаваемое в своей первозданной красоте. Сначала горизонт на востоке купается в ярких лучах светила, но его самого ещё нет. И так несколько дней. Только потом появляется краешек солнечного диска, который с каждым днём становится всё больше и больше, пока однажды не предстанет полным кругом — красным-красным, как будто его только что выковал небесный кузнец. Через несколько дней краснота пройдёт, и солнце — новенькое и чистенькое — засияет на весь заждавшийся его полярный мир.

Сейчас до этого дня было ещё рано, но просторы застывшего подо льдом моря были видны уже до самого горизонта. Ааныс пропустила вперёд сына, пусть, подумала она, медведица с малышом видит, что я тоже с ребёнком, что я тоже мама.

— Мама, брось эту палку, а то медведица подумает, что это у тебя ружьё.

Ааныс удивилась словам сына, но мысленно похвалила его и отбросила палку в сторону. Где же звери? — подумала она, разглядывая издали лабаз. Медведицы не было. Но зато на снегу под лабазом было хорошо видно, как она попиrowала. По всей видимости, они ушли спозаранку. Ааныс с сыном направились к навесу из почерневших досок, где в бочках хранился моржовый жир. Женщина только хотела было начать набирать жир в ведро, как вдруг прямо перед ней словно из-под снега выросла медведица. Она стояла на задних лапах. Огромная. В два раза выше женщины. Ааныс застыла в ужасе, но кричать и делать резких движений не стала. Она почувствовала на себе дыхание великого зверя, но продолжала спокойно стоять. Их глаза встретились. К своему удивлению, ничего опасного для себя в этом пронзающем насковзь взгляде медведицы Ааныс не увидела. Взгляд великого зверя как будто говорил, что его бояться не стоит, он тут по своим делам...

Медведица опустила на задние лапы, медленно повернулась и пошла. Только теперь Ааныс разглядела, что впереди неё белым шариком катится медвежонок.

— Ой, какой хорошенький! — вывел её из оцепенения голос сына. Она даже не успела понять, где он был в это время. — Ты не испугалась, и я тоже не испугался. Ты же сказала, что это добрая медведица со своим медвежонком.

— Да, сынок. Добрая...

В метрах тридцати от них медведица-мама остановилась, снова привстала на задние лапы и посмотрела в их сторону. Медвежонок обогнал её и пустился вперёд. Затем медведица опустила на четыре лапы и сквозь снежные наносы продолжила свой путь к морю. У Ааныс отлегло от сердца.

* * *

Ньукуус, который впервые в жизни увидел медведицу и её малыша, был в восторге. Ему было невдомёк, что в эти мгновения пережила его мама. Мальчишка долго, до рези в глазах, стоял и смотрел на то исчезающих, то появляющихся в бесчисленных снежных барханах медведицу с медвежонком, направляющихся к морю.

Опасность вроде миновала, но Ааныс, также молча смотревшая вслед уходящим зверям, особой радости не испытывала. Она вдруг почувствовала себя полностью опустошённой, у неё подкосились ноги. Только сейчас до неё дошло чувство смертельного страха. Сидя на снегу, женщина явственно ощутила, что в её жизнь

вошла неведомая сила, которой она противостоять не может. На глаза сами собой навернулись слёзы. Потом она ещё долго сидела, ожидая, когда успокоится сердце, готовое выскочить из груди, и пыталась понять причину своей неосознанной тревоги, которая поселилась в её душе. Почему приходила медведица? Неужели Баай Байанай таким образом даёт ей знак, и великий зверь — это предвестник их будущих лишений и скитаний? Что будет с ними, если с её Андреем что-то случится? Он ведь тоже охотник, слава о котором гремит далеко за пределами Тумата. Нет! Ааныс отогнала от себя эту мысль. И там на краю Земли, на забытом Богом острове Куба Арыгта недалеко от крохотного балагана, торчащего, словно рукоять охотничьего ножа, она поклялась, что выдержит всё, и с ней и с её детьми ничего не случится, и они переживут любые испытания. Потом, как человек, принявший важное решение, она успокоилась, встала, отряхнулась, набрала моржового жира и зашагала в сторону жилища.

За нескончаемыми домашними хлопотами время летело незаметно, но теперь в голове Ааныс крутились другие вопросы — как рассказать мужу о том, что приходила медведица, и она подвергла себя и сына смертельной опасности? Как рассказать ему о том, как она ощутила на себе дыхание великого зверя? Как передать ему, что она почувствовала, когда они стояли рядом и молча смотрели друг на друга? Вопросы, вопросы...

Мать с сыном были уверены, что их муж и отец приедет именно сегодня. Ньюкуус с особой тщательностью счистил снова иней изнутри окошек, и в балагане опять стало светлее. Тем временем Ааныс занималась обедом, и вскоре ароматный запах вкуснейшего наваристого гусиного супа заполнил балаган.

* * *

...Застоявшиеся ездовые собаки рванули было с места во весь опор, но Андрей, как опытный каюр, попридержал их прыть. Через пару километров он оставил собак, дал им опорожниться, и только затем пустил упряжку ровной плавной рысью.

— Ток-ток! — погонял время от времени Андрей своих собак. — Ну, Чолбон, давай! Басыргас, не дёргайся! Ток-ток!

Нарты по накатанному после Большого ветра снегу скользили легко, и собаки быстро втянулись в размеренный бег. Только клубится за нартами снежная дымка. Время летело незаметно. Вставший спозаранку Андрей почувствовал, что слегка проголодался. Да и собакам надо было дать передохнуть, и потому он решил сделать остановку и перекурить.

Дым папиросы приятно щекотал ноздри, а он думал о том, что проехал уже половину пути. Если ехать таким темпом, то можно успеть домой ещё засветло. Он опять вспомнил домочадцев. Лишь бы дров хватило им, а за продукты он не беспокоился. Как не беспокоился и за жену, которая пережила не один Большой ветер. Андрей в Ааныс был уверен как в самом себе. «Ну, скоро я уже приеду», — подумал он. При этой мысли на его душе потеплело, и он невольно улыбнулся.

...Ещё две короткие остановки и, как изначально предполагал Андрей, они добрались до своего жилища. Было ещё светло. Он удивился тому, что его не встречает привычным лаем домашний пес, и лишь на снежном пригорке недалеко от балагана стояли Ааныс и Ньюкуус и смотрели, как он подъезжает. «Видимо, услышали лай моих собак», — предположил Андрей.

Ааныс с сыном скатились с горки навстречу, помогли собакам затащить гружёную нарту на пригорок, и вскоре они уже остановились возле продуктового лабаза.

— Отец! Мы видели медведицу с медвежонком! Он такой маленький! Они в ту сторону пошли! — выпалил возбуждённый и радостный Ньюкуус одним духом.

— Да ты что! Говоришь с медвежонком? — Андрей поднял сильными руками сына, и посадил на нарты. Вопросительно посмотрел в сторону жены.

— Правда, — тотчас сказала Ааныс. — Видимо, берлога тут у неё. Спокойная была, не напугала нас.

— Да тут она вволю наелась, — сказал Андрей, заметив следы медвежьего пиршества. — Такой жир бьёт по суставам, так что она далеко не должна уйти. Сходить что ли за ней пока ещё светло...

Собаки, взявшие запах зверя возле обглоданных костей, вздыбились на холке шерсть и начали рычать. Некоторые начали выть и остервенело лаять.

— Ты что, Чолбон, зверя отпугиваешь? Ну-ка перестань выть! — Андрей специально пожурил своего любимца, чтобы другие не так уж сильно ревновали к нему.

* * *

— Может, сначала чайку попьёшь с дороги, а потом уже посмотришь? — сказала Ааныс мужу рассудительно. — Говорю же, что медвежонок ещё совсем крохотный, видать, всего пару дней назад выбрался с матерью из берлоги. Так что они всё равно далеко уйти не могли. И потом разве зверь, обнаруживший лабаз с готовой едой, может просто так её бросить?

Слова жены звучали убедительно. Едва Андрей переступил порог, как ему в нос ударил ароматный запах гусиного супа, его обдало домашним уютом и теплом, по которым, как он сейчас осознал, очень соскучился. По привычке человека, зашедшего после долгой дороги в дом, он сразу очистил образовавшийся от дыхания лёд на песцовой оторочке шапки. Повесил сушиться рукавицы, а затем, с помощью сына, снял надеваемую через голову зимнюю кухлянку. Она у него была двойная — мехом вовнутрь и снаружи. Андрей уже давно понял, что на Севере всегда надо одеваться так, как одевались живущие здесь испокон веков люди — это удобно и, главное, тепло.

Сидя перед печкой, Андрей очистил бородку от сосулек льда, по-якутски понюхал Ньюкууса и крепко обнял его.

— Ты посмотри, Аанчык, какой у нас уже большой сын стал! В следующем году возьму его на охоту вместе со старшим братом. Уже помощники выросли!

С этими словами Андрей начал вытаскивать содержимое весьма объёмистого мешка, привезённого из посёлка. На столе появились абрикосовый компот, плиточный шоколад, русский хлеб из местной пекарни, сливочное масло, кусковой сахар, пачки папирос «Беломорканал» и ещё много другого добра. Ньюкуус прыгал от радости, Ааныс с удовольствием смотрела на всё это, радовался и сам Андрей, но он постоянно думал о медведице с медвежонком.

— Ну, какие новости? Как поживают люди? — спросила спокойным голосом Ааныс, разливая чай. И вдруг поняла, что жалеет мужа. Сейчас он, ещё не отдохнувший толком с дороги и соскучившийся по семье, пойдёт выслеживать великого зверя. По-другому поступить он не может. Она своего мужа знала хорошо. А

вдруг... Ааныс попыталась отогнать от себя нехорошие мысли. И ещё более спокойным голосом продолжила расспрашивать мужа о жизни знакомых им людей. У неё была особенность, которая, быть может, помогла им с сыном сегодня при встрече с медведицей с глазу на глаз. Чем тяжелее была ситуация, тем она становилась спокойнее, не теряла самообладания, там, где многие мужчины начинали нервничать, она вела себя очень рассудительно.

Андрей, конечно, догадывался, что творится сейчас в душе жены, и потому старался показать радость от прибытия домой. Он действительно был рад тому, что Ааныс с детьми благополучно пережили его отсутствие, и с ними ничего не случилось. Разве может быть что-то лучше для главы семейства, часто вынужденного скитаться вдали от дома?! Вот только медведица... Великий зверь никак не выходил из головы, и потому к супу, каким бы вкусным он ни был, и как ни дразнил ароматом, Андрей почти не притронулся, зная, что ему сейчас плотно есть нельзя. Тем не менее, он не торопясь поделился новостями, поведал о жизни-бытии общих знакомых в посёлке.

Также Андрей с удовлетворением рассказал о том, что его песцы ушли за 800 рублей, и он смог рассчитаться со всеми долгами, вдобавок ещё и две рыболовные сети купил. Потом, вспомнив, передал жене письмо от её подруги Оннбурки, а также от Улахан Кычкина.

— С Егорушкой всё нормально. Вот этот компот он братьям велел купить в качестве подарка от него. Ну, а вы как без меня тут жили? Дрова, небось, давно закончились? — закончил свой рассказ Андрей.

— На наше счастье дрова закончились как раз, когда стихла пурга. Ну, потом пришлось старые запасы рубить. Керосин закончился...

— Я привёз. И свечей тоже. Надолго хватит.

— О-о, это хорошо! Андрей, может, ты на этого зверя завтра пойдёшь? — спросила как бы между прочим Ааныс.

— Какое там завтра! — моментально ответил Андрей, как будто только и ждал этого вопроса. На самом деле так и было. Ему, честно говоря, стало легче от того, что Ааныс спросила его об этом. — Байанай же от меня отвернётся! Да и собаки сейчас не успокоятся, всю ночь будут лаять и выть. Ты лучше занеси рыбы для них, приду, покормлю. Сейчас с собой только Торгона возьму. А ты, Ньюкуус, на улицу пока не выходи.

Андрей занёс с улицы карабин, дал ему отойти немного от холода возле печи, потом тщательно протёр со всех сторон. То же самое он проделал с предварительно вытасненным затвором, который потом завернул в отдельную тряпицу. После этого он немного успокоился и с удовольствием выпил из блюдца ещё одну чашку горячего чая. Его пальцы при этом заметно дрожали. Но Андрей думал о том, что сегодняшняя медведица — это воплощение сна, который приснился ему накануне в Сагастыре.

В это время Ааныс занесла в дом полный таз ряпушки. Она ловко обстучала их и, разделив, пристроила оттаивать на шесток печи. Затем откуда-то из изголовья нар вытащила лёгкую пыжиковую парку, подбитую шкурами песца. Чуть смущённо протянула мужу.

— Вот, я закончила, наконец. Может, наденешь её сейчас?

Андрей с благодарностью посмотрел на жену. Сразу же с радостью примерил. Что он мог ещё сделать перед тем, как идти на великого зверя? Парка, тёплая и лёгкая, сидела как влитая. Сказал, что в ней он и пойдёт, и сразу спрятал за пазуху тряпицу с затвором. На улице он поднял свернувшегося калачиком спящего Торгона, и смахнул рукавицей иней с собаки. Остальные завистливо заскулили.

Охотник обмотал себя несколько раз длинной прочной верёвкой из кожи морского зверя, проверил на месте ли нож, поправил карабин и, подзвав Торгона, направился на северную оконечность острова.

Андрей шёл и вспоминал, как несколько лет назад добыл медведицу с медвежонком. Именно тогда он впервые увидел глаза великого зверя, смотрящие на него в упор. Вспомнил слова стариков о том, что пригвождённые на месте неподвижным взглядом хищника охотники бывают обречены. Мало кто из людей может выдержать этот проникающий до позвоночника парализующий взгляд. На его счастье он свалил медведицу одним выстрелом. И опять же удивился тому, что пока он вскидывал карабин и целился — ему показалось, что за этот миг прошла целая вечность, великий зверь продолжал смотреть на него и ни разу не моргнул. Грянул выстрел. Медведица свалилась на спину, её глаза потухли, но перед уходом в небытие в них на мгновение вспыхнули леденящие душу красные огоньки. Словно последние угли догорающего костра...

Когда Андрей рассказал об этом знакомому охотнику Хасчыту, тот промолвил, что если зверь свалился на спину — это добрая примета, и Байанай добывшего его человека возрадовался.

...В наступающих сумерках были хорошо видны голубоватые ледяные торосы, громоздящиеся у морского берега. Это только кажется, что в этом первозданном величественном безмолвии человеческому глазу не за что зацепиться. Охотник сразу разглядел цепочку следов медведицы, увидел место, где медвежонок несколько раз скатился с высокого тороса, пока мать не помогла ему. Проследив взглядом дальнейший путь зверя, Андрей предположил, что медведица решила срезать путь и напрямик направилась к берлоге через торосы. Ему оставалось только идти по следам. Торгон, как опытная и не раз бывавшая на охоте собака, молча бежал рядом с хозяином. Он знал, что его очередь ещё впереди.

Вскоре Андрей разглядел на крутом береговом склоне чернеющий лаз берлоги и решил, что он обойдёт её со стороны, поднимется наверх и подойдёт к медведице оттуда. Как бы ни был силен и ловок зверь, это даст человеку некоторое преимущество. Вряд ли он попытается вскарабкаться по крутому склону прямо на охотника, скорее всего, медведица скатится вниз, и Торгон, самая отважная из его собак, не должен дать ей уйти в торосы. Там и достанет её Андрей. Он осторожно достал затвор, вставил в карабин, а затем зарядил его.

Как только охотник достиг нужного ему места, и сделал вниз по склону несколько шагов к берлоге, неистово залаял Торгон. В мгновение ока взметнулся снег, и медведица выскочила наружу. Андрей по опыту понял, что она защищает своего медвежонка, иначе хитрый зверь под пули бы никогда не выскочил. От яростного лая бесстрашного Торгона, чуть ли не вцепившегося в неё, медведица расвирепела, и человек увидел пламенеющий от злобы взгляд великого зверя. Он вновь как некогда весь похолодел, но привычным движением спустил курок, и страшные огни тотчас погасли. Но другие — пока ещё не свирепые, ничего не понимающие и испуганные — смотрели на охотника из глубины берлоги. Это был медвежонок...

* * *

Эхо выстрела разнеслось по всему острову. Ааныс подождала второго, но он не прозвучал — её муж был великим охотником, слава о котором давно перешагнула окрестности Тумата.

— Наш мудрый покровитель могущественный Баай Байанай! К тебе обращаюсь я! Ты, подаривший великому охотнику большого зверя, не лишай нас доброго своего расположения! Здоровья и изобилия не лишай нас! — с этими словами Ааныс покормила огонь жирными оладьями, которые успела настряпать в ожидании мужа.

...Предчувствия её не обманули — это оказалось последней охотой Андрея. Вскоре он неожиданно заболел, лечился сначала в Тикси, а последние дни и часы жизни провёл в родном Болтогинском наслеге Чурапчинского улуса, где и был похоронен. Ааныс осталась на острове с детьми, где ей и сообщили потом об этом. Женщина стоически отнеслась к случившемуся, поскольку всегда знала, что законы Севера никто не отменял. Она с удивлением вспоминала потом клятву, которую дала, сидя на снегу после встречи с медведицей, когда ощутила дыхание великого зверя: «Я выдержу всё, со мной и с моими детьми ничего не случится, мы переживём любые испытания»...

С отплывающим в Сагастыр последним перед ледоставом катером Ааныс с детьми покинула остров. Стоя на палубе утлого судёнышка вместе с Егоркой, Ньюкуусом и малышом на руках она со слезами на глазах всматривалась в свой милый, вмиг осиротевший балаган, который она уже не увидит никогда. Он был для неё самым родным местом в этом неприветливом суровом краю, где она провела с любимым мужем счастливые годы своей жизни.

Вскоре балаган, торчащий на острове Куба Арыыта, словно рукоять охотничьего ножа, исчез из вида навсегда.

*Перевод
Алексея АМБРОСЬЕВА — Сиэн МУНДУ,
г. Якутск. 2017 г.*



ЕКАТЕРИНА КОЗЫРЕВА



В душу впиталась полынная горечь...

Отчизне

Уральских гор могучие шеломы.
Глухих холмов сухие ковыли.
Вползает поезд ящеркой зелёной
На дикий гребень в голубой пыли.

За речкой Белой, повторив изгибы,
Уйдёт в проруб туннеля, в темноту,
А вынырнет — увидят, кто бы ни был!
Глубинную Отчизны красоту...

Твоих полей полынное остожье,
Твоих лесов немеренную высь.
И есть пути прекраснее, быть может,
Но от своих дорог не отречись.

Они вели, а не были ведомы!
Вчера по ним богатыри прошли...
Уральских гор могучие шеломы,
Глухих холмов сухие ковыли.

КОЗЫРЕВА Екатерина Николаевна родилась в пос. Агаповка Челябинской обл., близ Магнитогорска. Окончила Московский областной Педагогический институт, Высшие Литературные курсы в семинаре Юрия Поликарповича Кузнецова. Печаталась в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Поэзия», «День поэзии», «Москва», «Московский вестник», «Вестник российской литературы», «Подъём». Автор книг: «Дорога в Болдино» (1993), переиздана в 1999, «Свет одиночества» (1995), «Качели над обрывом» (1997), «Неземное кольцо» (1999), «Зимний шитовник» (2003), «Возвращение к себе» (2006), «Берег неба» (2009) книги-эссе «Тайная судьба Пушкина», «Другиня» 2012, «Богатый остров» 2016, «Сонеты времени» 2017. Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция», лауреат нескольких литературных конкурсов: «Трудовая доблесть России» (председатель конкурса М.И. Ножкин) с награждением медалью. Лауреат Московского конкурса поэзии памяти С.А. Клычкова. Дипломант Всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского (2017). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

* * *

Шли тучи на закат, как волны спелой ржи,
Ушёл в небытие вчерашний ветер в поле.
О, потрясенная Земля, в своей доле
О чем задумалась, родная, расскажи!

О том ли нищем, что бредёт с клюкой,
О том ли алчном, что не знает горя.
На Запад смотрит он, и с совестью не споря,
Он скоро на тебя махнёт рукой.

Смотри, откупорит и опорожнит вмиг
Твой пьяный чертолом зелёную бутылку.
Никак не заведёт забытую косилку
Еще охочий на крестьянский труд старик.

Все ближе подступает ад бетонный,
А люди пришлые язвят твои стерни...
Ужели мы дадим исчислить наши дни
И край попать — небесный и зелёный!

Встреча

Багряные листья, упавшие на плечи, Порфира осени — святое торжество. И чувствует душа, вступая в эту встречу, С багрянородною печальницей родство.	Благоволит и зрению, и слуху. В дыханье сонных вод отражено. И помысл так высок у человека... И Благодать, как рек Иларион, Исполнила всю землю. День от века Надеждой, Верой и любовью осенён.
Всё непритворно в ней и внятно духу, Спокойно, величаво сложено.	

В Болдине

Счастливым плен. И охристо-туманный
За старой мельницею рощицы дымок.
И слово «карантин» звучит так странно,
Снег Чёрной речки нереален и далек.

И узкою листвою с ветлы склонённой
В лирической глуши усеян пруд,
Под углою луной уединённой
Легки, как вихрь, стихи его растут,

И девочка, печалью вдохновенною
Озарена, как будто Натали,
Читает чистым голосом — нетленное:
О божестве, о счастье, о любви...

Прощание

Безмолвных птиц полёт Над тихою рекой. Как за сердце берёт Высокий твой покой!	Забрезжит синий дым Озимого клочка. Холмы, холмы, холмы, Холодных гор гряда...
Твой путь исповедим И сладок, как тоска.	И тишь, и глушь зимы, Как будто навсегда.

* * *

Там я птицею певчей была. Был мне друг — дурачок из села. От дурманящих снов с сеновала Я к нему спозаранок слетала.	Мы летели, свистел красногал, Кнут, как выстрелы, землю хлестал. И слетела с меня телогрейка, И алел по степи маков цвет...
Кнутовище держа, как смычок, На коне ждал меня дурачок.	Пожалей-ка, село, пожалей-ка! Что таких дурачков больше нет.

Околица

Эх, не потворствуй, околица, городу.
Как ты была хороша!
Всё, что мне смолоду было не дорого,
Вдруг оценила душа.

Тёмных три дома стоят заколочены.
Где ты, родимая мать?
Кто это русской землёю ворочает,
Реки ворочает вспять?

Что там теперь? Растревожит бессонница...
Медлить уже не могу:
Встретит меня молчаливая звонница,
Белая в белом снегу.

* * *

Море срывало кольцо с сердоликом, Что ж, не жалею, лови! То, что мерцало серебряным бликом, Бликом заветной любви.	Полно! Смирится и сильное море, В небе забрезжит звезда. Тихо раскинется ночи палатка, Красный погаснет закат. Звёзды застынут в холодном порядке. Что же так чайки кричат!
В душу впиталась полынная горечь: Вольной мне, воля — беда...	

Снег

Прилетел! Прилетел! Бросил в ноги букеты,
В скверах белые вырастил за ночь цветы,
Отчего же так горестны эти заметы,
От небесной — от чистой его красоты?

Через купы деревьев краснеет рябина,
Ветка жёлтыми листьями тонет в снегу,
Ну и что из того, что я землю покину...
Что же в сердце моём, что сейчас сберегу?

Что сейчас пронесу я с душой обнажённою,
Через мир и себя, через память и кровь.
Разве тяжесть казны, разве душу казённую
Пронести в неизбежную рифму — любовь!

Жить бы так, как природа — прекрасно и бережно,
Прилететь и растаять, и вновь прилететь,
И не думать, не ждать отдалённого берега,
С неизбежною рифмой его — умереть.

Память

Ожил на могиле Белый камень.
Нежной зеленью подёрнулись бока.
Украшал его горячий пламень
Купленного в городе цветка.

Кто почил там? Дева Евдокия.
Этой деве ровно триста лет...
К той, которой и под камнем нет,
Вёл тропинки неприметный след
И воспоминанья дорогие.

* * *

Смолкла воронов чёрная стая.
Дед, вздыхая, весь вечер молчит.
Пишешь ты, что дрова догорают,
Догорают в насытой печи.

Пишешь: ветер летает и злится
По-над крышей почти с Покрова.

Воет печь — или воет волчица:
Не просохли и за ночь дрова...

Выстывает изба, выстывает.
Без тепла-то и сил не сберечь.
Что ж никто не умеет, не знает,
Как насытить голодную печь?

Фомка

1

Ходит Фомка за оврагами,
И когда бедняга спит?
То с лопатой, то с граблями
В чистом полюшке корпит.

Что под солнцем, что под тучею —
Сам хозяин-голова.
Да цепляется колючая
За него бурьян-трава.

Не упрямясь, Фомка! Маятно!
Брось ты землю, уходи!
Нет! — ответил Фомка праведный, —
Мать-земля в моей груди!

2

Ком земли размял руками.
Выбрал стёкла, кости, камень.
Так всю жизнь — с утра до ночи
Всё пласты земли vorочал.

Перспективно ли — не думал
Землю-матушку любить,
Умно вышло ли, неумно —
В одиночестве робить.

Лишь напишет дочке в город:
«Собираю урожай.
И привёз бы, да не молод.
За картошкой приезжай!»

* * *

Вадиму Кожину

Что кроется в жемчужине, внутри,
Из воздуха горячая пылинка?
Одну растят, лелеют, посмотри,
Как драгоценною становится песчинка.

Другая же в тюрьме заключена.
И таинство рождения скрывая,

Она лежит на глубине морского дна,
Где серебристых рыб проходят стаи.

Отыщет ли её ловец иль вор,
Любовник или истинный ценитель —
По воле волн сокрыт её затвор,
И глубина хранит её обитель.

Брату

Приедешь, поклонись далёкой
Могиле матери моей.
Скажи, что стала одинокой
Я без неё. А жизнь — бедней.

Да посади — она любила
Цветочки голубого льна,
Чтобы весной цвела могила,
Издалека была видна.

И я приеду, хоть не близко,
К простому привезу кресту
Московский ландыш серебристый
Волжанке-маме, как мечту.

Да с корневым комком берёзу
Из леса маминой весны,
Да раскулаченные слёзы
Всех виноватых без вины.

Рубцову

Он с фотокарточки глядит
В большой ремесленной фуражке.

Не вспоминайте жалкий вид
Его застиранной рубашки.

Те, кто его не узнавал,
Поглядывал высокомерно,
Кто славу у Поэта крал...
У вас последний, стал он первым.

По крохе соберём теперь
Жизнь... Одинокая ловитва...
Поэт! Среди святых потерь
Ты — обретённая молитва.

Сквозь снега

Чем же ты был недоволен вчера?
Тёплые листья и тёплые лужи.
Нынче не горсти — мешки серебра
Мечет в окошко небесная стужа.

Бешено белит она белый свет,
Кругом кружит и куражится вьюга.
К нам звероловы нащупают след,
Словно посланцы с Полярного круга.

Ввалятся белых медведей белей,
Живо оттают. Пойдут разговоры...
Слушай про белок, волков, соболей
Сказы охотничьи, хитрые споры.

В мире рассеянном — в поле былом
Люди нашлись и пришли... Слава Богу!
Виден пока сквозь снега этот дом,
Видно и к русскому ладу дорогу.

Воля

Не ревнуй меня к песне
И к стихам не ревнуй,
Всё осталось на месте —
Первый наш поцелуй,

И желанные дети,
И семейный покой.
Нет дороже на свете
Вольной воли с тобой...

Встанешь ты до рассвета
И увидишь — тяну

Злую долю поэта —
Золотую струну.

— Есть же Лермонтов, Пушкин,
Есть Рубцов, Кузнецов.
Вы же, словно кукушки,
Нароняете слов...

Но кукушкины слёзы
Соберёшь, не вина,
И простишь мои грёзы,
И уснёшь без меня.



ЛЮБОВЬ МОСКОВЕНКО



Дедушкины уроки

РАССКАЗЫ

Бубнили птицы...

Пасмурным декабрьским днём дедушка и Андрей выбрались на лесную прогулку. Шли долго, утомились и остановились передохнуть. Дедушка насторожился. В одну сторону посмотрел, в другую:

— Птицы бубнят. Как ты думаешь, кто это? Вороны — мастерицы поорать. На голоса соек и кукушек не похоже...

— Рябчики! — прошептал Андрей, указывая на птиц, сидящих недалеко на соснах.

Одна из птиц расположилась на вершине кроны, ещё четыре — в мохнатых лапках рядом стоящего дерева. Они-то и бубнили: «бу-бу-бу, бу-бу-бу», переговариваясь между собой. Заметив людей, пернатые улетели.

МОСКОВЕНКО Любовь Николаевна родилась на участке Ивановск Куйтунского района Иркутской области. Окончила Сибирский технологический институт в г. Красноярске по специальности инженер лесного хозяйства. Работала по профессии, а также журналистом в местных газетах, специалистом пресс-центра администрации г. Тулуна, методистом в отделе образования Тулунского района. Печаталась в местных газетах г. Тулуна, журнале «Сибирячок», альманахе «Первоцвет», журнале «О Русская Земля» (г. Москва), в журнале «Сибирь». В 2012 году вышла в свет книга детских рассказов о природе «Дедушкины уроки», в 2015 году — фотоальбом о природе сибирского края «Сказка вечности» (г. Иркутск). Член Союза писателей России. Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина. Награждена дипломом победителя — 2-е место — в акции «Моя малая родина» (2015 год). Живёт в селе Алгатуи Тулунского района Иркутской области.

— Ну и каких птиц мы сейчас видели? — спросил дедушка. — Я порассуждаю, а ты запоминай. Это не рябчики. Рябчики — птицы осторожные, открыто не показываются. Да и небольшие они, меньше курицы. Между собой пересвистываются. И рябенькие, отсюда их название. На глухарей улетевшие птицы тоже не похожи — глухари крупные. А это тетёрки. У тетеревов-косачей — хвосты с лировидными перьями. Оперение черное. Брови красные. Тетёрки выглядят скромнее — буро-ржавые. Да ты их только что видел. Окрас перьев у них сливается с лесной подстилкой, и во время насиживания яиц птицы незаметны. Тетерева любят открыто сидеть в кронах деревьев, собираясь в стаи, и поговорить-побубнить о чём-то своём. Вот мы их и послушали!

Птичья загадка

— Чьи это следы? — спросил Андрей, внимательно вглядываясь под сорняки и под кусты ольхи.

Дедушка осмотрел пересекающиеся бороздки и ответил:

— Птица кормилась. Видишь, на снегу рядом со следами отпечатались взмахи крыльев.

— Какая птица?

— Для ворон — следы маленькие, для синиц — великоваты. Может, сорока здесь была? Затрудняюсь ответить.

Не разгадав птичью загадку, дедушка и внук отправились дальше. В одном месте дорога резко поворачивала вправо. Свернув за поворот, следопыты вздрогнули от испуганного крика «Кэр-р!» и резкого хлопанья крыльев. Остановились. Из-под кустов ольхи вылетела птица, сверкнув голубыми перьями на крыльях. Уселась неподалёку в ветвях кустарника, разглядывая нежданных пришельцев. Потом неохотно улетела.

— Это же сойка! — узнал птицу дедушка. — Голова и грудка у неё красновато-коричневые, хвост чёрный, на крыльях зеркальца — перья с голубыми и белыми полосками. За кормёжкой прокараулила нас. А вообще она осторожная! Летает бесшумно. Порой затаится в ветвях на вершине дерева и наблюдает, кто и куда идёт.

Летом сойка ловит насекомых и даже хищничает: охотится на птенцов и мелких зверюшек. Зимой большого выбора нет, поэтому кормится семенами. Вот и ответ на твой вопрос: какая это птица?

Верят вракам

Перед Новым годом дедушка и Андрей пришли к озеру. Здесь по берегу росли кусты облепихи. Ветки на них были оранжевыми от ягод.

— Богатый урожай! — восхитился дедушка. — Не зря пришли. Я думал, что птицы все плоды склевали, а тут только кое-где объедено. Быстро наберём ягод. Бабушка к праздничному столу сварит из них морс.

— Я из малины и клубники морсы люблю — вкусные и ароматные. Но облепиховый особенный по вкусу, будто бабушка в него солнышка добавляет, — сказал Андрей.

Подъехала легковая машина и остановилась недалеко от ягодников. Из неё вышли среднего возраста мужчина и женщина, одетые в простую тёплую одежду.

— Доставай топор и покрывало! — велела женщина.

Мужчина подошёл к багажнику и взял то, что потребовала спутница.

— Дедушка, зачем им топор и покрывало? — удивился внук.

— Кусты облепихи вырубать и трясти с них ягоды на покрывало.

— Так они же её погубят?! — недоумевал Андрей. — На следующий год ягод здесь не будет.

Мальчик решительно подошёл к женщине. За ним — дедушка. К ним поспешил мужчина.

— Чё надо? — недружелюбно спросила женщина.

— Зачем облепиху вырубать собрались? — строго спросил мальчик.

— А чё ей станет? — ухмыльнулась женщина. — Гуще расти будет.

— Ошибаетесь, — поддержал дедушка внука. — Кустарник не станет гуще, а погибнет. Вокруг села всю облепиху вывели, и до озера добрались. Уезжайте, мы не позволим вам разбойничать.

— Чё-чё ты сказал? — глядя на дедушку, презрительно переспросила женщина. — Я чё-то не поняла...

Она выхватила у мужчины топор и решительно направилась к кустам.

Дедушка достал сотовый телефон.

— Если сейчас не уедете, позвоню сельскому участковому. Он встретит вас: дорога от озера одна, — через село. Приехали невесть откуда, ещё и свои порядки наводите.

— Защитнички природы выискались! — усмехнулась женщина. — Вот мы прямо-таки испугались вашего участкового!

Мужчина отобрал у неё топор и приказал:

— Садись в машину. Бесплезно скандалить — не отвяжутся.

Они сели в машину и укатили. Дедушка и внук нарвали ягод и вернулись домой.

В первых числах января снова пришли на озеро и ахнули: от кустарника остались пеньки. На берегу валялась срубленная облепиха. Ягоды с неё были обиты. Дедушка только руками развёл:

— Пытаюсь и не могу понять некоторых людей. Не садили, не ухаживали за кустарником, приехали — вырубали подчистую. Ещё и байку сочинили, что он от этого гуще расти станет. Находятся простаки, верят этим врачам. Облепиха в наших лесах не росла раньше. Её в сады и огороды завезли, а она и в дикую природу переселилась. Занимает пустоши, брошенные бедные земли и обильно плодоносит. Пришлась по вкусу и людям, и птицам, и зверью. А её безжалостно уничтожают. Помню, лет тридцать назад какая-то заготовительная организация объявила о закупе ягод рябины и черёмухи. Не знаю, велики ли деньги люди получили? Только, как и облепиху, вырубали эти кустарники. И тогда кто-то говорил, что гуще расти станут.

— А как птицы и звери без ягод рябины и черёмухи жили? — обеспокоенно спросил внук.

— Может, некоторые и погибли, — вздохнув, ответил дедушка и продолжил: — спустя десятки лет в лесу кое-где появились рябина и черёмуха. Теперь горе-любители лесных даров до грибов добираются. В какой-то газете летом прочитал совет — не срезать грибы, а вырывать. Дескать, гуще расти будут. Решили и грибы извести, ведь нарушенная грибница погибнет. Скудеют леса. Их дарами пользоваться надо с разумением, чтобы не навредить природе.

Воронушка

В первый день Нового года Андрей предложил дедушке:

— Пойдём в гости к Воронушке. Поздравим её с праздником.

Воронушкой мальчик называл ворону-артистку. Жила такая талантливая птица в ближнем лесу. Дедушка и внук дружили с ней. Порой она устраивала для них удивительные концерты: старательно воспроизводила голоса животных и птиц, гудки машин и электровоза, предупреждала своих зрителей, если вблизи появлялся крупный зверь. Часто сопровождала их во время прогулок по лесу. Дедушка и внук угощали её хлебом, салом, сыром, в общем снедью, которую брали с собой, чтобы перекусить в пути.

— А где мы её найдём? — спросил дедушка.

— Как где?! — удивился внук и пояснил: — на её любимом месте — на сухостойном дереве возле речки Смородинки.

— Хорошо, — согласился дедушка. — Пошли.

Одевшись потеплее, прихватив угощение, дедушка и внук отправились в гости к пернатой подруге.

— Придумали — в гости к вороне пойти?! — удивлялась им вслед бабушка. — Если найдёте, от меня ей привет передайте. Надо же — ворону в лес пошли искать?! Это то же самое, что иголку в стогу сена.

— И передадим Воронушке от тебя привет, — серьёзно пообещал внук бабушке.

Половину пути шли по наезженной лесной дороге. Потом свернули на тропу, ведущую по ельнику к реке. Молодые ёлочки и могучие ели засыпал снег, под его тяжестью тёмно-зелёные ветви склонились книзу. Под деревьями снега было мало. Этим воспользовалась белочка. Она выкапывала упавшие еловые шишки, шелушила их, выбирая семена.

— Умница, — заметил дедушка. — Попробуй, попрыгай в кроне — снегом завалит.

Вскоре вышли к замёрзшей реке. Возле тропы на сушине увидели Воронушку. Она сидела на суку, да не одна, к ней прижался друг. Вороны ласкались, соприкасаясь головами и шеями. Им было так хорошо, что они не замечали людей. Дедушка и внук, полюбовавшись влюблённой парочкой, подошли к дереву. Друг вороны испугался и улетел.

— Здравствуй, Воронушка, мы к тебе в гости с гостинцами пришли, — приветствовал лесную хозяйку мальчик.

Ворона радостно отозвалась: — Ка-ар! Кра-ак! Крау!

— Привет тебе от бабушки, — продолжил разговор Андрей.

— Ка-ар! Кра-ак! Крау! — приветливо ответила птица.

Прилетел ворон. Уселся рядом с подругой, но, не доверяя людям, снова улетел. Потом ещё несколько раз прилетал и улетал.

— Волнуется, — сказал дедушка. — Давай, оставим угощение на пне и не будем им мешать.

Дедушка и внук смели снег с пня, накрошили на него хлеба, сыра, насыпали крупы. Ворона внимательно наблюдала за ними.

— Пока, до новой встречи, — попрощался с ней мальчик.

— Ка-ар! Кра-ак! Крау! — ласково ответила ему птица.

Уходя, дедушка и внук обернулись. Увидели, что к Воронушке вернулся друг. Они сидели рядышком и смотрели людям вслед.

Дома бабушка встретила их вопросом:

— Нашли свою подругу?

— Нашли! — весело отозвался внук. — Тебе от неё привет.

И рассказал о встрече с Воронушкой.

— Да, удивили! — развела руками бабушка. — Пойти в лес в гости к вороне!
Да ещё и найти её! Да...

Медвежьи следы

В середине апреля дедушка позвал Андрея:

— За зиму на сенокосные поляны ветром с деревьев веток наломало и набросало, убрать их надо. Сейчас и пойдём, собирайся.

По дороге они остановились, увидев следы:

— Медвежьи. Проснулся уже. Ближе к селу подходил! — заметил дедушка.

— Медвежьи следы?! Он, наверное, после зимней спячки голодный? — разглядывая крупные когтистые отпечатки в замёрзшей дорожной грязи, боязливо отозвался мальчик.

Дедушка успокоил внука:

— В такое время прокормится: на солнцепёках трава пробилась, муравьи проснулись.

Они подошли к огромному муравейнику с разрытой вершиной. В образовавшейся яме бегали насекомые. В некогда слаженном и дружном муравьином семействе царила неразбериха.

— Медведь разорил! — воскликнул дедушка. — Добрался до муравьёв!

— А до нас не доберётся? — забеспокоился Андрей.

— Не доберётся. Он миролюбивый. Со мной такой случай был. Как-то пригласил меня за черникой знакомый охотник Иван. Собрались несколько человек. Приехали на старые вырубки леса, заросшие черничником. Я нашёл небольшой участок, усыпанный спелой ягодой. Никогда больше такого урожая черники не встречал. Встал на колени и совком загребал ягоду. Совок быстро наполнялся, и я высыпал из него чернику в горбовик.

— Видел я твой горбовик, — сказал Андрей. — Он из фанеры, и похож на короб с ремнями. Ты его в лесу, как рюкзак, за спиной носишь.

— Ты только из фанеры видел, а бывают ещё из листов дюрала. Они полегче, чем мой, из фанеры. Так вот, собираю я чернику, да радуюсь. Недалеко кто-то тоже собирает. Слышу, как веточки под ногами потрескивают. Подумал, что Иван. Через пару часов горбовик был полнѐхонек. «Иван!» — позвал я. Не отзывается. Снова позвал — молчок. Крикнул — тишина. Пошёл посмотреть. Вышел к зарослям малины. Кустарник измят, ягоды объедены, и свежие медвежьи следы! Услышал косолапый, что я в его сторону иду, и убежал. Отыскал я Ивана на дальнем вырубке. Рассказал, с кем по соседству чернику собирал.

Он добродушно улыбнулся: «Медведи любят ягоды, а особенно малину».

И рассказал мне о своей встрече с этим зверем: «Решил я летом охотничью избушку подправить, к зиме подготовить. За день не управился, остался ночевать. Утром пошёл к ручью умыться и нос к носу столкнулся с медведем. Мишка застрял за бугорком: из пасти торчала трава и еще по пучку в лапах держал. Зверь растерялся, замер передо мной столбом. Я говорю ему:

— Беги, что стоишь?!

Услышав голос, косолапый спохватился, кубарем скатился с пригорка к ручью, перепрыгнул через него и скрылся за кедрами».

— Я бы испугался, если медведя близко увидел, — признался Андрей.

— Я бы, наверное, растерялся, — ответил дедушка. — Но виду не показал: звери чувствуют чужой страх, смелее становятся и напасть могут. Медведь опасен, если в него стреляли, но он выжил. Или среди зимы из берлоги подняли и упустили. Такого зверя ещё «шатуном» называют. Медведицу с медвежатами лучше стороной обходить. Если почувствовал что-то неладное, надо о себе дать знать: по дереву постучать, покричать или попеть. И быстрее уйти с этого места. Теперь не боишься медвежьих следов?

— Нет, — храбро отозвался внук.

— Пошли, нам же на покос надо...

Здоровьем платят...

Апрельским вечером дедушка и Андрей возвращались с прогулки. На дороге увидели брошенные подснежники. По ним проехали машины. Они были в грязи, увядшие и помятые. Мальчик огорчённо заметил:

— Это не первый букет за сегодняшний день.

— Трудно понять людей. Наверное, от мала до велика знают, что рвать цветы нельзя: многие занесены в Красную книгу, как исчезающие. О растениях не думают, хотя бы о своём здоровье позаботились, — поддержал дедушка внука.

— А что таким людям сделается? Сорвали цветы, бросили, ушли и забыли о них?! — недоумённо спросил внук.

— Так думают, а, вернее, ни о чём не думают те, кто рвут цветы. А задуматься бы надо: подснежники, лютики, купальницы-жарки, ветреницы или, как их называют в народе — карандашники или сметанки, и некоторые другие цветы — ядовиты. Соком могут обжечь кожу. Опасны и не ядовитые — пыльцой могут спровоцировать аллергию. За разбой в лесу любители букетов здоровьем платят...

За журавлиной

В начале мая дедушка позвал Андрея:

— Пойдём на болото. За журавлиной.

— За какой журавлиной? Подругой журавля? — вскинулся в удивлении внук. — Только как мы её поймаем? Да и зачем она нам?

Дедушка улыбнулся, погладил парнишку по голове:

— Журавлиной называют клюкву. Она поспевает в сентябре. И лежит под снегом до самой весны в полной сохранности. Так определила ей мудрая природа. Поэтому её можно собирать и весной. Звери и птицы охотно лакомятся нужной их здоровью клюквой. Не обходят её и журавли, вернувшись на родные болота из тёплых краёв. Люди заметили это и ласково назвали ягоду журавлиной.

— Я быстро соберусь, дедушка! — радостью в голосе зазвенел внук. — Бабушка, где мои резиновые сапоги? Мы на болото пойдём.

— Слышала, слышала, — отозвалась бабушка. — Уже достаю с печки сапоги

тебе и деду. Они, однако, просушились там после вашей вчерашней прогулки на речку.

Заботливая бабушка собрала и положила в рюкзак еды — перекусить ягодникам в дороге. Одевшись в куртки и вязаные шапочки, обув сапоги, дедушка и внук отправились на болото.

Воскресное утро радовало ярким солнцем и чистой голубизной неба. До болота дошли быстро. Оно в двух километрах от села. Присели передохнуть на валёжину.

«Бах!» — вдруг разорвал тишину близкий выстрел. «Бах! Бах! Бах!» Показалась стая уток. Испуганно крикая, птицы металась над дедушкой и внуком. Ягодники укрылись за валёжиной, и дедушка закричал:

— Не стреляйте — здесь люди! Эге-гей! Здесь люди!

Выстрелы прекратились. Испуганные ягодники поднялись с земли.

— Бежим отсюда, пока целы, — сказал дедушка.

Взял внука за руку, и они побежали из опасного места. опережая их, будто ведя за собой, пролетели над тропой утки. Тропа вывела на лесную дорогу. Беглецы остановились перевести дух. А на болоте снова загремели выстрелы.

— Вот тебе и журавлина! — огорчённо развёл руками дедушка. — Попали в разгар охоты. А утки сообразительные! Догадались, что мы им вреда не причиним.

Они торопливо возвращались домой. В распадке, недалеко от дороги, рос ольховник. Там тоже неожиданно раздались выстрелы.

— Эге-гей! Здесь люди! Люди! — снова закричал дедушка.

Выстрелы прекратились.

— И до боровой птицы добрались... Любят рябчики ольховники. Кормятся в них почками зимой. Жаль птиц. Им бы спокойно гнёзда обустраивать, да потомство выводить. А на них охоту открыли. Сколько молодежи не появится?! Не должно быть так. Весенняя охота — преступление против природы...

— Что-то вы быстро вернулись? — обеспокоенно встретила их бабушка.

— И на болоте, и в лесу сплошная пальба, — вздохнул дедушка. — Лесным и болотным обитателям нет никого покоя. И нам пришлось убежать. Какие уж там ягоды!..

Мудрая ольха

— Дедушка! Цветы на ветках! — воскликнул Андрей. — Да такие необычные: будто пушистые жгутики свисают.

Дедушка подошёл к кустарнику, на который указывал внук.

— Молодец ты, любознателен! Я расскажу тебе о нем. Это ольха. Но вначале — о цветах: у ромашек, гвоздик, подснежников в чашечке из лепестков находятся тычинки и пестик. В тычинках — пыльца, опыляющая пестик. После опыления в пестике развиваются и поспевают семена. Кроме пыльцы в бутонах есть нектар. Насекомые прилетают на цветы полакомиться нектаром и пыльцой. У ольхи тычинки с пыльцой собраны в эти длинные серёжки-жгутики. Нектара в серёжках нет. Но насекомые любят ольху именно за пыльцу, которой в серёжках изобилие. Смотри.

Дедушка качнул ветку, жёлтым облачком из серёжки высыпалась и поплыла по воздуху пыльца.

— Серёжки — это одна часть цветка, тычиночная, — продолжил рассказчик. — Другая часть цветка, пестичная, находится в этих колосках.

Дедушка наклонил ветку ольхи и указал на её вершинку. Андрей увидел небольшие красноватые колоски.

— Какие маленькие! — удивился внук.

— Пыльца из серёжек опыляет колоски. После опыления колоски растут, наливаясь семенами, и превращаются в зелёные шишечки. Со временем шишечки одревесневают и становятся бурыми. Вот они, прошлогодние, ещё не опали с веток.

Мальчик увидел кисть бурых шишечек. Сорвал одну, помял пальцами, и она рассыпалась.

— За то, что тычиночные и пестичные цветы растут порознь, но на одном кустарнике, ольху называют однодомной. У неё есть ещё одна особенность — цветёт до распускания листьев.

Мальчик пригляделся:

— Точно, на ветках набухшие почки!

— У многих лиственных деревьев и кустарников листва при распускании клейкая, смолистая. У ольхи тоже. Чтобы пыльца не осела на клейких листочках, а опылила колоски, листва появляется позже.

— Надо же, какая ольха мудрая! — разглядывая веточку кустарника, уважительно рассудил мальчик.

Кто страшнее завоет?

В первых числах июня дедушка предложил Андрею сходить за грибами:

— Местечко одно знаю, где строчки и сморчки растут. Наведаться бы надо, может, повезёт? Через покос пойдём, заодно посмотрим, какая на нём трава выросла.

Сенокосная полянка в низине удивила: на ней густой щёткой поднялась черемша и цвели купальницы. Дедушка ахнул:

— Откуда столько черемши?! Прежде здесь росла обычная трава...

Грибники залюбовались поляной. Над нежно-зелёным ковром черемши вышались оранжевые купальницы. В потоках солнечных лучей цветы светились яркими огоньками.

— Черемша на загляденье: высокая, с толстыми сочными стеблями, так и просится к столу! Давай нарвём, — предложил дедушка.

— Давай, — охотно согласился внук.

Они от души нарвали зелени. Резкий порыв ветра сорвал с головы дедушки кепку, но он ловко поймал её. Зашумели и закачались сосны. Дедушка посмотрел на небо и замер: узкая туча растянулась в полнеба, стремительно двигаясь в их сторону. «Сколько живу, а таких туч никогда не видел. Что она принесёт с собой?» — подумал обеспокоенно.

Ветер затих. Со стороны дальнего покоса донеслось протяжное: «У-у-у!»

— Волк воет! — удивился дедушка.

Едва затих вой зверя, как рванул сильный порыв ветра. Возле обгорелого пня, поднимая столбом сухую траву и прошлогодние листья молодого осинника, закружился вихрь, вторя хищнику: «У-у-у!». Ему тотчас отозвался волк, а следом снова завыл вихрь. Казалось, вихрь и волк соревновались между собой: кто страшнее

завоет? Мальчик испуганно прижался к дедушке. Перекличка хищника и вихря продолжалась недолго, а потом всё стихло. Туча поползла стороной.

— Домой вернёмся? — боязливо спросил внук.

— Почему?

— Там же волк, — мальчик махнул рукой в сторону, откуда только что доносился вой зверя.

— Мы же мужчины. Не к лицу нам бояться. Да и у волка свои дела, у нас свои, — рассудил дедушка. — К тому же и время сейчас такое, когда хищник легко найдёт корм.

Дед с внуком дошли до грибного места. Но строчков и сморчков там не оказалось. Домой возвращались по едва заметной тропинке.

— Дедушка, смотри, грибы! — позвал Андрей.

Повернувшись, дедушка увидел несколько маслят. Шляпки молодых грибов зазывно выглядывали из травы. Недалеко нашли пару крупных моховиков, их тоже срезали. Вернулись домой. Бабушка не поверила своим глазам, увидев их добычу:

— Маслята и моховики бывают во второй половине лета. Эти рано появились!

Дедушка пояснил:

— Весна и начало лета в этом году дождливые и прохладные, сама знаешь, вот грибы и обманулись.

Полнобовавшись лесными дарами, бабушка сварила из них ароматный, вкусный суп. Кстати к обеду оказалась и черемша.

«Разведчик»

В начале июня дедушка и Андрей пошли на дальнее болото.

— Есть там небольшое озерко. Понаблюдаем за ним, и, если повезёт, увидим чирков, — сказал дедушка.

— Кого увидим? — переспросил внук.

— Чирков — маленьких уток. Они любят гнездиться на речушках, озерах и даже лужах.

День выдался жарким. От прогретой листвы ольхи и берёз исходил душисто-пряный запах. Трава и цветы нежились в солнечных лучах, источая медовые ароматы. В лесу, на опушках и лужайках цвели белые ветреницы, жёлтые лютики, оранжевые купальницы. Синели касатики и медуницы.

Дедушка и внук подошли к болоту, заросшему по окраинам берёзами, лиственницами и соснами. На болоте среди осоки и сабельника высились кочки. Рядом с дорогой поблескивало небольшое озерко. Вода из него вытекала на дорогу, размывая колеи. Ранее здесь был мостик из брёвен, но за ним никто не ухаживал, и он сгнил. Над болотом нависла знойная тишина. Надоедливо жужжали мухи и тонко звенели комары. Путники постояли, наблюдая за озерком.

— Может, уточки попозже объявятся, — предположил дедушка. — А мы пока сходим на гору Пыхтиловку, оттуда Саяны видны.

— Пыхтиловка! Какое смешное название! Почему она так называется?

— Поднимемся в гору, сам догадаешься, — улыбнулся дедушка.

Прошли с километр и стали подниматься по крутой и затяжной дороге в гору. Пот градом катился по лицам путешественников. Остановились передохнуть.

Вдалеке виднелась волнистая гряда Саянских гор, переходящая в высокие хребты с белеющими вершинами.

— На Белках снег ещё не сошёл, — заметил дедушка. — Только во второй половине июня растает.

— Совсем непонятно, почему в Саянах так снег тает: на самых высоких вершинах позже, хотя они ближе к солнцу, чем на горах пониже? У нас, наоборот, с бугров быстрее сходит, — рассудил внук.

— Дальше пойдём или вернёмся? — спросил дедушка.

— Вернёмся, — решил мальчик.

— Догадался, почему гору Пыхтиловкой называют?

— Догадался! — весело отозвался внук. — Идёшь в гору и пыхтишь.

Передохнув, пошли обратно. День клонился к вечеру. В кронах деревьев пересвистывались и пели птицы. Вернулись к озерку и затаились в ивняке. Ничто не нарушало покой на болоте. Неожиданно из-за кочки бесшумно выплыл утёнок. Крошечный, чуть больше куриного яйца. Спинка и голова буро-коричневые, бока жёлтенькие. Малыш замер, оглядывая округу. Через несколько секунд скрылся за другой кочкой. Долго и терпеливо дедушка и Андрей ждали, когда утка с утятами выплывут кормиться. Птицы не появлялись.

— Маленький «разведчик» разглядел нас и предупредил маму. Пойдём домой. Напрасно ждём, — сказал дедушка.

— Пойдём, — согласился внук. — Мы не зря сюда пришли. Теперь точно знаем: здесь живёт утка с утятами, а в Саянах на Белках ещё не сошёл снег.

Притворилась хворой

Несколько дней стояла пасмурная дождливая погода. Как только распогодилось, бабушка попросила дедушку и Андрея:

— Сходите подальше в лес за подколенной травой. Начало июля — лучшее время для её сбора.

Дедушка отозвался:

— И название же у твоей травы: подколенная — колдовское, сказочно-загадочное. Почему её так называют и для чего она тебе нужна?

Бабушка пояснила:

— Подколенная потому, что любит оплетать колоды или старые пни. За это её между собой так травники называли, а учёные по-другому — линнея северная. Да и используют её только народные целители: при простуде, от головной боли, при ломоте в спине и суставах. Пойдёмте, провожу вас и траву покажу. Растеньице невзрачное. Сразу не заметишь.

За околицей бабушка свернула с дороги и повела дедушку и внука в чащу. Им встретилась колода, поросшая мхом, но заветной травы на ней не оказалось. Бабушка остановилась у трухлявого пня:

— Да вот она — пенёк облюбовала! Смотрите, стебельки у неё, как нитки, тонкие, а на них мелкие круглые листочки друг против друга. Цветок — бело-розовый колокольчик, кажется, сам по себе растёт. Только это не так — от стебля вверх тянется. Посмотрите хорошо на траву подколенную, запомните и не перепутайте.

— Такую, пожалуй, перепутаешь. Её прежде найти надо: не часто встречается, — заметил дедушка.

— Потому и попросила, чтобы сходили за ней подальше в лес.

Вернулись на дорогу. Бабушка отправилась домой, а дедушка с внуком пошли своим путём. Миновали болото, покос, березняк. Зашли в смешанный лес, где осины, берёзы и сосны росли вперемежку. Поднялся ветер, усиливаясь, дул не переставая. Громко лопотали листья осин, мягко шелестела листва берёз, глухо им вторила хвоя сосен.

Дедушка остановился и придержал мальчика за плечо. Перед ними в высокой траве кормилось глухариное семейство. Из-за лесного шума копылуха прокарнула появление людей. Путники замерли. Заметив пришельцев, глухарка испуганно вскрикнула «Куда-а-ах!», взлетела над землёй, упала в траву, поднялась и заковыляла. Подростшие птенцы с писком и громким хлопаньем крыльев разлетелись в разные стороны. Андрей растерянно смотрел на вдруг захромавшую птицу:

— Что с ней? Только что здоровая была?

— Да она и не заболела, — улыбнулся дедушка. — Притворилась хворой, отвлекая наше внимание от птенцов, спектакль разыграла: «Вот, дескать, я — лёгкая добычка!» Пойдём отсюда, не будем им мешать.

Походили дед и внук по лесу, нарезали подколодной травы и вернулись домой, порадовав бабушку тем, что выполнили её просьбу.

Медовая трава

В середине июля бабушка отправила дедушку и Андрея за лабазником:

— Сходите за медовой травой, зацвела, наверное. Без неё мне никак не обойтись: сердце укрепляет, головную боль снимает, нервы успокаивает. А в чай добавишь, что мёда положишь, такая душистая, сами знаете. Обед вам собрала, ножницы и полотняные мешочки в рюкзак положила.

Дедушка и внук оделись в костюмы и кепки защитного цвета, обули резиновые сапоги, взяли рюкзак и отправились на речку Смородинку. В их местности только там росла нужная им трава.

Река протекала по болотистой местности между косогорами. В низине рос ельник, по косогорам — сосняк. По берегам теснились ивы. Болото оно и есть болото: осока, кочки, зелёный мох, чёрная жижа. Заметив заросли лабазника, дедушка с внуком порой с трудом пробирались к ним. Пыльцы в бутончиках было так много, что она высыпалась при малейшем прикосновении к растению, окрашивая руки в жёлтый цвет. Срезали ножницами метёлки с меленькими кремовыми цветками. Пробирались до следующих зарослей.

Собирая траву, утомились. Пот струился по их лицам. Решили передохнуть. Попили студеной воды из речки и устроились на берегу в густом ивняке. В этом месте речушка изгибалась, протекая вблизи косогора. Молчали, наслаждаясь прохладой. Благодатный покой нарушил появившийся из лесной чащи мужчина. По тропе он торопливо шёл к реке. За ним, чуть приотстав, неспешно следовал щенок. Разговаривая по сотовому телефону, мужчина перешёл по мостику через Смородинку и ушёл в сторону села.

Щенок, учуяв людей, свернул с тропы и сел на косогоре напротив них.

— Ав-ав! Ав-ав! — сообщила собачка низким бархатным голосом о том, что обнаружила их.

Для отдыхающих это прозвучало как:

— Я вижу вас!

Дедушка и внук изумлено смотрели на незваного гостя. Щенок с восторженным любопытством — на них. Было ему от роду месяца четыре. Окрас шерсти малыша сливался с окрасом стволов сосен: рыжевато-серые уши и лоб, серая мордочка, белёсо-рыжеватый ободок вокруг глаз, серо-рыжеватая шерстка покрывала живот, бока и лапы.

Отдохнувшие травники пошли к зарослям лабазника. Срезали цветущие верхушки растений и вернулись к ивам. Щенок сидел на прежнем месте, наблюдая за ними.

— Странно, — сказал дедушка. — Я подумал, что собака отстала от хозяина, а она заинтересовалась нами. Не побежала за хозяином, да и он за ней не вернулся. На бездомного щенок не похож — счастливый и безмятежный. Ну а вдруг всё-таки потерялся? Увидел нас, обрадовался. Может, домой его заберём? Нельзя в лесу одного оставлять.

Щенок, будто поняв суть дедушкиных слов, внимательно посмотрел на людей, поднялся и затрусил по склону в лесную чащу.

— Ух, ты! — выдохнул дедушка. — А хвост-то у него не щенячий, колечком кверху, а опущенный, волчий! Неужели волчонок?! Да точно — волчонок! Как я сразу не догадался! Домашний щенок подбежал бы к нам, ластился, лизал руки, упал на спину, визжал и скулил от радости. А этот вёл себя сдержанно. Столько времени просидел на одном месте, следя за нами! Услышал, что с собой хотим забрать, ушёл в чащу. Умный, понял, о чём речь шла. Наверное, где-то недалеко волчье логово. Любит волчица глухие места возле воды. Прошлым летом мы хотели посмотреть лабазник по берегам вниз по течению реки. В этом направлении только что ушёл щенок. Не смогли тогда пробраться через замшелый валёжник, поваленные ветром деревья, изогнутые корни елей. А как-то зимой, помнишь, мы пошли навестить Воронушку? Она встретила нас на полпути и завернула в село, не пустив к своему любимому месту: засохшей лиственнице на берегу реки. Вот эта сухостоина. Она перелетала с дерева на дерево и тревожно каркала. Мы послушались её и вернулись домой.

— Помню, — живо отозвался внук. — А Воронушке оставили угощение на пне возле тропы.

— Так и было, — подтвердил дедушка.

— Может, щенок всё-таки домашний? — засомневался внук. — Волки воют, а этот — гавкал.

— От знающих охотников я слышал, что волки между собой по-разному общаются: воют, ворчат, визжат, хныкают, лают и даже свистят. Этим они вводят в заблуждение не только людей, но и лесных животных. Хотя не только волки, но и другие лесные обитатели при разных обстоятельствах «разговаривают» по-разному: взрослые между собой и с детёнышами при кормлении, игре, в случае опасности, охотясь, то есть в повседневной жизни.

— А где мама волчонка? Почему он один бродит? — не унимался Андрей.

— Может, недалеко была.

— Тогда хорошо, что он от нас ушёл, — сказал мальчик.

— Да, хорошо, — согласился дедушка. — В лесу нельзя близко подходить к малышам диких зверей и брать их с собой, так как родители могут рядом находиться.

— А мы к нему не подходили, он сам нас нашёл.

— Поэтому, думаю, волчонок был один, — предположил дедушка. — Скучно ему стало с братьями и сёстрами играть, он и ушёл на прогулку. Увидел мужчину и пошёл за ним. А потом нас учуял. Волчица, может, на охоту ушла. Она не охотится возле логова. Слышал я от охотников, если рядом с волчьим жильём косуля с потомством живёт, хищница их не трогает. А волчата с косулятами даже играют!

До самого вечера дедушка и Андрей собирали траву. Вернувшись домой, порадовали бабушку богатой добычей.

— Молодцы! — похвалила их она. — На всю зиму запасли медовой травы.

Зелёная муха

В одну из летних прогулок по лесу дедушка и Андрей устали и проголодались. Расположились отдохнуть и перекусить на колоде — полусгнившем стволе упавшего дерева. На целлофановом мешочке разложили обед: варенные яйца, котлеты, сыр, хлеб, зелёные пучки лука и укропа, бабушкины булочки. Из термоса в эмалированные кружки дедушка налил сладкий горячий чай с душистой травой лабазником.

— В лесу не только котлеты вкуснее, чем дома, но и хлеб, — заметил мальчик.

Он с аппетитом ел котлету с хлебом, вприкуску с зеленью. Отвлёкся от застолья, разглядывая что-то в траве.

— Дедушка, посмотри, к нам со всех сторон ползут большие чёрные муравьи, наверное, учуяли наш обед?!

— А мы их угостим.

Дедушка раскрошил кусочек булочки, очищенное яйцо и разбросал вокруг. Муравьи подбирали и уносили в муравейник хлебные крошки и кусочки яйца. На сапог дедушке села красивая зелёная муха и замерла.

— И ты проголодалась? — спросил он насекомое.

Муха подвинулась ближе.

— Это тебе хлебец, — сказал дедушка.

Он отщипнул от булочки крошку и положил её на землю. Муха с радостью перелетела на лакомство, но не успела попробовать, как появились муравьи. Она испугалась и вернулась на дедушкин сапог, а муравьи утащили её крошку.

— Я тебе угощение в другое место положу, — успокоил её дедушка, — вот тебе бутерброд.

На хлебную крошку он положил крошечку сыра и поместил их на колоде недалеко от себя. Муравьи до этого места ещё не добрались. Муха повернулась, посмотрела, куда ей положили лакомство, и снова развернулась к дедушке.

— Да она понимает всё, что ты ей говоришь! — удивился мальчик. — Наверное, не очень голодная, если от еды отказалась.

Пока люди обедали, муха сидела на сапоге. Потом дедушка собрал и положил в рюкзак остатки еды, и поднялся с колоды. Муха перелетела к нему на плечо.

— Не домой ли к нам собралась? — спросил её дедушка. — Бабушка у нас строгая — не примет тебя. У неё против мух мухобойка имеется. Лучше в лесу оставайся — целее будешь.

Порыв ветра сорвал муху с плеча и унёс с собой. Глухо зашумели деревья. Ветер усиливался. Дедушка посмотрел на небо и обеспокоенно сказал:

— Гроза надвигается. Успеть бы до дома дойти, пока не разразилась.

Ветер дул им в лицо, мешая идти. За ними ползла сине-чёрная лохматая туча. Казалось, ветер мешал не только им, но и сражался в небесной вышине с непокорной громадой, пытаясь отеснить её назад, рассеять и разорвать в клочья. Туча не сдавалась: рокотала и гремела, запугивая ветер вспышками молний, и упрямо ползла на село. Пока стихии сражались, дедушка и внук дошли до дома. Только переступили порог, как за окнами зашумел ливень, и разразилась гроза.

Задремал заяц

Дедушка и Андрей целый день рыбачили на озере, и возвращались домой по короткому пути, прямо через сосновый бор. Холодный августовский ветер трепал ветви деревьев, обламывал сучья. Стволы скрипели и стонали от его сильных порывов. Шли молча. Впереди дедушка заприметил зайчишку, остановился и указал на него внуку. Косой сидел столбиком на задних лапах, упираясь передними в землю. Одно ухо наострил, другое свесил. Голова медленно опускалась вниз. Вскинулся. Поднятое ухо повесил, опущенное взметнул вверх. Снова носом клюнул. Вздрогнул, прядая ушами. Так продолжалось несколько минут. Очнувшись от дремоты, заяц насторожился и осмотрелся. Спросонок не сразу понял, что за ним наблюдают. А когда разобрался, оттолкнулся лапами от земли и бурым комком покатился вниз по косогору.

— Про зайцев говорят: «Летом — серый, зимой — белый», а этот какой-то рыжий, — заметил мальчик. — Сразу и не разглядишь.

— Ты прав, — согласился дедушка. — Окрас шёрстки зависит от места обитания. У этого рыжевато-бурая сливается со стволами сосен. Живот и в лето остаётся белым. Умаялся за день бедолага, решил передохнуть. Бесшумно к косому не подкрадёшься: сзади лёжки густой ольховник, по краям — небольшие завалы из бурелома. А нас всё-таки прокараулил из-за сильного ветра.

Лесной разбой

В середине августа дедушка пригласил Андрея:

— Пойдём в гости к хозяину дальнего соснового бора — Боровику. Грибной сезон в разгаре, может быть, он порадует нас белыми грибами и подосиновиками.

Мальчик удивился:

— Он что — грибы нам будет показывать?!

— Да, будет, — серьёзно подтвердил дедушка.

— И ты знаешь, где он живёт?

— Знаю, — без тени улыбки ответил дедушка. — В моховой подушке.

— Так только в сказке бывает, — засомневался внук.

— Пойдём, сам увидишь, — сказал дедушка.

Было раннее утро. Прохлада бодрила. По едва заметной тропинке дошли до бора. Из леса выбежал рыженький бельчонок с зелёной сосновой шишкой в зубах. Остановился возле молодой сосны. Поднялся на задние лапки, вглядываясь в людей. Постоял столбиком. Зверька ничего не насторожило в поведении грибников. По стволу взобрался на нижнюю ветку сосны, но всё же высоко над землёй. Сел на задние лапки, передними взял шишку. Зубами отгибал чешуйки, доставая семена. Вниз летели пустые полупрозрачные золотистые крылышки от каждого семечка.

— Самостоятельный малыш, — уважительно заметил дедушка. — Добыл шишку. Аппетитно кушает!

— Однако, грибники из бора возвращаются, — забеспокоился Андрей. — Слышишь, кричат? Опередили нас. Наверное, все грибы выбрали?!

— Грибов всем хватит. Каждый свой гриб найдёт.

Мимо торопливо прошла небольшая говорливая толпа с почти пустыми вёдрами. Бельчонок затаился на ветке, провожая испуганным взглядом шумную ватагу. Когда пришельцы скрылись из вида, продолжил трапезу. Дедушка и внук углубились в бор. По пути им встречались брошенные упаковки из-под чипсов, полиэтиленовые мешочки, пластиковые бутылки из-под минеральной воды, пустые папиросные и сигаретные коробки, клочки газетной бумаги. Ощерились острые осколки разбитых стеклянных бутылок. Валялись разбросанные мухоморы и сыроежки. Встревожено жужжали осы. Их гнездо, устроенное в земле, было разорено. Рядом валялись соты с запечатанным расплодом — молодыми осами.

— Не грибники, а разбойники! — возмутился дедушка. — Намусорили! Обидели ос, защищающих их от слепней, оводов и назойливых мух. Погубили столько грибов! Зачем пинать ненужные? Грибы дружат с деревьями и растениями. Такая дружба всем на пользу. Будем наводить порядок. Перед лесными обитателями за людей стыдно.

Дедушка достал из рюкзака полиэтиленовый пакет, и они собрали в него мусор. Осиный рой успокоился. Дедушка аккуратно подвинул нарушенную разорителями гнезда землю, прикрывая отверстие в их жилище. Насекомые снова переполошились и роем вылетели из укрытия. Дедушка и Андрей едва успели убежать от их несправедливого гнева.

— Ни я, ни ты не нашли грибов, пока прибирались в лесу. Да и Боровик нам не встретился! — заволновался мальчик.

Грибники спустились в низину, здесь сосновый бор упирался в болото. Дедушка склонился к моховой подушке, слегка раздвинул её, и Андрей увидел огромный гриб с коричневой бархатистой шляпкой.

— Знакомься — это и есть хозяин бора — Боровик. Он каждый год появляется на этом месте. Строго следит за грибниками. Вредящим лесу не показывает грибы или позволяет собрать немного.

— А нам покажет? — поинтересовался мальчик.

— Сейчас узнаем...

Они пошли по сосняку, смотря под ноги и по сторонам. И перед ними появлялись красные шляпки молодых подосиновиков, семейки белых грибов. Приподнимали шляпками лесную подстилку рыжики и грузди. Дедушка и внук срезали богатые дары Боровика. Большое ведро дедушки и маленькое ведёрко Андрея быстро наполнились душистыми молодыми грибами. Поблагодарив хозяина бора за щедрость и радушие, счастливые, дедушка и внук отправились домой.

Разумно устроено...

В конце августа выдался солнечный, но не жаркий день. Ветерок пронизывал холодом. Дедушка и Андрей отдыхали на лавочке. Они славно поработали: подмести двор, сгребли сухую траву возле изгороди и уложили её в небольшую траншею в огороде. В эту траншею бабушка складывала сорняки после прополки грядок.

— Перегниют, удобрение для огорода будет, — говорила она.

— Жаль, что лето прошло. Деревья и трава загрузили, — задумчиво произнёс мальчик.

— Почему ты решил, что растения загрузили? — спросил дедушка.

— А разве не понятно почему?! Летом тепло, зелёная трава, яркие цветы. Деревья весело шелестят листьями. Но лето заканчивается. Скоро осень. Траве и деревьям это не нравится: трава засохла, листья желтеют и краснеют. Посмотри на берёзу, черёмуху и рябину в палисаднике! Зимой у них вообще голые ветки. Чему им радоваться? — ответил внук.

— Пойдём в лес. Я тебе кое-что покажу.

За околицей дедушка склонился над кучкой крупных коричневых листьев. Аккуратно раздвинул их:

— Ты правильно подметил, что трава засохла. Вот и медуница отцвела, листья пожухли, но растение заложило почки. Смотри, какие!

Мальчик склонился и увидел несколько розовато-зелёных крупных пупырышек. Вершинки бугорков сужались и, казалось, что вот-вот из них проклюнутся молодые побеги.

— За зиму медуница отдохнёт. Весной из почек поднимутся стебли и зацветут, — продолжил рассказ дедушка. — Не только растения готовятся к будущему году, но и деревья. В конце июля перестали расти сосны. На вершинах крон и веток деревьев появились крошечные, залитые беловато-жёлтой смолой почки.

Они подошли к молодой сосёнке. Андрей ахнул:

— Маленькие смолистые почки! Я думал, они появляются весной. А почему почки в смоле?

— Не знаю, согревает ли смола почки зимой, а вот от насекомых в этом году точно защищает. Весной почки трогаются в рост, смола с них опадает, тут-то и начинается пиршество жуков и пауков. Жуки прокалывают почки острыми хоботками и пьют из них сок, а пауки плетут на ветках сети и ловят насекомых. Приползают на почки сосны и муравьи. Они собирают чешуйки и смолу для строительства муравейника. А ещё размещают колонии тлей на молодых сосёнках, лиственницах и берёзках. Тли пьют сок деревьев, выделяя падь, избыток сока. Эту падь муравьи собирают и уносят в муравейник для корма всей семьи. А теперь сюда посмотри, — дедушка наклонил ветку берёзы, — в пазухах листьев завязались почки. Тоже приготовились к будущей весне.

— Их трудно заметить, совсем крошечные! — удивился Андрей.

Дедушка присел под берёзкой и раздвинул сухую траву:

— А здесь, под засохшими стеблями и листочками, розетка молодых листьев клевера лугового. Как видишь, не все растения закладывают с осени почки, некоторые в зиму остаются с зелёными листьями. Опавшая листва и сухая трава укрывают корни деревьев и растений от холода, а перепревая, удобряют почву. В природе всё разумно устроено.

Ходят ли зайцы?..

Осенью после обильного снегопада дедушка и Андрей отправились на задуманную накануне прогулку. Шли по лесной дороге. Какие-то животные оставили следы на свежем снегу. Разглядывая их, дедушка рассуждал:

— Непонятные следы: одна вмятина от лап, потом три таких же треугольником. Снова одна, а следом — четыре строчкой. Затем две вмятины рядом, опять — строчкой, две вмятины — наискосок, строчкой... Это не лисья цепочка — след в след. Волков здесь нет. Но и они ходят стаей след в след. У колонка след маленький. Такое впечатление, что здесь прошло не одно животное. Да и лапы отпечатались разные: крупные и поменьше.

Путники пошли дальше, разглядывая следы. Неожиданно они оборвались. Через полтора метра увидели обычный заячий след: косой упирался передними лапами, которые поменьше, отталкивался задними, перепрыгивая с места на место.

— Неужели, это заяц шёл, а потом прыгал? — предположил дедушка. — Не доводилось слышать, что косой ходит. Прыгает — да! Это всем известно. Но чтобы ходил?..

Эту загадку дедушка и внук разгадывали всю зиму. На дороге встречались разные следы: колонка, лисицы, белки, заячьи, и неизменно — непонятно чьи.

Пришла весна. В один из мартовских дней дедушка и внук по той же лесной дороге ушли далеко от села. Светило яркое солнце. Небо, как бездонное море, плескалось синевой. Снег и белые стволы берёз слепили глаза. Роскошные зелёные кроны сосен нежились в тепле. Перекликались дятлы, разбивая в своих кузнях — в развилках вершин сухостойных деревьев — сосновые шишки.

Дедушка остановился:

— Пора возвращаться.

Путники пошли обратно. Из-за поворота навстречу им выбежала крупная серая собака. Следом за ней — три поменьше. Собаки замерли. Серая подняла лай, её поддержали остальные. Животные не хотели уступать дорогу людям — лаяли всё озлобленнее. Дедушка ухватился за засохшую осинку на обочине дороги. Она сломалась со звуком, похожим на выстрел из ружья. Собаки мгновенно исчезли за поворотом. Их лай вскоре донёсся со стороны болота.

— Всё ясно с непонятными следами, — сказал дедушка. — Бездомные собаки бежали по дороге одна за другой, не попадая след в след. Их слышал заяц. Он, наверное, сидел на дороге. Испугавшись, подхватился и огромными прыжками ускакал в лес. Собаки добежали до следа зайца и, по непонятной причине, повернули назад. Что-то опять не сходится в нашей задачке...

— Значит, зайцы не ходят, — подытожил дедушкины размышления внук. — Нам встретились собаки, непонятные следы — их.

— Наверное, не ходят, — неуверенно проронил дедушка. — Да и как им ходить — задние ноги длиннее передних. Вниз головой, что ли?! — сказал, словно убеждая себя.

Прошёл год. Зимой после снегопада дедушка и внук, как обычно, отправились на прогулку. На той же лесной дороге увидели след зайца: передними лапами упирался перед собой, задними отталкивался и прыгал. Пошли по колею дороги, просматривая этот след. И вдруг обычный след прыгающего зайца перешёл в непонятный, над разгадкой которого дедушка и внук бились второй год. Дедушка остановился:

— Погляди, заяц шёл!.. Других следов нет, чтобы ошибиться. Значит, заяц всё-таки ходит. Только походка у него такая, будто не одно животное прошло. Вот поэтому мы и запутались!..

Думали — медведь...

В один из тёплых сентябрьских дней дедушка и Андрей, как обычно, отправились на прогулку. Жёлтые листья берёз и багряные осин светились в солнечных лучах. От прогретых солнцем стволов и зелёной хвои сосен исходил терпкий смолистый дух. От земли поднимались теплые волны воздуха, пропитанные запахом прелой листвы и травы. Путники вышли к густому ольховнику и услышали в кустах хрипловатое отрывистое рявканье: «Мба! Мба! Мба!» Из зарослей на открытое место выскочил желтовато-белый рогатый зверь. Он поднялся перед людьми на задние ноги, рявкнул «Мба!», опустил на все четыре, наклонил голову и стал рыть землю большими, слегка загнутыми в стороны рогами. Дедушка и внук, застигнутые врасплох, замерли. Потом осторожно отступили назад. Зверь, прогнав путников, скрылся в ольховнике. Успокоившись от пережитого волнения, Андрей спросил:

— Дедушка, кто это был?

— Я подумал, что медведь нас пугает, а выскочил смелый и напористый сибирский козёл. Его ещё горным называют.

— Я тоже про медведя подумал, — признался внук. — Страшно стало. Никогда бы не догадался, что козёл умеет так рявкать. А уж как землю рыл! Я заметил, что не только рогами, но и передними копытами. Песок так и разлетался в разные стороны! А откуда ты знаешь, что это сибирский козёл?

— Довелось однажды встретиться с таким же в Саянах. Как-то пригласил меня охотник Иван на заготовку кедрового ореха в свою таёжку. Погода хорошая установилась. Дни тёплые, солнечные, а ночи уже холодные были. Туманы пошли, каплями оседая на деревьях, кустарнике и траве. Бить колотом по кедром с утра, сбивая шишки, было невозможно: капли осыпались дождём. Да и сырая шишка шла плохо. Поэтому ждали, пока солнце и ветер обсушат кедроч.

Проснулись мы однажды утром, вышли из зимовья. Запутавшись в мягкой хвое кедров, висел туман. Между двумя молодыми деревьями паук-крестовик сплёл сеть. Её усыпали мелкие капельки. Выглянуло солнце, и луч упал на тень. Капельки, обрамлявшие паучью сеть, вспыхнули, заискрились, переливаясь и горя всеми цветами радуги. Я залюбовался удивительным явлением. Отвлёк меня Иван: осторожно толкнул в бок и прошептал: «Смотри, горный козёл!»

Перед нами, гордо подняв рогатую голову, стоял желтовато-белый зверь. Недовольно мотнув головой, он исчез в белом мареве. Я задохнулся от удивления и восторга! Иван тоже обрадовался неожиданной встрече: «Горный козёл, его ещё называют сибирским. Встречается крайне редко. Это моя третья встреча с ним в Саянах. Он всегда появляется неожиданно. Замирает на несколько секунд, и исчезает»...

— Дедушка, ты сказал, что видел его в горах, но мы-то не в горы пришли?

— Ты прав! Оказывается, и в предгорье опускается. И немудрено: от нас до Саян рукой подать. Летом у козлов бурый окрас шерсти, а зимой более светлый. Этот уже перелинял, к зиме подготовился.

— Он такой большой, — выдохнул мальчик. — Соседскому козлу Февралику до него никогда не дорасти, и рогов таких не отрастить. Хотя Февралик и своими не такими большими, но тоже загнутыми рогами, наводит страх на сельских собак и мальчишек. Попробуй, зазевайся, когда он близко, подбежит и без предупреждения так поддаст, что кубарем летишь. А ещё я заметил у сибирского козла бороду.

Когда он поднимал голову, она у него так и топорщилась! Я эту встречу никогда не забуду!

— Я тоже, — отозвался дедушка.

Разговаривая, они продолжили прогулку.

Надёжные друзья

В начале сентября дедушка и Андрей отправились за брусничкой. Ещё весной присмотрели они полянку, белую от цветущего ягоdnика. К осени ягоды вызрели. Проходя очередной распадок, дедушка остановился и прислушался:

— Желна дерево долбит. Слышишь её крик: «Пить! Пить!»

Осмотрелись по сторонам. Недалеко чёрный дятел устало стучал по комлю со-сны, с трудом отрывая куски коры. Клювом извлекал личинок жуков-дровосеков. Изредка вскрикивал: «Пить! Пить!»

Дедушка и внук с интересом наблюдали за чёрной птицей в красной шапочке, забыв про ягоды. Прилетела стайка длиннохвостых синиц. Пичуги расселись на ветвях берёзы, рассматривая людей. Разобравшись, что самозванцы следят за желной, возмущенно запищали. Шумной ватагой полетели к дятлу. С криками закружились над усталой птицей. Желна не обращала на них внимания, продолжая стучать по стволу. Синицы не успокаивались. Дятел нехотя повернул голову и увидел, что за ним действительно подглядывают незваные гости. И «лесной доктор» стремглав умчался вглубь леса. Издалека раздались его обиженные и возмущённые крики: «Ки-ир! Ки-ир!» Синицы с радостным писком вернулись на берёзу, у которой затаились люди.

— Выдали нас и довольнѐхоньки, — попенял им дедушка. — Но для желны вы — надёжные друзья, с такими она не пропадѐт!

Синицы улетели. Путники отправились на ягоdnую поляну.



АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ



Посреди степи, где седой курган...

Три сына

По мотивам бурятского эпоса «Абай Гэсэр»

1

Посреди степи, где седой курган,
Жил да был Саргал — тугешинский хан.
Хоть не молод был, но силён и смел,
Молодых троих сыновей имел.
Старший сын его был Алтан Шагай,
Средний сын его был Мунгэн Шагай.

Младший сын Нюргай был в ту пору мал,
И отец его соплячком прозвал.
Тот Нюргай ещё продолжал расти,
Как отец послал их телят пасти.
Братья выгнали и пасут телят,
Было тех телят ровно семьдесят.

КОБЕЛЕВ Александр Афанасьевич родился в 1955 году в посёлке Залари Иркутской области. Окончил Ангарский промышленный техникум. Работал оператором, помощником машиниста тепловоза на Ангарском электролизном химическом комбинате, лесником в Нукутском районе. Публиковался в журнале «Сибирь», в коллективных сборниках, автор поэтических книг: «*Леший*» (Иркутский писатель, 2010), «*Дорога на Балтай*» (Издательство «Оттиск», 2012), «*Вещий камень*» (Издательский центр журнала «Сибирь», 2012), книги для детей «*Жёлтый шарик*» (Издательство «Оттиск», 2016). Член Союза писателей России. Живёт в посёлке Новонукутск.

Братья бегают и не ведают,
Чем сегодня днём пообедают.
Вот уж есть пора, и сказал Нюргай:
«Брат Алтан Шагай, брат Мунгэн Шагай,
Здесь у нас телят очень много есть,
Вот бы нам втроём одного бы съесть».
Братья старшие не решаются,
Ведь родители заругаются.
Взялся их Нюргай успокаивать,
Уговаривать и настаивать:
«Мы съедим телка, а потом втроём
Шкуру травами посильней набьем.
Крикну — кыш! — тогда я кургузому,
Куцехвостому, толстопузому.
Побежит телок, забодается.
Разве кто-нибудь догадается?
Будет шкура та по степи скакать,
Не поймёт отец, не узнает мать».
Согласились те: «Ну давай, пока
Мы костер зажжём, ты лови телка».
И тогда Нюргай был хотя и мал,
Но за хвост телка на бегу поймал.
Шкура так в руках и осталась,
До костра одно мясо мчалось.
Мясо сжарили и отведали,
Всем телком зараз отобедали.
И сказал Нюргай: «А теперь втроём
Шкуру травами посильней набьем».

Набивать взялись они чучело,
Шкуру бедную чуть не вспучило.
Закричал Нюргай: «Эй, кургузый, — кыш!
Что не бегаешь и чего стоишь?»
Побежал «бычок» и мычал притом,
И бодаться лез, и махал хвостом.
Осмотрел отец стадо вечером:
«Молодцы! Сказать больше нечего».

2

Снова выгнали поутру телят.
Подошёл обед, есть опять хотят.
А как день прошёл — братья сытые,
В стаде два телка уж набитые
И багульником, и степной травой.
И второй бычок скачет как живой.

И на третий день братья сытые,
В стаде три телка уж набитые.

Потом пять телят, потом семь телят,
Наконец они съели семьдесят.

Так за лето все пообеденно,
Мясо всех телят было съедено.

Вот пригнали раз эти чучела,
Братьев сильная жажда мучила.
Каждый пьёт и не напивается.
Мать на них глядит, удивляется:
«Где ж вы так, сынки, утомились,
Что водою чуть не опились?»
«Ох, напились еле-еле мы —
Очень жирное мясо ели мы.
Жирный был телок, дольше всех ходил,
Из несъеденных он последний был».
Побежала мать и проверила,
Аж глазам своим не поверила!
С виду бык как бык, и стоит мычит,
Пригляделась: а трава торчит.
Догадалась мать, заругалась мать
И давай кнутом сыновей гонять.

Услыхал отец, прибежал на крик,
А потом до слез хохотал старик.
Про проделки те он, конечно, знал,
Но сейчас ругать сыновей не стал.
Возмужали все, стать сибирская,
Сила будет в них богатырская.
Но хотя в руках сила славная,
Сила духа — вот сила главная.
Потому-то он им заранее
Приготовил три испытания.
Не заметишь, как пролетят года,
Кто его народ защитит тогда?

3

Поутру старик очень рано встал,
Шило острое с сапогом связал.
«Эй, вставай, Алтан! Надо лично мне
Осмотреть поля приграничные».
И поймал быка превеликого,
Нрава буйного, полудикого.
Сели сын с отцом, и повёз их бык,
Позади Алтан, впереди старик.
Ближе к полудню заезжают в лес,
А деревья там чуть не до небес.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,

Что б из этого ты построить мог?»
Сын задумался, долго думал он:
«Я построил бы для скота загон».
Проезжают лес, вид меняется —
Перед ними степь расстилается.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,
Как бы эту степь ты освоить мог?»
Помолчав чуть-чуть, говорит Алтан:
«В этом месте я основал бы стан.
Будет здесь трава хорошо расти,
Значит, будет где табуны пасти».
Замолчал Алтан, и молчит отец.
Впереди поля и степи конец.
И взлетает вдруг возле бычьих ног
Птичка малая, полевой вьюнок.
Вздрыгнул бык, а хан сколько было сил
Шило острое ему в бок всадил.
Как кузнечик, вверх подскочил бугай,
Повалились хан и Алтан-Шагай.
Вот лежит отец и не дышит он,
Сын зовёт его, но не слышит он.
Закричал Алтан: «Умер папа мой!»,
Разрыдался и побежал домой.
Возвратился в дом, а за ним отец:
«Уж подумал я, что пришёл конец.
Кое-как мне там удалось встать».
И под вечер все улеглись спать.

4

Вот назавтра хан снова рано встал,
Шило острое с сапогом связал.
«Эй, вставай, Мунгэн! Надо лично мне
Осмотреть поля приграничные».
И поймал быка превеликого,
Нрава буйного, полудикого.
Сели сын с отцом, и повёз их бык,
Позади Мунгэн, впереди старик.
Ближе к полудню заезжают в лес,
А деревья там чуть не до небес.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,
Что б из этого ты построить мог?»
Помолчал Мунгэн, посмотрел кругом.
«Вот из этого я б построил дом».
Проезжают лес, вид меняется —
Перед ними степь расстилается.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,
Как бы эту степь ты освоить мог?»
И сказал Мунгэн: «В этом месте мне б

Целину вспахать да посеять хлеб».
Замолчал Мунгэн, и молчит отец.
Впереди поля и степи конец.
И взлетает вдруг возле бычьих ног
Птичка малая, полевой вьюнок.
Вздрыгнул бык, а хан сколько было сил
Шило острое ему в бок всадил.
Как кузнечик, вверх подскочил бугай,
Повалились хан и Мунгэн Шагай.
Вот лежит отец и не дышит он,
Сын зовёт его, но не слышит он.
Закричал Мунгэн: «Умер папа мой!»,
Разрыдался и побежал домой.
Возвратился в дом, а за ним отец:
«Уж подумал я, что пришёл конец.
Кое-как мне там удалось встать».
И под вечер все улеглись спать.

5

Вот назавтра хан снова рано встал,
Шило острое с сапогом связал.
«Эй, вставай, Нюргай, надо лично мне
Осмотреть поля приграничные».
И поймал быка превеликого,
Нрава буйного, полудикого.
Сели сын с отцом, и повёз их бык,
Позади Нюргай, впереди старик.
Ближе к полудню заезжают в лес,
А деревья там чуть не до небес.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,
Что б из этого ты построить мог?»
Отвечал Нюргай: «Я б построить мог
Для людей жильё и большой острог,
Чтоб не вздумали здесь враги пройти,
Чтоб была у них крепость на пути».
Проезжают лес, вид меняется —
Перед ними степь расстилается.
И спросил отец: «Посмотри, сынок,
Как бы эту степь ты освоить мог?»
«Место здесь, отец, подходящее,
Будет битва здесь настоящая,
И залью тогда степь просторную
Кровью вражеской, кровью чёрною.
Защищать начну я от нечисти
И тебя, отец, и Отечество».
Рад отец тому, что сын сказывал,
Только виду он не показывал.
Потому сидит и молчит отец.

Впереди поля и степи конец.
И взлетает вдруг возле бычьих ног
Птичка малая, полевой вьюнок.
Вздрыгнул бык, а хан сколько было сил
Шило острое ему в бок всадил.
Как кузнечик, вверх подскочил бугай,
Повалился хан, и слетел Нюргай.
Вот лежит отец и не дышит он,
Сын зовёт его, но не слышит он.
Говорит Нюргай: «Я закон храню,
Наряжу отца и предам огню».

6

Посидев, Нюргай вытер грязь с лица.
До чего ж ему было жаль отца!
И пошёл, кляня горе личное,
На поля на те, приграничные.
У китайцев там взял шелка Нюргай,
Разноцветные, с позолотой край.
В те шелка одел своего отца.
Горе тяжкое, тяжелей свинца...
Постоял Нюргай и слезу утёр,
Посреди степи запалил костёр.
И кострище то было сложено
По обычаю, как положено.
Произнёс Нюргай всё, что следует
Тем, кто веру ту проповедует.
Хоть нелепо так и погиб отец,
Но душе его не пришёл конец.
Пусть душа его, что селилась в нём,
К небесам уйдёт со святым огнём.
Пусть очистится, успокоится,
Жизнь иная там ей откроется.
Вот в костре отец, и шелка на нём
Сразу вспыхнули, занялись огнём.
Закричал отец: «Ой, сынок, прости!
Затуши огонь и отца пусти.
Хоть я полон сил, но не молод я,
Знать хотел, кто б мог заменить меня.
Вижу я, Нюргай, ты у нас каков:
Буду смело жить, не боясь врагов,
А умру — пойду в свой последний путь
Как положено, а не как-нибудь.
Что случилось здесь, ты о том молчок.
Для меня теперь ты не соплячок.
Ты не маленький, а большой Нюргай,
Так зовись теперь Удалой Нюргай.
Как сейчас я горд и доволен я!

Ты сегодня сядь впереди меня».
Сын поймал быка, и повёз их бык,
Впереди Нюргай, позади старик.
...Вечер медленно опускал туман
На родную степь и седой курган.

Славным батором стал Алтан Шагай,
Славным батором стал Мунгэн Шагай,
А Нюргай подрос и Гэсэром стал.
Добрый юношам он примером стал,
Старикам он стал в утешение,
А врагам он стал в устрашение.
Ведь не зря его похвалил отец.
Тут и повести подошёл конец.

Охотник Хартагай

Бурятская сказка

Сказку старую стихами
Я хочу вам рассказать.
Раньше куры с петухами
Лучше всех могли летать.

Со скотом твоим рогатым
Будем жить в одном дворе.
Будешь пищею богатым,
Будет радость детворе».

В небе молнией блистали,
И полёт их был таков,
Что порой они летали
Выше белых облаков.

Хартагай решил: «Теперь я
Крылья им укорочу,
Спрячу дома эти перья
И курятник сколочу».

А потом в лесу садились
Среди вольных птичьих стай.
Место, где они гнездились,
Знал охотник Хартагай.

Так и сделал. И всё лето
Жили курицы, неслись.
Надоела жизнь им эта,
Их опять манила высь.

Думал он, глядел на небо
В синий тенгрий без границ:
«Вот сейчас отведасть мне бы
Мясо этих вольных птиц».

«Что нам, курам, делать? Что же?
Дни за днями провожать?
Улететь теперь не сможем.
Может, просто убежать?»

И однажды на рассвете
Хартагая ждал успех:
Заманил он куриц в сети
И поймал их сразу всех.

А петух, мрачнее тучи,
Так сказал: «Я не хочу
Жить без крыльев тех, летучих.
Я без них не улечу.

А обратною дорогой
Он услышал просьбу птиц:
«Ты, охотник, нас не трогай,
Нанесём тебе яиц.

Хартагая мы попросим,
Пусть он крылья нам вернёт.
Мы ему добро приносим,
И охотник нас поймёт».

А охотник это слышал,
Был он около двора.
К петуху и курам вышел:
«На охоту мне пора.

День неспешно догорает,
А петух сидит и ждёт.
Как молитву повторяет:
«Хартагай сейчас придёт.

Понимаю вас и каюсь,
Признаю свою вину.
Я на зорьке возвращаюсь,
Крылья сразу же верну».

Никогда он не забудет
Обещанье крылья дать.
Завтра снова утро будет,
Значит, снова будем ждать.

Вышел с луком за ворота
И пошёл в сосновый лес.
Но в лесу случилось что-то,
И охотник там исчез.

Если дал охотник слово,
Значит, выполнит его».
Загрустили куры снова,
Не дождавшись ничего.

Может, духов он обидел,
И его медведь задрал?
Но никто в ту ночь не видел,
Чтоб охотник умирал...

На заборе сели рядом,
Греют пёстрые бока,
Провожают грустным взглядом
В синем небе облака.

Вот и зорька заалела.
Тихо-тихо во дворе.
Птичья стая пролетела
И растаяла в заре.

И клянут удел свой горький,
Вспоминая прежний рай,
И зовёт петух на зорьке:
«Хартагай-ай! Хартагай!»

А петух взлетел повыше,
Чтобы видеть леса край,
И кричит, кричит на крыше:
«Хартага-ай! Хартагай!»

Скоро сказка станет былью —
Хартагай домой придёт.
Только тот получит крылья,
Кто надеется и ждёт.

Кто быстрее

Сообщил историк местный,
Что в Алари, говорят,
Жил Гарма — бегун чудесный,
Зверобой, стрелок известный,
Из хонгодорских бурят.

Если что стрелу отклонит
И она не так пойдёт,
То Гарма не проворонит,
На лету стрелу догонит,
Скорректирует полёт.

И такой же быстроногий
Был ещё Бадма бурят.

Жил он в юрте у дороги,
Не богатый, не убогий,
Из унгинских булагат.

Если он с женой повздорит,
То уйдёт на целый день
И любого объегорит,
На ведро архи поспорит,
Что свою обгонит тень.

Пробежать он так сумеет,
В беге выложится весь,
Вокруг юрты вихрем взвееет,
Семь кругов завить успеет,
Когда тень лишь только шесть.

Тень, бывало, не отстанет
И успеет тоже семь.
Всё равно он спорить станет,
Всё равно того обманет,
Кто неграмотный совсем.

На Унге аларских встретят,
Вместе выпьют тарасун,
На вопросы их ответят
И случайно так заметят:
«Ах, какой Бадма бегун!»

И аларские встречают,
Льют унгинским тарасун,
Все в гостях души не чают
И случайно замечают:
«Ах, какой Гарма бегун!»

Как-то раз дошло до брани,
И сказали старики:
«Чтоб не спорить, не буянить,
Бегуны на Сур-Харбане
Побегут вперегонки.

И конец наступит спору».
Вот подходит Сур-Харбан.
Бегуны по уговору
Забрались вдвоём на гору:
Старт давался от Саян.

Луки разом натянули
И пустили две стрелы,
Да за ними так рванули,

Что, догнав, под них нырнули
И вперёд ушли, орлы.

Эй, лети с дороги птица,
Уводи с пути зверей!
Видишь, вихрь какой-то мчится,
Как в коллайдере частица,
Даже чуточку быстрее.

Люди, что в пути встречались,
Не могли никак понять,
Как две тени оторвались,
За хозяевами гнались —
Не могли никак догнать.

Бегуны стремглав летели
От Саян и до реки,
Где в тени ангарской ели
Птицеловы в ряд сидели
И готовили силки.

Слабонервные и дети
Враз зажмурили глаза,
Чтоб не видеть страхи эти:
Бегуны влетели в сети —
Тут бессильны тормоза.

Всё закончилось прекрасно —
Одновременно пришли.
А толпа-то не согласна,
Кто быстрее пришёл — не ясно.
Снова споры завели.

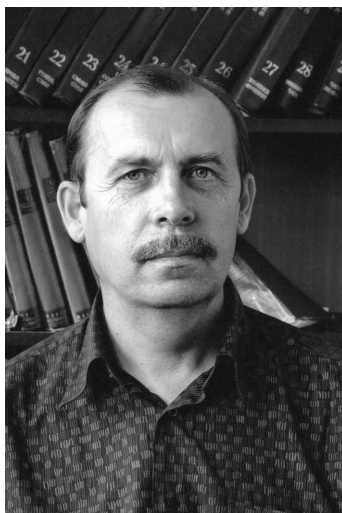
Чтобы не было сомнений,
Посмотреть они хотят:
Как с учётом всех мгновений
Прибегут на финиш тени
И как стрелы прилетят.

Стрелы вскоре прожужжали,
Одновременно причём.
Тени вместе прибежали,
Так на финиш поднажали,
Аж язык через плечо.

Больше споров с того года
Не случалось никогда,
И с тех пор два близких рода —
Ветви одного народа,
Стали «неразлейвода».



ДМИТРИЙ ВОРОНИН



Честная служба

РАССКАЗ

1

Михася Ярошука призывали в армию. Восемнадцать Михасю исполнилось в феврале, а в конце апреля уже и повестка подоспела — милости просим в доблестные войска, защищать честь и незалежность Украины.

Михась, парубок видный, высокий, под метр девяносто, мускулистый, батьке и деду справный помощник во всех домашних делах. Он и дров порубить, и сена заготовить, и мешки с бульбой в тракторный прицеп накидать, и воды матери в огород вёдрами натаскать, и теплички покрыть, а ещё огурцы-помидоры в корзине домой отнести, яблоки в подпол спустить, скотину, когда надо, прибрать. В общем, нужный работник при доме, послушный и безотказный, родительская гордость. Всем бы таких детей, горя б люди не знали.

ВОРОНИН Дмитрий Павлович родился в 1961 г. в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трёх сборников рассказов. Участник двадцати пяти альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Германии, Беларуси. Публиковался в журналах: «Алтай», «Балтика», «Берега», «Бийский вестник», «Наш современник», в «Литературной газете» и др. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей по литературе. Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины. Живёт в п. Тишино Калининградской области.

Михась и охотник что надо, снайпер знатный, зверю шанса не даст, дедова закваска. В кухне, благодаря ему, всегда мясо найдётся.

— Михася в армию берут, праздник в доме, — гордо расхаживал по горнице, разглаживая седые обвисшие усы, дед Сашко. — Надо проводить хлопца, чтоб всем кругом знатно было. Народ созывать пора. Когда ему, напомни? — обратился он к отцу призывника.

— Так девятого мая идти, нехороший день, — озабоченно потёр лоб батька Андрий. — Да и в спецнабор какой-то вроде определили.

— И в чём печаль? В спецнабор! За сына не рад, что выделили из всех? Кому ещё такая честь в селе, скажи, а? То-то.

— Непокойно всё ж как-то на сердце, времена-то вон какие.

— А какие? Обычные времена. Не лучше и не хуже других времён. Всегда такое было. И с тобой, и со мной, и с дедом твоим Иваном, и с прадедом Панасом. И ничего, все служили да живы-здоровы остались. Так и Михасю это же уготовано, не сомневайся. Наша семья заговорённая, под Богом ходим, Пресвятая Дева Мария нам защитница. Поди-ка лучше девок наших созови, наказы нужно важные сделать.

Девки, две незамужние молодухи Оксанка да Ульянка — Михасины сёстры, бабка Ганна да мамка Наталка и даже совсем уж старая бабка Христя, получив мужской инструктаж, с вдохновением впряглись в предпраздничную суету. Дом и подворье намывались, украшались, подкрашивались к приему дорогих гостей. Со скотного двора каждый день раздавались то дикий визг свиньи, то рёв обезумевшей тёлки, то испуганное кудахтанье куриц да всполошённый гогот загнанных в угол гусей. В летней кухне постоянно что-то шипело и шкворчало до самого позднего вечера, а уже затемно над ней начинал куриться дымок, и по округе разносился сладковатый запах браги.

— Хороша горилка будет у Андрия, — втягивали ноздрями воздух сельские мужики, проходя мимо ярошуковской хаты, — погуляем знатно.

2

Восьмого мая в подворье Михася Ярошука собралось больше двух сотен народу. Тут и родня почти вся, кроме дядьки Василя, тут и соседи, тут и друзья-товарищи, подруги. Столы, выставленные в три длинных ряда от входа в дом и застеленные узорными бумажными скатертями, ломились от угощения. Свинина, телятина, птица, рыба, сало, домашние колбасы, сыры, овощи свежие, солёные, маринованные, фрукты, одним словом — ешь, не хочу. Да и со спиртным всё в полном порядке, горилка между блюд в двухлитровых бутылках красуется, наливочка в графинчиках искрится, вино домашнее, хочешь виноградное, хочешь яблочное, на солнышке переливается, пива наварено немеряно. Праздник так праздник.

За главным столом, по центру, посадили самого виновника торжества. По правую руку от него отец с матерью, то бишь Андрий с Наталкой, рядом крёстные — дядька Мирон и тетка Ева, по левую же руку самые что ни на есть старейшины семьи — прадед Иван и прабабка Христя, за ними сразу дед Сашко с бабкой Ганной. Ну и в остальном всё по справедливости. Ближе к Михасю родня ближняя, потом дальняя. И в сторонних рядах всё чин чином, с одного края дружки-подружки Михася, с другого соседи и друзья-подруги батькины да дедовы. Только из погодков прадеда Ивана и прабабки Христи никого, они последние в селе долгожители.

Андрей Ярошук за главного сегодня на правах отца новобранца, ему и застолье вести. Встал Андрей важно, тишину нагнал, кашлянул для солидности, вышиванку поправил, волосы пригладил и начал слово говорить.

— Дорогие наши все, и родня, и други, и соседи! Вот видите, какой у нас сегодня день, важный день, праздник. Вы понимаете.

За столами одобрительно закивали, подтверждая правоту сказанного.

— А то...

— И у нас было...

— Праздник в доме...

Андрей поднял руку. Сдерживая лавину чувств односельчан и дождаввшись тишины, продолжил.

— Так вот, значит, я про важный день доскажу как есть. Он, конечно, очень важный, важней, может, и нет. Может, даже и главный он у нас в семье. Ну, в этот год точно, что главный, тут и говорить нечего. А знатного в нём вот что. Наш Михась становится защитником, нашим защитником, моим и матери, деда своего и бабки, прадеда и прабабки и вот сестёр своих тоже. Он и вас всех под защиту берёт. Так, правильно я слово говорю? — обвёл всех растроганным повлажневшим взглядом Андрей.

— Так, так, — загалдели кругом гости. — Хорошо говоришь, верно.

— А если так, — вновь поднял руку застольник, успокаивая собравшихся, — то вот вам истина. Все Ярошуки завсегда были честными защитниками и не сгнули в своей службе на благое дело Родины, а уберегли себя для дальнейшей пользы жизни. Уберегли для общества и семьи. Вот я и хочу дать слово старейшине нашей семьи, самому главному нашему предку, человеку почётному и геройскому, прадеду нашего Михася — Ивану Панасовичу Ярошуку. Пусть скажет своё важное слово парубку, а мы поднимем чарки и послушаем.

Вокруг разразились аплодисменты.

— Давай, дед Иван, скажи слово потомку, нехай впитывает.

Худой, сгорбленный годами старик, с заострённым ястребиным носом и слезящимися полуслепыми глазами, медленно приподнялся со своего места и дрожащим голосом произнёс:

— Чего тут говорить, тут моя речь короткая. Служи честно, внучку, верой и правдой служи, как прапрадед твой Панас служил.

3

Прапрадед Панас служил у Юзефа Пилсудского. Попал он в польскую армию в тот момент, когда пан Пилсудский с Советами воевал. Скорее даже не попал, а попался по собственной глупости. В село как-то поутру вошёл взвод солдат во главе с подпоручиком. Всех мужчин согнали на площадь перед церковью и обнародовали добровольный указ о призыве в Войско польское.

— Кто пойдет к нам на службу, получит жалование и землю, — торжественно объявил с церковного крыльца благую весть подпоручик, и вдруг, неожиданно, положил руку на плечо стоявшего чуть ниже Панаса. — Хочешь землю, хлопце?

— Хочу, пан офицер.

— Молодец, хлопче, будет тебе земля, много земли, но только после победы. Запишите героя в солдаты.

Вот так и призвали Панаса в армию. К обеду он уже при форме садился на телегу, не попрощавшись как следует ни с отцом, ни с матерью.

— Дурак, земли на могилу получишь, конечно, — только и успел сказать напоследок Панасу отец.

Панасу воевать не пришлось, повезло дураку, отправили его сразу же в лагерь для русских военнопленных, что в Стшалкове расположился. Туда русаки потоком стекали. Пан Пилсудский на тот момент хорошо трепал Красную Армию, вот и скапливался служивый народец в польских лагерях. Людей для охраны катастрофически не хватало, поэтому часть новобранцев переместили в тыл надзирателями, мол, послужите пока тут великой Польше, а потом уж и на фронт. Панас, хлопец крестьянский, хваткий, сразу же смекнул, что только особое старание и рвение перед начальством спасёт его от гибели на поле боя. И он старался.

Стояла зима. И несчастные русские солдатики быстро превращались в ходячих мертвецов. Жили они в наспех сколоченных лёгких бараках, которые не отапливались, а разжигать огонь внутри помещений категорически запрещалось в целях соблюдения безопасности этих строений. Многие из красноармейцев попали в плен еще до холодов и были в летнем обмундировании, что только усугубляло их плачевное состояние. Холод и голод активно помогали смертушке делать свое дело.

— Эй, москаль тухлый, давай сюда. Прытче, прытче, — подозвал к себе пленного доходягу Панас, стоя в кругу охранников. — Жрать хочешь?

— Хочу, вельможный пан.

— Землю жри. Съешь три жмени, дам хлеба. Ну что, Иван, съешь?

— Афанасий я.

— Панас, — заготовали кругом охранники, — ты бачишь, тёзка у тебе выискался, Афанасий! А может, это братец твой, может, близняк. Гляньте, хлопцы, как схожи, прям один в один. Может, и ты, Панас, москаль? Что скажешь?

Панас аж поперхнулся от неожиданности. Лицо его налилось кровью, и он со всего маха ударил кулаком русака в живот...

— Який я тёзка ему, курве москальской, який я ему тёзка!

— Добрый пёс знает свое дело, — усмехнулся в сторону озверевшего надзирателя лагерный хорунжий. — Честно служить будет.

4

— Молодец, Иван Панасович, верно сказал, коротко и верно, — вновь взял слово Андрий, дождавшись, когда опустеют чарки. — Наш далёкий предок служил нашей ридной крайне всею правдою, и мы его не посрамили ни на миг, вся наша семья Ярошуков. Вот и батька мой не соврёт. Скажи своё слово, батька, твой черёд пришёл.

Дед Сашко, высокий, стройный седовласый старик, с таким же ястребиным носом, как у его отца, важно встал из-за стола и поднял чарку отменного первача.

— И что тебе сказать, внучек мой дорогой, Михась. Помню тебя вот таким, — показал Сашко рукой у своего колена. — А и тогда ты лихо уже с крапивой воевал. Палку в руку — и айда рубить вражину налево и направо. И пока всю её не сничтожал, с поля боя не уходил. Храбро сражался. Хоть и жалила она тебя нещадно, а ты только губы поджимал да заново на вражину кидался. Вот так же храбро шёл

в бой и батька мой, твой прадед, Иванко. Храбро и честно. За правду. Вот тебе и моё слово. Служи так же честно, как твой геройский прадед Иванко. И если в бой придётся, то так же смело, как он.

...Иванко в рядах охранного батальона вошёл в белорусские Борки ранним утром, когда деревня только-только пробуждалась к работе. Зондеркоманда СС взяла Борки в плотное кольцо, а хлопцы Романа Шухевича направились по хатам — сгонять народ к бывшему сельсовету.

— Шнель, шнель, партизанское отродье!

— Пане полицай, да куда ж я с малыми дитятками? Дозвольте дома остаться.

— Геть, геть, дурна баба, сказано всем — значит, всем!

Украинские националисты силой вышвыривали из хат жителей и прикладами гнали их вперёд. Тех, кто не мог двигаться самостоятельно, расстреливали на месте. За националистами в дома входили немецкие солдаты из команды тылового обеспечения, вытаскивали во двор наиболее ценные вещи и тут же грузили их в грузовики и подводы, управляемые местными полицаями. Одновременно из сараев выгоняли уцелевшую скотину, а когда реквизиция добра заканчивалась, поджигали подворье.

Над Борками клубился дым и стоял обречённый вой жителей.

— Эй, пострел, ты куда забрался? — улыбнулся Иванко незамысловатой хитрости пятилетнего пацанёнка, схоронившегося от беды в крапиве. — И не больно-то тебе там сидеть? — жалится же!

— Ой, дзядзька, балюча, — всхлипнул мальчуган.

— Так вылезай оттуда.

— Не магу. Матуля загадала, каб сядзеу и не вылазяць без яе дозволу.

— Так это мамка твоя меня и прислала, чтоб я тебя к ней отвел.

— Прауда? — обрадовался пацанёнок, выбираясь из зарослей жгучей травы.

— Правда, вот те крест, — улыбаясь, перекрестился Иванко. — Давай руку, к мамке пойдём. Как зовут-то тебя, герой?

— Янка.

— Во как, тэзка значит.

На площади у большого амбара Иванко подтолкнул мальчугана в сторону подвывавшей толпы.

— Иди, Ваня, ищи свою мамку. Там она, ждёт тебя.

Через полчаса народ загнали внутрь амбара, закрыли ворота на засов, облили деревянную постройку бензином и подожгли.

— Ярошук, — подошёл к Иванку гауптман, когда все было кончено, — видел, как ты щенка за руку привел. Молодец, честно служишь, хорошо воюешь. Награду получишь, как во Львов вернёмся.

5

— Вот как-то незаметно и моё слово напутствия приспело, и мне говорить сыну важное очередь пришла, — приосанился Андрий, вобрав в себя выпирающий животик. — А есть ли мне ещё что сказать после наших уважаемых дедов? Могу ли я после них? Есть ли у меня честь, люди добрые?

— Есть, есть, Андрий. Честь отца на сына. Говори слово, — зашумели за столами.

— Ну что ж, тогда скажу, — повернулся отец к Михасю. — Слушай сюда, сынку. Большая честь тебе вышла — служить за родную землю. Не посрами наш род вдали от дома. Будь смелым и решительным в своих помыслах. Держи своего врага на мушке верно, как дед Сашко тебя учил. А дед Сашко знатный учитель, он в службе своей врагу шансов не давал. Бери с него пример, служи честно, Михась.

...В Чехословакию Сашко Ярошук попал почти перед самым дембелем в составе воздушно-десантной дивизии с приказом взять под контроль пражский аэродром «Рузине» и обеспечить прием основных сил советской группировки войск. С Пражской весной надо было покончить раз и навсегда, как с рассадницей контрреволюции в социалистической Европе. Вот Сашко и должен был этим заняться, а ведь он уже о скорой свадьбе с Ганкой мечтал. И тут такая заваруха, будь она неладна! Все планы Сашка накрылись в одночасье, как корова языком их слизала. Никто ведь теперь не скажет, сколько это всё с чехами продлится, может, месяц, а может, и год. А если Ганка другого парня встретит? В общем, злой был Сашко на всех, ох и злой. Ходил по границе аэродрома в охранении и бубнил себе под нос: «Москали кляти, чтоб вам всем в аду гореть!».

Недели через три в очередном вечернем дозоре из зарослей кустарника, что рос вдоль дороги, ведущей к аэродрому, на Сашка и его сослуживца Максима под крики «Invaders, jdi do Moskvy!» обрушился град увесистых камней, один из которых пробил голову товарища. Максим от удара потерял сознание и тихо стонал, лёжа у обочины. Неизвестно, как бы там сложилось с самим Сашком, который от испуга расплакался и не мог сдвинуться с места, если бы не неожиданное появление немецкого мотоциклиста, резко притормозившего около раненого. С ходу оценив обстановку, гдээрровский солдат сорвал с плеча автомат и с колена дал длинную очередь по кустам, откуда исходила опасность. Кто-то обреченно вскрикнул в обстрелянной стороне, и за этим вскриком последовали громкие всхлипы. Немецкие военнослужащие, вошедшие вместе с советским контингентом войск в Чехословакию, особо не церемонились с местным населением, в случае непослушания тут же брали оружие наизготовку и при малейшем подозрении на агрессию со стороны чехов применяли его без предупреждения. Спаситель Сашка, не обращая никакого внимания на плач и стоны в зарослях кустарника, подошёл к Максиму, отложил оружие и быстро оказал десантнику первую помощь — обработал рану, перевязал голову, сделал обезболивающий укол и по рации связался со своими. Всё это заняло несколько минут, после чего немец повернулся к Сашку, успевшему прийти в себя.

— Ком, рус, — показал он в направлении зарослей.

Метрах в пятнадцати от дороги лежал первый чех и громко стонал. Парню было столько же лет, сколько и молодым солдатам, подошедшим к нему, лет двадцать, не больше. Глаза у него помутнели, веки слабо подрагивали, рана в груди несчастного была страшной и не оставляла ему почти никаких шансов на жизнь. Немец передёрнул затвор и выстрелил одиночным в голову. Чех всхрипнул и затих. Сашко с благоговейным ужасом смотрел на деловито спокойного немца, который молча присел перед жертвой, быстро обшарил его карманы, достал какой-то документ и положил его в свой планшет.

— Ком, рус, — вновь поманил за собой Сашка немецкий солдат.

Пройдя ещё метров двадцать, военнослужащие обнаружили насмерть перепуганного паренька лет шестнадцати, который обречённо сидел на земле и громко всхлипывал. У мальчишки была прострелена нога.

— Аусвайс! — навёл на паренька автомат немец. — Шнель!

— Не аусвайс, — растёр слёзы по лицу мальчишка.

— Найм?

— Александр.

— Надо же, тёзка, — удивился ответу Сашко.

Немец, впервые услышав голос Сашко, холодно улыбнулся и похлопал его по плечу.

— Гут, рус! — А после этого показал на висящий на плече Ярошука «калашник». — Хор ауф дамит.

— Я? — испуганно отпрянул в сторону Сашко.

— Я-я, — утвердительно кивнул немец.

— Я не могу, я не убивал людей, давай сам, — попытался выкрутиться из страшного положения Сашко.

— Найн. Ду. Дис ист айне райхенфольге, — отрицательно покачал головой немец и вновь указал на автомат Сашко. — Шнель!

Сашко дрожащими руками снял оружие с плеча, передёрнул затвор и, закрыв глаза, выстрелил в несчастного мальчишку.

— Шарфшутце! — брезгливо ухмыльнулся немец, прощупывая сонную артерию убитого. — Ист тот.

Ярошука вырвало.

Через минуту к ним с автоматами наперевес подбежал по меньшей мере взвод аэродромовских десантников.

— Что тут произошло, сержант Ярошук? — обратился к нему взводный, косясь на труп паренька

— Я, это... Мы, это... С Максимом. Они первые... А потом... Вот он... Я не хотел. Они первые, — не мог прийти в себя Сашко.

Лейтенант вопросительно посмотрел на немца.

— Рус гутер зольдат. Шарфшутце, — широко улыбнулся тот.

Через месяц Сашко демобилизовали.

— Благодарю за честную службу! Благодарности родителям за воспитание сына и в ваш сельсовет я отправил по почте, так что встретят тебя дома как героя, не сомневайся, — крепко пожал на прощание руку Ярошуку комбат.

6

— Дозвольте и мне слово держать как крёстному Михася, — поднялся из-за стола мускулистый мужик возраста Андрия.

— Дозволяем, говори, Мирон.

— Спасибо, братья, — степенно поклонился Мирон народу и повернулся к крестнику. — Тут, Михась, правильно вспоминали всех твоих геройских предков, и это твоя гордость и твоя сила, я тебе скажу. Но гордость эта и сила не только в них, но и в батьке твоём и моём лучшем друге Андрии. Он ведь тоже герой, служил честно, и орден есть. Так и ты, Михась, как то яблоко от яблони, служи честно, чтобы батько гордился и все гордились. Вот моё слово.

...«Духи» атаковали взвод неожиданно, не в том месте и не в то время. Одним

словом, ударили тогда, когда этого удара никто не ждал. Миномётный обстрел, а после него шквальный автоматный огонь практически полностью уничтожили весь разведотряд шурави. Каким-то чудом уцелели только Андрий, не получивший в этом аду ни единой царапины (видать, Бог миловал) и его взводный, совсем молодой лейтенант Андрей Гончаренко, месяц назад прибывший из училища в Афганистан. Правда, лейтенанту повезло меньше, ему перебило осколками мины ногу, и пуля прошила плечо. Крови взводный потерял много, и тихо постанывал, временами теряя сознание. Ещё большим чудом было то, что «духи» не стали обследовать место гибели разведчиков, а быстро растворились в горах. Почему такое случилось, так и осталось загадкой, но неожиданный уход победителей дал шанс на жизнь побеждённым.

— Тёзка, — прохрипел лейтенант, когда стало окончательно ясно, что «духи» ушли, — посмотри раны, перевяжи где надо.

— Где надо... — машинально повторил Андрий, всё ещё находясь в плену у пережитого страха. Руки дрожали, и он никак не мог наложить повязку на рану взводного.

Не покидали мысли, что вот сейчас «духи» вернуться и завершат своё смертоносное дело, что он тут застрял с этим москалём, вместо того чтобы бежать подальше от этой общей могилы. «Что делать, что делать? — лихорадочно думал Андрий. — Надо уходить с этого места, надо где-то схорониться. Только вот с этим как быть? Может, грохнуть его, и дело с концом? Никто ж не узнает. А если узнают? А с ним куда? Он и шагу не ступит. На себе тащить? А ещё кормить-пить придётся. Воды и так мало. Сдохну с ним, не выйду. Лучше грохнуть».

— Андрей, ты чего такой дёрганый? — будто почувствовал что-то неладное лейтенант. — Не дрейфь, всё будет нормалёк, прорвёмся. Наши нас уже ищут, наверное. Рацию глянь у Генки, вдруг уцелела.

Рация не уцелела, как не уцелел и сам Генка, лежащий с развороченным животом на краю тропы, по которой шёл в разведку отряд.

— Лейтенант, надо уходить с этого места, «духи» могут вернуться!

— Нет, земля, нельзя уходить. Наши нас тут искать станут.

— «Духи» тоже, — поднялся во весь рост Андрий. — Я тебя понесу, где смогу, где не смогу — тащить буду. Больно будет, терпи, не ори, а то пристукну.

Лейтенант спорить не стал, да и что зря спорить, если он в полной воле Андрия.

«Может, и хорошо, что москаля не грохнул, — думал Андрий, взвалив на себя раненого, — он мне теперь как пропуск будет. К «духам» попаду — скажу, что с «языком» шёл, выкуп за себя нёс, тогда живым оставят. К своим выйду — героем буду, товарища не бросил, офицера. Медаль дадут или орден. Хорошо, что не грохнул».

Через сутки двух Андреев подобрала «вертушка», возвращавшаяся на базу после выполнения задания. Орден Красной Звезды вручили Андрию Ярошуку перед всем полком ровно в тот день, когда пришёл приказ о выводе советских войск из Афганистана.

— Честный ты парень, Ярошук, настоящий товарищ, именно с таким и надо в разведку, — растроганно обнял Андрия командир полка.

Михась, тщательно прицелившись, выстрелил. Какое-то мгновение он завороченно наблюдал через окуляр снайперской винтовки за упавшим человеком, а потом осторожно стал отползать в сторону от места своего схрона.

— Ну что, Ярошук, с почином тебя, ставь зарубку на прикладе, — похлопал по плечу вернувшегося с первого задания Михася командир отряда снайперов ВСУ. — Запомни этот день — 22 июня. С победы над первым москалём начался отсчёт твоей честной службы Родине.

— Слава Украине! Героям Слава!

— Чего там, Андрий, кто звонил? — обтёрла от муки руки Наталка.

— Брат Василь с Луганщины. Сына его, Мишку, сегодня снайпер застрелил, Мишка с выпускного шёл. Вот так-то вот.

— Ой, Боже ж мой, беда-то какая! — всплеснула руками Наталка. — А ведь какие надежды подавал, гордость Ярошуков, отличник круглый, в университет собирался. У нас такого умного в семье и не было никогда. Как там Вера после этого? Горе-то, горе!

— Война, будь она неладна!



ЛЮДМИЛА БЕЛЯКОВА



Красный куст у дороги...

* * *

Дети мои несмышлёные,
Сколько же вам предстоит!
Годы лихие, калёные
Век наступивший таит.

К быту цепями прикованы,
Спутана дней ваших нить.
Разве хотели такого мы?
Вам ведь ещё жить да жить.

Песни про пальмы с лимонами
Не вспоминают друзья.
Глушите мысли смартфонами,
А по-другому нельзя.

Точки отсчета потеряны,
Их невозможно найти,
Стали привычными тернии —
Вехи на вашем пути.

Он, безотрадный, неласковый,
Ноги вам в кровь избьёт.
Тянете лямку бурлацкую,
Ташите бремя забот.

Но в переплёте истории,
Крыльев своих лишены,
Бредите часто просторами
Самой великой страны.

БЕЛЯКОВА Людмила Георгиевна родилась 14 ноября 1950 г. в с. Ново-Петрово Аромашевского района Тюменской области в семье служащих. Выпускница Иркутского института иностранных языков (английский и немецкий языки) и Иркутского культпросветучилища (библиотечное дело, красный диплом). Работала секретарём-машинисткой, преподавателем английского языка в школе, библиотекарем, заведующей экспозиционным отделом Музея Победы. Более двадцати лет возглавляет «Фонд поддержки социальных и благотворительных программ». Поэт, публицист. Автор четырех книг. Публиковалась в журнале «Сибирь», «Иркутском альманахе», коллективных сборниках, выпущенных в разное время в Иркутске и Ангарске. Руководитель Ангарского литературного объединения. С 2012 г. издает альманах «Белая радуга» и является его главным редактором. Более двадцати лет занимается книгоиздательской деятельностью. Член Союза писателей России (2016). Живёт в Ангарске.

Город мой

Нет обид — нет прощений.
Власть берут холода.
Стынет месяц осенний —
И смеётся звезда.

Для больших ожиданий
И немых вечеров
Неба край, самый дальний,
Обещает покров.

А пока робкий иней
Белит двор и дома,

Город мой тёмно-синий
Завоюет зима.

Город мой окаянный
Заметёт без труда,
Сможет спрятать изъяны
В тайниках изо льда.

Ни обид, ни прощений.
Поздний вечер. Одна.
— Слушай, месяц осенний,
Отойди от окна...

* * *

Ирине Сергеевой

Клонится год к закату,
Ветренным стал, лиходей.
Тонких осин фрегаты
Тянутся к морю Дожей.

Крону теряет старый
Тополь, большой галиот.
Ветры трепать устали
Пёстрый берёзовый флот.

Рощ корабельных мачты
Держат небес паруса.

Станет ли так зима чтить
Красок земных чудеса?

Спрячет она под снегом
Россыпи щедрой поры,
Белой укроет негой
Осени нашей костры.

Клонится год к закату,
Слышен далёкий прибой.
Скажем: «И мы когда-то
Были у моря с тобой».

Дон Кихоту

Ударяется оземь
И рекою течёт
Небо в раннюю осень
Под багряной парчой.

Нестерпимое время
Замедляет свой ход.
Ты опять не со всеми,
Станный мой Дон Кихот.

Крылья мельниц вращает
Ветер прожитых лет.
Взгляд бросаешь прощальный
На мерцающий свет.

И надежда слепая,
И безверия мрак
Вновь тебя окликают,
С чистым сердцем чудак!

И по-прежнему ранят
Острых стрел миражи,
Но рука не устанет,
И копьё не дрожит.

Преисполнен отвагой,
Ты кидаешься в бой...
В честь тебя реют флаги
Над румяной толпой.

Красный куст

На смерть мужа

Красный куст у дороги — Это осени дар. Подвести бы итоги, Да мешает пожар.	Был мой куст с позолотой, А теперь он горит, На пронзительной ноте Не со мной говорит.
Разлетаются искры, Время гонит их прочь. Упадут, словно листья, На январскую ночь.	А стихов его строки — Колыбели земной... Листопадные сроки Не прошли стороной.

Предзимнее

Тёмным небом укутала город Ночь, предтеча далёкой зари. Потеплело, и, значит, не скоро Прилетят во двory снегири.	Будут зори являться иные, Станет город от снега светлей. Привыкать ли к холодной купели? Подождём до весны молодой, С лёгким сердцем проводим метели — Убегут вместе талой водой.
Отшумели дожди проливные, Облетела листва с тополей.	

* * *

В. Сазонову

Унесла моя река Кучевые облака И короткий стебелёк Одуванчика-цветка,	Что осталось, не ушло — Белым цветом замело. Только детства василёк Помнит ласку и тепло.
Первый класс и выпускной, И черёмуху весной. Как тот мир сейчас далёк — Стал солёною волной!	Жизнь моя, река моя. Где-то ждут тебя моря! Сердца алый уголёк Манит в давние края.

* * *

Разрастается дней повилика, Или время по кругу течёт, И ведётся от первого крика До последнего вздоха отсчёт.	Календарь, верный стражник настенный, От печалей хранит и от смут. Шум машин за окном. Тихо в доме. Проложили к былому мостки Фотографии в старом альбоме И каракулей детских листки.
Снова те же слова, мизансцены, Марш победный железных минут.	

* * *

Ветра притихли на минутку, И отдыхают небеса. Зима спешит по первопутку, Снег падал целых два часа,	У многоликой ойкумены Порядок жизни не такой. Среди людей другие нравы: В тепле привыкли зимовать И в отблесках былой державы Застой эпохой называть.
Окутал землю плащаницей. Он состоит из перифраз, И непременно повторится Паденье это много раз.	О человеческое племя! Одни слова и мишура. Какое пасмурное время, Бесчеловечная пора!
Природа любит перемены — Движение, потом покой.	

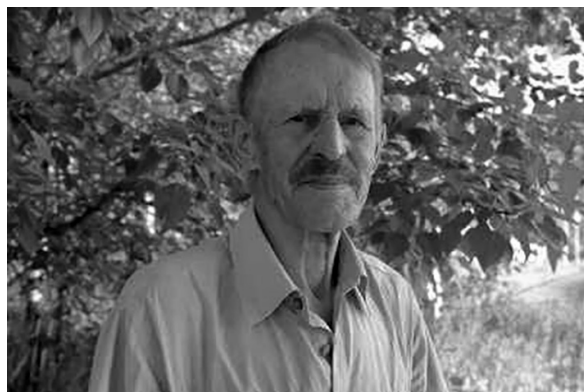
* * *

За давностью лет забывается многое,
Но вдруг поднесёт тебе кальки свои
Под вечер — с фальшивой улыбкой, убогая
Нежданная встреча, а ты знай крои.

Отмеришь мелком, да не раз, а тьму-тьмушую, —
Бессонная ночь никуда не спешит.
Ты душу, давно ничего неимущую,
Оставишь опять безо всяких защит.

Несшитое платье для старой истории,
С которой давно распрощаться пора,
А ежели проще сказать, бутафорию
Отбрось и попробуй уснуть. До утра.

АНАТОЛИЙ ЛИСИЦА



А скрипка плакала навзрыд...

Мороз

Мороз захватывает дух,
Как спирт чистейший, губы сушит.
И ветер гонит, как пастух,
Свистит, смеясь, в рожок пастуший.

И мне достаточно глотка,
Чтоб этим воздухом напиться,
Зардеет заревом щека,
И у прохожих мёрзнут лица.

Слеза дрожит, замедлив бег,
И застывает льдинкой тут же.

Скрипит стеклом лежалый снег.
И солнце розовое к стуже.

Как будто выстрелы, хлопки
От голубей, взлетевших стай.
И вспоминают старики,
Страницы памяти листая:

— Когда вот так, в каком году
Стояли лютые морозы,
Чтоб стьли птицы на лету
И замерзал мужик тверёзый?

ЛИСИЦА Анатолий Владимирович родился 16 апреля 1935 года на Украине, в селе Михайловка Днепропетровского района. Маленьким он видел войну, потерял отца на войне, находился в оккупации. В школу пошел поздно — в 1944 году, закончил в 1954 году. Выпускник исторического факультета Томского государственного университета (1959). Известный братский поэт, автор множества книг. Член международного пушкинского общества. Мастер спорта СССР. Неоднократно побеждал в конькобежном спорте, призер по шахматам и городкам. Участвовал в строительстве Братской ГЭС, трудился на БрАЗе, был учителем физкультуры в 1, 36, 37 школах и в православной гимназии. Автор 14 книг. Много стихов посвящены Братску, Пушкину, природе и жизни. Выступает в школах, на юбилеях. Член Союза писателей России. Живёт в г. Братске.

По ком опять звонят колокола

Я день гоню мечтой о лучшем дне,
А он приходит всё такой же серый.
Болит душа, и всё сдаётся мне,
Что Русь живёт по-прежнему без веры.
Мы и теперь не можем без потерь.
Какой-то рок всю жизнь идёт за нами.
Я верил в Бога. Говорят: «Не верь!
Там пустота одна за облаками».
По ком опять звонят колокола?
О ком Россия — мать больная плачет?
Она нас с детства за руку вела,
И мы не представляли жизнь иначе.
Нам обещали и при жизни рай:
— Ещё немного поднажмём — и точка.
Теперь я вижу: у земли есть край.
И сердце сжалось розовым комочком.

Поэт и скрипачка

*Памяти поэта-художника
Альберта Ильинского*

Поэт и девочка-скрипач.
Я встретил их на рынке как-то
И пожалел, что не богач,
Что я смирился с этим фактом.

Поговорив о том, о сём
С известным в городе поэтом,
Сошлись на том, что невесом
Наш гонорар зимой и летом.

А девочка, не слыша нас,
Легко пиликала на скрипке.
Лежало в баночке как раз
Рублей с полсотни, мятых, липких.

И рядом книжица его
Стихов с русалкой на обложке.
Десятку он просил всего,
Старик, контуженный в бомбёжке.

На хлеб, на чай и на табак
Он заработать может за день.

Ему ещё бы на кабак —
Поэт почти всегда всеяден.

Но не о том его печаль.
Они дотянут до получки.
Ему достаточно на чай,
Да на учёбу надо внучке.

Его девчушка — вундеркинд,
И ей бы надобно учиться,
Такая хрупкая на вид.
Как примет девочку столица?

Они стояли там вдвоём,
Уже охрипшие от жажды.
Не каждый жаловал рублём,
А скрипку жадно слушал каждый.

И я посетовал на быт
Наш, неустроенный и дикий.
А скрипка плакала навзрыд,
Глуша толпы базарной крики.

Сибирская весна

С покатых крыш летит капель,
А за окном мороз за двадцать.
И март холодный, и апрель,
Зима не думает сдаваться.

Но всё же в городе весна,
Следы её видны повсюду.
Всегда несёт с собой она
И радость жизни, и простуду.

Она с отходом не спешит,
По дням былым метелью тужит.
И лёд, холодный, как гранит,
Ещё январской дышит стужей.

И только май, один из всех
Уже почти что месяц летний,
Весны приветствует успех,
Когда растает снег последний.

На одуванчике пчела

На одуванчике пчела,
Пчела на одуванчике.
Ещё вчера, ещё вчера
Вовсю резвились мальчики.

Сегодня осень за окном
Всё небо занавесила

И чёрный ворон-агроном
Шагает полем весело.

И стынут мухи на окне
Уже неделю сонные,

И задаёт вопросы мне

Мой внук вполне резонные.

Ноябрь

Стоит ноябрь. Давно деревья голы.
Но осень словно повернула вспять:
Уже созрели в доме разносолы,
А снега нет. Дожди идут опять.

А среди дня, когда уже в зените
Порой как летом солнышко печёт,

Всё тянутся серебряные нити
И тает в лужах неокрепший лёд.

Набухли кое-где на ветках почки,
И муха снова просится в полёт.

Пока пишу неспешно эти строчки,
Глядишь — и одуванчик зацветёт.

У моря

Как я любил твои отзывы,
глухие звуки, бездны глас.

А.С. Пушкин

Осенний день уже угас,
на землю сумерки упали.
И шар луны, как Божий глаз,
горит в серебряном овале.

Дорога лунная легла
широкой лентой по заливу.
Ещё чуть-чуть — и скроет мгла
волны крутой седую гриву.

Звезда проявится одна,
затем ещё вторая, третья...
И небо звёздное без дна
вновь заалеет на рассвете.

А он сидит один у скал,
на море Чёрное взирая.
Он жить, рискуя, не устал,
Певец красот Бахчисарая.

Он мой и твой

Я возвращаюсь к Пушкину всегда,
Когда бывает в нашей жизни трудно.
Он мне, как путеводная звезда:
С ним на земле тепло мне и уютно.

Мы молоды и сердцем, и душой,
И потому, вникая в эти строки,
Вы помните, читатель дорогой:
У нас в России общие истоки.

От Пушкина идём мы сквозь века
И вновь к нему по замкнутому кругу:
Так мысль его бездонно глубока
И так понятна истинному другу.

Он мой и твой, и в каждом из живых
Живёт его бессмертия частица.
И я из тех, чей безыскусный стих
Достичь его величия стремится.

Куда ж нам плыть?

Куда ж нам плыть?..

А.С. Пушкин

Рука певца лежит на пистолете.
Крепчает ветер, ярится мороз.
Сменяются в России лихолетья.
«Куда ж нам плыть?» — вы слышите вопрос?

Вопрос поэтом задан на столетья,
Ещё до нас задолго и всерьёз.
Бушуют всюду войны на планете.
Куда ж нам плыть? — вы слышите вопрос?

И я не сплю, рифмуя эти строки.
Куда ж нам плыть? Гнетёт меня вопрос.
Нет, на Руси не вывелись пророки!
Но спит, как в штиль, измученный матрос.

Закончилось двадцатое столетье.
Век двадцать первый на крови пророс!
Политики, философы, ответьте,
Куда ж нам плыть, вы помните вопрос?

Бобыль

Сквозняк откроет двери,
А в доме ни души,
Пойдёт квартиру мерить,
Бумаги ворошить.

Задержится на кухне,
Где стынет в кружке чай,
И форточкою стукнет,
Как будто невзначай.

С дровами из сарая
Войдёт хозяин в дом
И, тяжело вздыхая,
Займётся очагом.

Бумаги стопкой сложит
И сядет у стола.

Подумает: «Негоже
Разбрасывать дела».

Допишет на конверте
Обратный адрес свой.
— Не пишут писем, черти,
И не хотят домой.

Пять лет к нему не едут
И внуков не везут.
Он не пойдёт к соседу
Вершить над миром суд.

Накинет молча свитер,
От чая разомлев.

Он здесь последний житель
На маленькой земле.



ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА



Минька

РАССКАЗ

Мальчик сидел на обочине дороги на траве, у калитки чужого дома. Оттуда еле заметная тропка тянулась к крыльцу и заходила за угол. По этой тропке ушла мама.

— Жди меня здесь, у ворот, — наказала она перед тем как уйти.

Ограда вокруг дома была самая незатейливая: между столбиками протянуты по две жерди, поэтому весь двор хорошо просматривался. Небольшой дом, около — три грядки, дальше — сарай, в самом углу участка — стог сена. Трава скошена, кустов и деревьев нет. Вокруг не было видно ни души.

Ещё на станции, когда они собирались, мама сказала, что надо купить у местных молоко, лук и картошку. Нужно только поискать, где им это продадут, добавила она, повязывая платок на голову.

Посёлок начинался у станции. Они долго шли, переходили с улицы на улицу. Два раза мама заходила во дворы, но возвращалась с пустой сумкой. И вот они оказались на последней улице, у этого самого дома.

В ожидании матери Минька уже осмотрел всё вокруг. Достал из кармана штанов своё сокровище — гладкий светлый камешек, стал подбрасывать его на ладони.

КИРИЛЛОВА Елена Анатольевна. Родилась в Ленинграде. Работала библиотекарем. Окончила Российский государственный педагогический университет им. Герцена, кандидат исторических наук. Рассказы печатались в альманахах и журналах: «Менестрель», «Бийский вестник», «Истоки», «Дон», на сетевых ресурсах («Кольцо А», «Топос», «Великоросс», «Камертон»). Живёт в Санкт-Петербурге.

Был жаркий тихий летний день. Солнце стояло как раз над трубой дома.

На этой улице всего три строения. Улица была малоезженной, дорога поросла травой, на ней выделялись только слабые колеи от колёс и коровьи «блины». Чуть поодаль была видна дорога к лесу.

Минька посмотрел в ту сторону и вспомнил. Когда ему было шесть лет, он ходил в такой же лес. Это было в Златоусте, где они с мамой и сестрой Олей жили так же вот на крайней улице, около леса. В тот день взрослые говорили о волке, который утащил козу у соседей. Миньке захотелось посмотреть, как волк грызёт козу. Никому не сказав, он отправился по дороге в лес. Сначала шли кусты, потом деревья. Чем дальше, тем выше деревья, прохладнее и темнее становилось вокруг. Дорога плавно заворачивала, поэтому Минька всё время видел её впереди. Но вот впереди встала толстая ель. Дорога круто поворачивала за дерево. За его длинными и густыми ветками ничего не видно. Подойдя к ели, Минька услышал звуки, похожие на хруст валежника под ногами. Мальчик остановился в нерешительности. Может, это волк грызёт кости козы? Стало страшно, и мальчик побежал обратно, не оглядываясь.

Сейчас, сидя у калитки, он снова пережил страхи того похода.

Со стороны станции доносились гудки маневрового паровоза. Минька посмотрел в ту сторону. Гудки, как дома, в Златоусте. Только там со двора их дома была видна гора, поросшая лесом. Там проходила железная дорога. Когда по ней шёл поезд, то над деревьями был виден дым от паровоза. Здесь такой горы нет. Как же эта станция называется? Когда их поезд остановился здесь, Василий Петрович сказал:

— Это станция Вятка.

Василий Петрович — это паровозный кочегар, за которого вышла Минькина мама. Он стал жить с ними с прошлой осени и часто говорил матери:

— Надо ехать на Мурманскую железную дорогу.

Там он может стать помощником, а потом машинистом. И будем жить лучше.

Наконец, мама согласилась. В то лето продали дом, погрузили вещи в вагон, который называют «теплушка». Пока ждали отправления, Минька с интересом осматривал помещение, в котором им придётся жить много дней. С обеих сторон напротив друг друга — по две большие двери во всю высоту вагона. Они передвигаются по рельсу вдоль. Рядом с каждой дверью — по небольшому окошку. Они закрываются железными ставнями. Вверху есть кольцо, чтобы закрыть окно, нужно потянуть за него ставень и закрепить задвижками.

К кольцу одного ставня Минька с сестрой привязали ветку рябины с незрелыми ягодами. Когда ставень опускали, чтобы в вагон поступал свет и воздух, ветка оказывалась внизу и освещалась солнцем. Дети каждый день наблюдали, как краснеют ягоды.

На стенах вагона в один столбец расположены разные знаки, буквы и цифры. Вверху полукругом: Р.С.Ф.С.Р. Это первые буквы трудных и непонятных слов. Мальчишки читают их так, смешно: Ребята, Смотрите, Федька Сопли Распустил.

Ниже этих букв нарисованы перекрещенные молоток и разводной гаечный ключ. Это знак железных дорог. Ещё ниже буквы: «Сам.- Зл.», что означает: «Самаро-Златоустовская железная дорога». Ещё ниже — много цифр в один ряд. Минька их не запомнил. В самом низу стены — чёрный квадрат, на котором мелом написано: «Мурманск 8.08.22 г.»

Когда поезд остановился в Вятке, Василий Петрович сказал:

— Поезд будет стоять долго. Вагоны переставят и сменят паровоз.

Вот почему мама и пошла с сыном в посёлок, а Оля осталась с Василием Петровичем в вагоне.

Что-то долго нет мамы...

Минька снова посмотрел на дом. Теперь солнце стояло над краем сарая. Надвинулась тучка, и камешек на ладони стал холоднее.

От этого вспомнился день похорон отца, зимний, солнечный и очень морозный. Когда возвращались с кладбища, мама сказала:

— Завтра тебе, Миня, исполнится четыре года. Невесёлый у тебя день рождения — не стало твоего отца.

Уже с подороги стали замерзать пальцы на руках, несмотря на шерстяные варежки. Когда оставалось немного дойти до дома, мальчик не выдержал, заплакал от боли.

В сенях стояла бочка с водой. Мама разбила лёд ковшиком и набрала в него воды. Зашли на кухню, ковшик мама поставила на табурет. Сняв с рук сына варежки, она сунула его пальцы в ледяную воду. Минька заплакал ещё громче. А мама стала растирать его кисти своими руками, а потом варежками, приговаривая:

— Потерпи немножко, скоро пройдёт, и всё будет хорошо!

И верно, боль стала стихать. Пальцами уже можно шевелить, они начали теплеть и розоветь. Минька с удивлением смотрел на ковшик с водой, в котором плавали льдинки.

И сейчас камешек на ладони начал теплеть. Это солнышко выглянуло из-за тучки.

Почему так долго нет мамы?

Никого вокруг не видно, ни около дома, ни на улице. Не слышно ни лая собак, ни мычания коров. Не видно и детей. Сейчас в школу не ходят. Где же они? Наверное, пасут своих коров.

Минька тоже ходил в школу, в первый класс. В школе ему всё нравилось, всё было интересно! Анфиса Ивановна, учительница, говорила, погладив его по светлой макушке, что он был первым учеником в школе. Во второй класс он пойдёт в другую школу. Будут другие мальчики и девочки.

Эти мысли прервала пчела, с гудением прилетевшая на цветок кашки. Пчела перелетала с цветка на цветок, деловито обследовала каждый, собирая сладкий сок. Вкус его Минька знал. Он оторвал несколько рожков от шапки цветка, сосал. От этого захотелось есть. Можно ещё пожевать кончики стеблей длинной травы с метёлкой на верхушке. Мальчик собрал вокруг себя немного тонких стеблей. Раздёргал их на части и пожевал мягкие сочные кончики. Но есть захотелось ещё сильнее.

Где же мама? Солнце теперь светило как раз над стогом сена, опускаясь всё ниже к земле.

Куда делась мама? Почему её так долго нет?

И тут Минька понял, что мама ушла, а он остался один в этом незнакомом месте, далеко от станции. Быстро поднялся с земли, ещё раз огляделся вокруг и решил больше не ждать, а идти обратно. Он помнил, по каким улицам они шли сюда. Вот дом с «журавлём» у колодца во дворе, а вот дом под зелёной железной крышей. Сюда мама заходила. А около него колодец с «воротом» — это такое круглое короткое бревно между столбами, на нём цепь с ведром и колесо с кольшками. Сюда тоже заходила мама. Тогда с соседнего двора лаяла собака. Она и сейчас

загавкала, когда Минька проходил мимо. На углу двух улиц стоит дом с петухом на краю крыши. И, наконец, недалеко от станции — здание с балконом и окнами на чердаке, на крыше — громоотвод, а на окнах и по краю — деревянные кружева.

Вот и станция.

Ой, сколько вагонов! И все одинаково красные, двухосные, на всех ключи, молотки и буквы Р.С.Ф.С.Р. Составы стояли в несколько рядов. Некоторые пути без вагонов, по ним ходил маневровый паровоз, пыхтел и давал гудки в ответ на свистки составителей. Вдоль одного поезда, сразу с двух сторон, шли сцепщики и смазчики с лейками и молоточками на длинных ручках. Смазчики, постучав по буксе молотком, — по звуку определялась целость буксы — открывали крышку и подливали масла. Сцепщики, нагибаясь под буферами, заходили между вагонами, накидывали на крючки сцепки, свинчивали их для надежного соединения вагонов между собой.

Минька знал, что так готовят состав к отправлению. Скоро подойдёт паровоз, придут кондукторы и тормозильщики, займут свои места на тормозных площадках, покажут свёрнутый жёлтый флажок, и машинист, дав длинный гудок, тронет в путь длинный состав.

Мальчик зашпешил в свой вагон. Но как его найти? На каком пути он стоит?

Долго ходил он вдоль поездов, переходил через пути, подлезая под вагонами, стараясь не попадаться на глаза железнодорожникам. С обеих сторон — стены из одинаковых вагонов, он заглядывал в них, надеясь увидеть маму, Олю, Василия Петровича.

И вдруг впереди на одном вагоне он увидел ветку рябины.

Это наш! — сказал он себе. Подойдя к вагону, он огляделся в обе стороны вдоль состава. К одному концу медленно подходил паровоз. Надо быстрее перейти на другую сторону, где дверь открыта.

Так и есть. Дверь сдвинута настолько, чтобы мог пройти взрослый человек, и приставлена лесенка. По ней Минька стал подниматься. Да, это их вагон! Напротив двери стоит диван, на нём Оля одевает куклу. Слева у кухонного стола стоит мама и моет посуду. Справа у комода Василий Петрович чистит фонарь.

Первой его увидела Оля. Она сказала:

— Минька-минёк пришёл! А мы уже поели! Бе-е-е,— и показала язык.

Мать вздрогнула, медленно повернулась, руки её опустились, тарелка выскользнула и разбилась. Василий Петрович быстро обернулся, со стуком поставил фонарь на комод и почесал затылок.

Минька забрался в вагон, усталый, сел на пол. Оля удивлённо смотрела на разбитую тарелку и на всех по очереди. В вагоне стояла долгая тягостная тишина.

В этой тишине послышался протяжный гудок отправления поезда.

Василий Петрович подошёл к двери, поднял в вагон лесенку. Послышались звуки лязганья и скрежета буферов. Вагон дёрнулся и, слегка покачиваясь, плавно покатился.

Поезд набирал скорость.



ЛЮБОВЬ СУХАРЕВСКАЯ



Неоглядная милая родина

Посёлок Звездный

Нас приютила дикая земля,
Не знавшая ни дыма, ни жилища,
Промёрзшая насквозь, как будто днище
Зимующего в бухте корабля.

Утрами в соснах — ветер-вертопрах,
Классические сопок силуэты,
Туман, однообразные рассветы,
Да эхо отдаленное в горах,

Поспешное смещение серебра
Двух быстрых речек — Нии и Таюры,
Да хариуса всплеск, да берег бурый —
Вот все, что нам запомнилось вчера.

СУХАРЕВСКАЯ Любовь Иосифовна (1950–2013) родилась в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области в 1950 году. В Иркутск приехала после окончания средней школы поступать в Государственный университет. Работала в многотиражке Авиазавода. Оттуда уехала в г. Усть-Кут, в районную газету, где возглавляла отдел, освещающий строительство БАМа. После возвращения работала в газетах «Советская Молодежь», «СМ номер один», «Байкальские вести» — заведовала отделом культуры. Печаталась в многотиражке газеты Авиазавода, в журналах и альманахах «Сибирь», «Дальний Восток», «Зелёная лампа», «Иркутское время», «Литературная учёба», в «Литературной газете». Автор книг «Тёмный отзвук» (1973), «Послушай сердце» (1979), «Прямая речь» (2006). Член союза журналистов РФ, член Союза российских писателей.

Но минул год, как звоном топоров
Народ шумливый огласил окрестность,
Разрезал сопку и расчистил место
Для будущих палаток и костров.

Теперь с горы, содрав мерзлотный клин,
С горы, где на глазах поселок вырос,
Спускается оранжевый «Магирус»,
Похожий на гавайский апельсин.

И жителя волнует неспроста
Вид новых крыш янтарного настила
И запах свежей краски и опилок —
Он счастлив, как художник у холста.

Он сможет все, веселый этот люд.
Он сложит песню и проложит трассу,
И, укрепив сыпучие террасы,
Построит город, не сочтя за труд.

Он вырастет на краешке земли
С характером и дерзким и веселым.
Не зря мы полюбили свой поселок
И именем высоким нарекли.

Таежное

Неоглядная, милая Родина,
Я в тебе затерялась, как крик:
Из тайги твоей, из непогодины
Мне не вырваться — голос охрип.

Будет завтра не легче вчерашнего,
Потому и привыкла душа,

Словно дерево — листья вынашивать
Все, чем всякая жизнь хороша.

Труден путь — но иного не хочется,
Хоть и ломит под ношей плечо.

Друг надежен, и порох не кончился,
Дома помнят. Чего же еще?

Воспоминанья об Иркутске

Мне снится город по ночам.
Такой родной, такой далёкий,
Многообразный, многоокий,
Что так присуще городам,

И всё такой же молодой,
И всё не может догадаться,
Как трудно было мне расстаться
С его весёлой суетой.

Там кружит голову без слов
Движенье улиц по субботам,
И лист с осенней позолотой
Над позолотой куполов.

Там Ангара летит стрелой,
Мерцая холодом залива,
И так под утро торопливо
Моё прощанье с Ангарой!

Там время сдерживает бег
В живучих двориках старинных:
Ещё пылится на каминах
Какой-то предыдущий век...
Но вот рассвет, и ожил дом,
И с ощущением Иркутска
Мне нужно, как вчера, проснуться
Сегодня в городе другом.

* * *

Утешаем себя, утешаем,
Что недаром проходят года,
От друзей, от себя уезжаем —
Не для нас отрезвленья вода.
Вдруг приснится и сын нерожденный,
И поэма, что рвется сквозь шум,
Прорастет молчаливым укором
Над остывшей душою твоей.
Только в радуге успокоенья
Вдруг порой пробежит по душе
Паучок ледяного сомненья —
И покоя не станет уже.
Где тобою построенный город?
Шум возвращенных твоих тополей?
Сразу сердце сожмется смущенно,
И в смятенье растраченный ум:
Впрочем, можно другое итожить,
Просто тихо стареть — не беда,
Только что нас тогда растревожит,
Только что нас утешит тогда?

В небе

Когда начинают полёт корабли,
Земля превращается в карту земли.

Цветёт география синим и сонным,
В тягучем тумане тайга и река,
И, грудь наполняя звенящим озоном,
Плывут и касаются щёк облака.

Мельчает вражда, забывается грубость,
Светлей и дороже улыбка земли.
Всё больше планета являет округлость,
Всё ближе звезда, что светила вдали.

Утро

Возникла, как музыка света,
В аллеях, где август и дождь,
Нагая полоска рассвета,
Ночей сероглазая дочь.

Потом зарумянился воздух,
И щебет проснулся в кустах,
И утра светлейшая поступь
Сменила полуночный страх.

И вот заскрипели ворота,
и первые чьи-то шаги
Упали в дневные заботы,
В открытья, в детали, в зачёты —
На тропы, ступени, круги.

...Я каждое утро не знаю,
Чем кончится день на земле.
Но вечер! Но вечность! Но с нами
И взлёт, и звезда на крыле!

Зимний сонет

Нас день сегодня одарил —
Доверил тайну снегопада.
И мир качнулся и поплыл
Навстречу снегу, будто взгляду.

Сегодня в доме у зимы
Светло, торжественно и немо.
И вот опять дивимся мы,
Что нет земли — сплошное небо.

И хочется душой принять
И снегопада вдохновенье,
И день, как первый день творенья,
И белой бездны благодать.

И чудо это сохранить
И суетой не осквернить.

Сонет

Ещё нет-нет и оживёт пристрастно
Простая мысль в моём холодном лбу,
Что мир устроен чисто и прекрасно
И что не стоит нам хулить судьбу.

Во мне живут осенняя прохлада,
И запах рук, что подают мне хлеб.
И утра луч, и влажный шёпот сада,
И взлёт птенца, и людных улиц бег.

И с ними я как будто бы богаче,
И не пустует мой холодный дом.
Во мне живут друзья. Я с ними плачу,
Смеюсь и забываюсь за трудом.

Во мне живёт погибший на войне,
А вы, живой, — вы умерли во мне.

Сонет

Но в жизнь мою ворвался суховей
Легко на слух, но незаметно глазу.
Ношу в себе, как черную проказу,
Постыдный след неверности твоей.

И света нет, и целый свет не мил,
И среди роста, суеты и тленья
Мне больно все и не хватает сил
Не плыть и не противиться теченью.

Невыносимо, жизни не любя,
Жить только ощущеньем катастрофы
Над пеплом, у развалин, у Голгофы
Я не клянусь, я не зову тебя.

Молчит душа, безжизненно пуста,
Как будто тело, снятое с креста.

* * *

Молчаливая осень,	Из столетья в столетье
Твой тих и печален пейзаж.	Костры твои жадно горят,
Так полна ты дождями	Из минуты в минуту
И теплою тяжестью хлеба,	Весна из тебя убывает,
Так роскошно скользит	Да еще этот ветер,
По лесам золотой карандаш,	Свершая извечный обряд,
Так сиротски сквозит	Словно тайные книги,
Меж ветвями убогое небо.	Прозрачные рощи листает.

Равновесие

Когда зима, печаль и холода,	И запах юга проникает в дверь,
И воля жить стояла под сомненьем,	И по ночам неведомое гложет.
Уже не я — вся плоть ждала, когда	
Пошлёт весну природы добрый гений.	Неужто я полмесяца назад
	Вполне смирялась с участью своею,
Но вот пора. И, кажется, пришла.	Едва дышала и ходила в сад,
Являет снег картину разрушенья,	В лохматый мех укутывая шею?
И с первого под крышами стекла	
Летит капель на скорости крушенья.	Но по законам листьев и травы
	Я с каждым мартом заново рождаюсь,
Я встрепенулась, как от спячки — зверь.	И не отягощают головы
И влажный ветер мне ласкает кожу,	Ни годы, ни сомнения, ни зависть.

* * *

Негромкий день. Полёт шмеля. В ладонях паутинка тает, И золотая чешуя С деревьев тихо облетает.	Мне жаль её, но запах в дом Плывёт дремотно и красиво. Так равноденствия пора Во всём находит равновесье: Спокоен лес, и город весел, И зреют звёзды до утра.
Вчера во дворике глухом Скосили старую крапиву.	

Иркутская весна

Была весна, и город был томим Неясной жаждой влаги и апреля, Последний снег был жалок и растерян, И плавал в парках сизоватый дым.	И песней, как дождём, заполнить город, И ликовать, как в роще соловей. Она опять свободна и смела И не умеет удержать восторга... Румянец юга и загар востока Несёт апрель на кончике крыла.
Смущённая огромностью своей, Душа моя готова хлынуть горлом,	

* * *

Ах, этот дождь! Как серая стрела, Он был пропущен через всю неделю. Так тихо надо мной прошелестели Гусиной стаи влажные крыла,	Как грустно, что надолго заперта Калитка в сад, что тает лес багряный, Что всё неповторимо, бrenно, странно, Что всюду рядом — суть и суета.
--	---

У открытого окна

Пусть будет слышен шум дождя. Его задумчивые речи Прольются, тихо шелестя, На листья, зонтики и плечи.	У веток пальцы тяжелы — Там набухают гроздьи влаги. Почти касаются земли Сирени спущенные флаги.
Коснётся слуха шепоток — Но сердце вряд ли растревожит. Рассыпал бойкий топоток До нитки вымокший прохожий.	И в упоительную хмарь Так хорошо поверить снова, Что не иссякнет календарь, И что послушным будет слово.
Дождя задумчивая лень — Как колыбельная для взрослых. Кольшет бесконечный день Свой полосатый влажный воздух.	Что без конца твоя тропа По этой жизни будет виться, И друг спасёт, и дом приснится, И не обманет нас судьба.

* * *

Мы так давно не говорили О том, что день богат и мил, Что две недели не топили И две недели дождик лил,	И что никто того не знает, В какие сны он погружён. Что сердце, чуткое когда-то, Принадлежавшее двоим, Склонилось в сторону заката... Но мы о том не говорим.
Что душно роза увядает, Что в луже тополь отражён,	

Мироощущение

В извечной мирской простоте Созвездия ходят над нами, Пружинит земля под ногами, И травы растут в темноте.	И ты среди крошечных звёзд И сосен огромных и синих Бываешь растерян, не в силах Почувствовать собственный рост.
Такой непонятной порой Ты слышишь — Вселенная дышит, Минуты шуршат, словно мыши, И ползает жук под корой.	Ты можешь, нагнувшись, искать Звезду, что в распадок упала, Но срезать пруток краснотала — Тут нужно на цыпочки встать...

* * *

Страдаем, мучаемся, плачем Мы потихоньку от людей И проявления страстей, Как мелочь, по карманам прячем.	И, слава Богу, нет им дела До тайных бурь и слёз твоих. Любая боль — тяжёлый гнёт, Но, не садясь в чужие сани, Пустяк переживём мы сами, Большое — нас переживёт.
Друзья поймут, а для других — Спокойный взгляд, улыбка, смелость,	

Пока живу

Пока живу я на земле, Стелитесь, травы, под ногою, Танцуйте, бабочки, во мгле Передвечернего покоя.	И столько будет слов и слёз, Дождей и ожидания снега, Что вдруг покажется всерьёз, Что вечно всё, как вечно небо.
И золотая пыль в луче, И лопухов большие уши, И жук зелёный на плече — Всё, что живёт, волнует душу.	Но звёзды падают в траву, И утро на закат похоже. Живите все, пока живу, ...Когда умру, живите тоже.

Из неизданного (не вошедшего в книги):

* * *

В стороне моей кандалной	Терпеливей глаз пророка
И в скандальной стороне	Материнские глаза.
Сколько вижу лиц печальных,	
Глаз печальнее вдвойне.	Будто снова у окошка
	Тихо тень её горит,
Потемневшие до срока,	Где залётная гармошка
Как осенняя лоза,	О разлуке говорит.

* * *

Для кого так стараешься, лето?	Я спешу — к Ангаре ли, к Байкалу —
Разнотравьем расцвечена даль,	Чтоб томиться его красотой,
Ароматом и солнцем согрета	Где лазурь и пруток краснотала,
Непонятная сердцу печаль.	И берёзовый лист золотой,
Для кого так стараешься, осень?	Где прозрачно, как грань аметиста,
Я и так по аллеям бреду.	Расплескался громадный кристалл —
Среди золота — яркая просинь	Это дорого, нежно, лучисто
Осеняет деревья в саду.	Ты меня принимаешь, Байкал...
Для кого? — если милый далёко,	Багрецом полыхает осина,
И гнездо покидают птенцы.	Ветерком освежает волна...
По-осеннему стынет протока	И прохладна, и невыносима
И сияют за нею гольцы...	Одиночества злая страна.

Притча о старом человеке

— Оскудели глубокие реки, Ты и сам на пустыню похож — Взор прозрачен, опущены веки... так скажи, отчего ты поёшь?	— Твои речи, признаться, туманны, И как старость, загадочен лик. В горе петь — это страшно и странно. А когда же ты плачешь, старик?
— Вот когда занавесились звезды И ударило горе, как медь, Эта песня явилась, как воздух, Чтобы сердцу не дать почернеть,	— Слёзы, слёзы, да что они значат! И без них я устал и продрог. Я не плачу — душа моя плачет И глотает солёный комок,
Чтобы думы словами заполнить, Чтоб напевами душу занять — Эту песню обязан я помнить, Чтобы вовремя сыну отдать.	Оттого, что я понял: от века, Хоть какую принявши вину, Одинока душа человека, Словно камень, идущий ко дну.

* * *

По морю рыбы плывут косяком,
По небу звезды бредут босиком.

Ты ль с головой накрываешь, вода?
Ты ли, мигая, мне светишь, звезда, —

Тропы земные и тверже, и суше —
Век свой иду, спотыкаясь, по суше.

В море, где рыбы стоят косяком,
В небе, где ходят стада босиком?

Песню пою, бормочу ли стихи я,
Манит меня и пугает стихия —

Зелень морская тонка, как слюда.
Канешь в нее — пропадешь без следа.

Небо, где Рыбы плывут косяком,
Море, где звезды стоят босиком.

Исповедимы ли наши пути?
Сколько проплыть, пролететь и пройти

Перетекая из пены в волну,
Воздух хватаю, иду в глубину,

По морю, посуху — вслед за Христом,
Как по лучу — босиком, босиком...

* * *

Лебедь ли кружится, гусь ли?
Волк это рыщет ли, рысь ли?
Ах, растрезвонились гусли,
Ах, распечалились мысли.

Но, обольщаться не смея,
Евы, Адама и змея
Ты не бессмертнее, право, —
Нет на бессмертие права!

В этом обыденном русле
Катишься, черен ли, рус ли.
Девка идет в коромысле —
В радуге ведра повисли.

Ах, расскажите, с чего бы
Кто-то таращится в оба?
Что ему на душу ляжет —
Смертный бессмертному скажет.

Катишься, мечешься всеу —
То в коромысле, то в сбруе.
Тащишь свой крест или воз ли —
Где-то бессмертия возле.

Звонче играйте вы, гусли!
Чтобы глаза не прокисли,
Кушайте, девочки, мюсли —
Будут прозрачными мысли.

* * *

Мы молча пьем, мы с летом заодно —
Дрожит в руке мускатное вино,
Притихший вечер вышел прогуляться,

И пара чаек прокричала в тон,
Что в тяге к горизонту есть резон,
А у любви всегда исход летальный.

И обнажившись, тиной пахнет дно,
И тонкий дождик нам твердит одно —
Свое «кап-кап», и лезет целоваться.

Мы снова этим ужасом больны,
Когда напева нет, но две струны
Еще звенят, томясь от разнобоя,

Сегодня сердцу нужен этот фон,
И музыкант, впиваясь в саксофон,
Выводит нам какой-то блюз прощальный...

И режет слух отсутствие вины,
И только шелест маленькой волны
Напоминает музыку прибора.

Еще чуть-чуть, и кто-то скажет «пфе»,
Но мы сидим — нам нравится в кафе
Кофейных зерен дух у стойки бара,

Где два швейцара в темных галифе,
Где два «люблю» стоят в одной строфе,
И все слова имеют форму шара...

* * *

Сидит ворон на суку,
Говорит: ку-ку, ку-ку!

Да невестка, да жена,
Да лешак, да сатана...

Это что еще за дело?
Каркать птице надоело!

Стали пальцы загибать:
— Раз, два, три... А где опять?

Каркать, кликать стаю бед —
Черных ос, собачий бред!

Пусть хоть сколько будет бед,
Но прожить хотим сто лет!

И трясет он головой,
Серый ворон вековой:

Ах ты, ворон-воронок!
Ты глупее всех сорок,

— Не скажу я с этих пор
Ни гу-гу про «nevermore»!

Легкомысленной кукушки!
Выдрать перья на подушки!

Знаешь, сколько на веку
Жить тебе? Ку-ку! Ку-ку!

Старый ворон посрамлен,
Улетел за дальний клен,

Прокричал и замолчал,
Может, даже заскучал...

Из дупла глядит в окно —
На душе его темно...

Но услышал этот звук
Старый мельник, малый внук,

Так и чахнет одиноко.
Трудно жить с душой пророка!

Снег в Иркутске

А снег с утра размашисто шел, как по степи — пожар,
И мир трепетал, словно белый шелк падал на тротуар.

И долго, крыльями хлопая, хлопьев его мотыльки
Беззвучно кружились в воздухе от города до реки.

И люди, слегка растерянно, будто впервые — так,
Запутывались во времени и замедляли шаг.

Кто-то смеялся весело: да это же снег, зима!
Подумаешь, эка невидаль — снежная кутерьма!

А снег ничего не слышал, он песню свою молчал,
Как будто, расставшись с небом, землю собой привечал,

То робко топтался возле, то снова пускался в путь,
Алмазной свежестью воздуха мне разрывая грудь.

* * *

На скоротечность времени не сетуй —
Что молодость, мелькнув, уходит в Лету,
Что зрелость перезрела, значит — стар...

И только в час наедине с собою,
Как глас судьбы или напор прибоя,
Как рок, неотвратима и темна,

Ну, разве стар? Звезда твоя — в зените.
Друзья мои, Харона не гневите —
Не принимайте скепсис за угар.

Она придет — глобальная разлука,
Смертельна, как мелодия дудука,
И ты поймешь: проиграна война!

Моя душа, твоей душе подруга,
Куда глупей: она не сходит с круга,
Она, как белка, скачет в колесе,

Тогда спиною дрожь тысячелетий
Ты ощутишь, уйдя от междометий,
Теряя голос, ломкий, как стекло,

Она не хочет золота заката,
Не признает законов сопромата
И все бежит по взлетной полосе...

И все яснее понимая это:
Что жить осталось, может, до рассвета —
Водой сквозь пальцы время истекло!

* * *

А. М.

Ты подарил мне белую тетрадь —
Чтоб я могла стихи не рифмовать,

Чтоб в поле и в заснеженных лесах,
Сердечной болью, сыростью в глазах

Чтоб я по белым праздничным снегам
Шагала легче, чем по облакам,

Напоминали белые листы,
Как были наши помыслы чисты...

Чтоб мне в судьбу подмешивать легко
Не черный дым — тумана молоко,

Чтобы меня избавить от оков
Грехов, ошибок и черновиков,

И Млечный Путь, и лилии долин,
И белым утром журавлиный клин...

Чтоб я могла сама собою быть —
Земные сроки набело прожить.

* * *

Где-то на далекой звезде,
Где-то на планете другой
Сеятель уснул в борозде,
Обхватив планету рукой.

Он в земную влажную тень
Бросил золотое зерно.

Он пахал с утра целый день,
А когда настало темно,

И заснул — не бог и не бес,
Зерна светляков улеглись...
А над ним в просторе небес
Светляками звезды зажглись.

* * *

Ну и что нам с тобой в этой жизни осталось?
Долги ночи бессонные, слепы глаза.
Как стремительна страсть, как прилипчива старость!
Как скупа напоследок обиды слеза.

Этот новый поток на тебя не обрушу.
Обижай, обижайся — не в этом же суть!
Я на песню и стих извела свою душу.
Мне ее не вернуть, мне ее не вернуть.

* * *

Отшумела, отпела, отгрезила, отлюбила я в жизни сполна. Стану тихо, пристойно, невесело коротать свою старость одна.	будет сниться мне юность зелёная и звенеть колокольная медь. Но, боюсь, не сумею однажды я усидеть, и себе на беду со своей неуёмною жаждою в белый свет, как в бывшее, уйду.
Заведу себе домик под клёнами, буду песни старинные петь,	

Улыбка, обращенная к скептику

Милый друг, вы бесконечно правы,
Говоря, что в этом мире нет
Ни росы, что осыпает травы
Серебром, прозрачным как рассвет,

Ни любви, ни дружбы, ни участия...
Всё слова, и их потерял смысл.
Милый друг, я вспомню вашу мысль,
Когда буду умирать... от счастья!

* * *

Взглядом, сердцем, кожей, плотью
Не могу забыть
Мать, которая отходит,
Мне позволив жить.

Зажигая свет и свечи в мире и в беде
Не устану каждый вечер думать о тебе.
Не устану теплой ночью колыбель качать —
Осторожно, чтоб у дочки сны не расплескать.
Ну, а если я устану помнить, знать, любить,
Значит просто перестану в этом мире быть.



НИНА ЖМУРОВА



Стракулист

РАССКАЗ

— Вы что, с петухами встали или вовсе не ложились? — спросила Мария зашедших до зари мужиков.

Они о чём-то громко спорили, размахивая руками.

— Иван-то днём проспится, ему не надо куда спешить, а тебе, Алексей, скоро на работу.

— Мне тоже куда не надо. Посевную окончили, бригадир разрешил денёк отдохнуть. Вот мы со свояком обмыли это дело, пусть пшеница растёт, даёт хороший урожай. Просплюсь, опосля схожу, трактор подремонтирую, — ответил жене Алексей. — Мать, ты-то куда в такую рань?

— Как куда? На ферму.

— А мы, свояченица, петухов слушаем, — вмешался в разговор свояк Марии Иван. — Поспорили с Алексеем, чей петух лучше кукарекает. Вот петух не птица, а как поёт звонко, а?!

— Вы сами уже как петухи, ложитесь спать, — уходя, приказала Мария.

— Свояк, ты послушай, послушай, как поёт, шельмец, душу трогает. А голос! Нигде не сфальшивит, лучше такого соло по всей деревне не найдёшь, слушал бы и слушал, — радостно толкнул в бок Ивана свояк Алексей. — Твой супротив моего — тьфу, зря горло дерёт!

ЖМУРОВА Нина Фёдоровна живет в городе Братске. Стихи и проза печатались в коллективных сборниках братских поэтов, в авторском журнале «Северо-Муйские огни», в литературно-художественном журнале «Метаморфозы» и в «Мире животных» (Республика Беларусь). Автор книг: поэтический сборник «Дари тепло», книга прозы «Когда цвела черёмуха», детская книга сказок «Барыня-сударыня» и других. Член двух литературных обществ города Братска: «У Сербского» и «Откровение».

— Ну, здесь против ничего не скажешь, звезда! Но зато мой, пусть не поёт, как твой артист, а каков красавец! Скажи! Ни у одного петуха в деревне нет такого пышного хвоста и красивого оперения! А, завидки берут? То-то, — похвастался Иван, — есть на что глаз положить, а ты говоришь — голос! Обратил внимание, что твои молодки изменяют певуну, к моему кочету захаживают. Пусть кукарекает по-простецки, но красотой сразил не только кур, но и всё женское население деревни. Вчерась Катька приходила, просила Томку, чтобы она одолжила на время петьку, чтобы знаменитый куриный кавалер её кур потоптал!

— Чё зря спорим, давай, свояк, за красивых и голосистых петухов дерябнем!

— А, чё за петухов-то, давай за мужиков, — предложил захмелевший Иван.

Выпив за здоровье мужиков и кочетов, свояки с наслаждением слушали, как, встречая зарю, вели перекличку на деревне петухи.

— А знаешь, как у Терёхи и Василия петухи кукарекают? — спросил Иван. — Я однажды слушал и наблюдал за ними. Эти бестии смешно мужиков передразнивают.

— Ладно врать-то!

— Чё врать-то, — обиделся свояк, — я не вру. Терёхин петух задерёт голову вверх и запоёт, как будто предлагает: «пойдём, выпьем»! А петух Василия отвечает ему, кукарекая, опуская голову вниз, как будто оправдывается: «нема на чё»! Зайди к Терёхе при случае, послушай для интересу. Ладно, Алексей, ты выиграл спор, твой петух кукарекает лучше всех в деревне Туба.

— А твой петух самый красивый, давай за это по пять капель и спать.

А петухи всё кукарекали и кукарекали, встречая рассвет и яркое солнце, которое теплом разлилось по земле. Всё загомонило, наполнилось звонким щебетанием, пением птиц. Ожила деревня: завизжали поросята, залаяли собаки, коровы мычали, приветствуя друг дружку. Смеялись и громко разговаривали бабы, провожая своих бурёнок до поскотины. Сочная молодая зелень листвы и травы наслаждалась теплом золотистых солнечных лучиков.

Своего цветного красавца-петуха привёз Иван зимой, когда ездил на слёт егерей. Друг-лесник подарил. В деревне почему-то были только белые курочки и петушки. Курочки быстро облюбовали нового красивого женишка. Зимой они жили дома, в курятнике на кухне. Деревенские жители, прослышав новость о цветном петухе, приходили в гости посмотреть на «райскую птицу». С весны до поздней осени под присмотром красавца-кочета курицы гуляли во дворе, то и дело выскакивая на улицу. Соседские курочки норовили отбить кавалера. Он охранял свой гарем и не брезговал бойкими соседскими молодухами, из-за чего часто ссорился с большим белым петухом. Тот ревниво дрался за своих курочек, отстаивал двор и, прогнав красавца, громко пел песню победителя. Красавец не любил соседского петуха. Не любил и боялся деревенских мужиков. Они украдкой неожиданно больно дергали его красивые пёрышки на нужные «мушки» для рыбалки. Хозяин ругал их, но всё без толку. Не мужики, так мальчишки умудрялись теребнуть его за нарядный кафтан. Но больше всего красавец-петух не любил маленького соседского щенка по кличке Верный. Любопытный, любознательный, он вечно что-то выискивал, вынюхивал. Гонялся на улице за курочками, хотел с ними поиграть. А они, не понимая его настроения, оглашенно кудахтая, жаловались своему защитнику. Пёсик пытался поиграть и с петухом. Но часто получал клювом в лоб или в спину. Взвизгнув от боли, Верный прятался в конуру, не понимая, почему он не может спокойно побегать и порезвиться. Вечно на пути этот хвостатый петух.

Разноцветный кочет чувствовал себя хозяином не только двора, но и призаборного участка за оградой. Всегда был готов прогнать оттуда непрошенных голубей и воробьёв.

Приходили к Тамаре деревенские женщины, обменивались куриными яйцами.

— Курица-парунья на яйца села, подложу ей от твоего петуха, может быть, цветных цыплят выпарит, — с надеждой говорили одни.

Или приносили на время своих кур, запятнанных краской, чтоб не перепутались.

— Глядишь, побудут с красавцем—женишком, снесут яичек, положу под квочку, высидит мне цветных цыпущек, — мечтали другие.

За лето петух окреп, подрос, освоил свою маленькую вселенную. Никого не боясь, всё чаще появлялся со своим гаремом на улице. Куры гуляли вольготно при любой погоде: в жару купались в пыли, после дождя смело бродили по грязной луже возле дома.

Однажды выбежал на улицу Верный. Он подрос, стал крупнее, но по-прежнему был любопытным, добрым щенком. Пёсик давно не видел соседского петушка, обрадовался и захотел с ним поиграть. Красавчику это не понравилось, он решил клюнуть собаку. У щенка было игривое настроение, он увернулся и ухватил петушка за крыло. Тот рассердился, кинулся на щенка, чтобы наказать за бесцеремонное поведение. Но в то же время Верный, наподдав лапой по тельцу петушка, опрокинул его в грязную лужу. Петух, не ожидая такой наглости, решил снова налететь на собачонку, затоптать ногами, прихлопнуть крыльями. Он не понимал, что щенок с ним играет. Верный схватил петушка за хвост и стал трепать из стороны в сторону. Он подкидывал его, ронял в лужу, прыгал на него со всех сторон, беззлобно лаял, заставлял бегать, вовлекая в игру. Верный разыгрался не на шутку, хорошую трепку задал птице, наверно, в нём проснулся инстинкт охотника.

Стоя у забора, мальчишки покатывались от смеха, наблюдая за игрой щенка с петушком. Они то подзадоривали собаку, то подбадривали кочета. Держась за животы, смеялись до слёз. Наигравшись, изрядно потрепав петуха, Верный убежал.

В это время на улицу вышла Тамара — хозяйка петушка.

— Ой-е-ёй-е-ёй-е-ёй! Чё деется-то! Батюшки-светы, батюшки-светы, это чей же такой стракулист?! — запричитала она, размахивая руками, хлопая ими себя по бокам, словно крыльями.

Посреди лужи, качаясь на ногах, стоял мокрый, еле живой, перепуганный до смерти наш «красавец». С его свалявшихся, слипшихся перьев, обвисших крыльев стекала грязная вода. От его бывшего роскошного хвоста — петушиной гордости — остались только три больших пера и немного пожульканных маленьких пёрышков. Он еле дышал, широко раскрывая клюв. От бывшего боевого вида не осталось и следа.

— Господи, это чей же такой стракулист? Это что за привидение? — снова запричитала Тамара.

Обойдя лужу вокруг, она спросила:

— Откуда такой покоцанный, обшарпанный петушишка? Как он сюда попал?

— Тетя Тома, да это же ваш красавец петух, — сказали дети.

— Чё баять-то! Не может быть, наш баский, а энто страшилище. Куцый, бесхвостый стракулист. Неча мне рассказывать байки, стракулист, он и есть стракулист!

Долго смеялись дети над тётушкиным прозвищем красавца стракулистом.

А потом рассказали обо всём, что видели.

— Эвон чё, страдалец, ить, паразит, чё натворил с тобой Верный-то!

Хозяйка вымыла петушка, вытерла полотенцем, напоила, унесла под навес. Стракулист долго приходил в себя. Лежал, закрыв глаза, стонал, вздрагивал. К концу осени петух окреп, оперился. На улицу выходил редко, а увидев Верного, быстро убежал во двор.

Но жизнь стракулиста-красавца продолжалась: во многих деревенских дворах бегали его цветные дети...

Скрижали истории



ВИКТОР КОНЯЕВ

Право на Победу

Сталин умер, интригами во власть вошёл Хрущёв. Титана сменил пигмей. На XX съезде КПСС Хрущёв занялся сменой Образов, народного вождя уничижая, и на том уничижении себя возвышая. А Советский Союз и народ начали терять моральное право на Победу, потому что допустили и стерпели.

Миллионы бойцов вздымались в атаку словами: «За Родину!.. За Сталина!..». Слово «Сталин» за годы войны обезличилось, стало символом, знаменем, идеей. С ним воевали и победили. И вдруг соратник, верный при жизни, объявляет символ преступным. Певца, народного кумира развенчай в глазах поклонников, сколько горя будет. А если Вождя, чьими трудами готовилась и свершалась Величайшая Победа?.. Вообразить можно ли травму душевную, нанесённую народу-победителю? **Хрущёв, развенчав Главнокомандующего, развенчал всех: солдат, генералов, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, всех без исключений. Без Вождя Победы народ-победитель становился народонаселением.**

Видимо, страшно было такое совершить, оттого и упаковал Генсек яд в сладкую облатку. Было позже заявлено о построении коммунизма через двадцать лет, окончательно и бесповоротно. Но являлся коммунизм не воплощённой Великой идеей, а приземленно, материально — гонкой за Америкой по производству молока и мяса. **Коммунизм как мечта человечества об идеальном обществе уронялся до низменного насыщения.** Автор считает, что именно провозглашением программы построения коммунизма запустился процесс разрушения Советского Союза.

...Западу никогда не понять этих странных русских. То за Вождя под пулемёты и за идею последнюю рубаху неимущему, то сразу и вдруг Вождя в тираны, а самим возмечтать ужраться мясом и упиться молоком. Они о Сталине в Британской энциклопедии: **«Он был создателем плановой экономики; он получил Россию, пахущую деревянным плугом, и оставил её оснащённой ядерными реакторами; и он был «отцом победы»».** Мы о нём: «Уничтожил цвет... нарушил... растоптал...». Цвет уничтожил, а сорняки войну Победой завершили?

Китай такой поворот не принял, дружбу расстроил. Запад раскрывал душащие объятия, оценив **деяния Хрущёва как поворот СССР с пути созидания на общемировую путь потребления.** При Хрущёве полезли из щелей на свет в массовом количестве колорадские жуки — фарцовщики. Выращенные за границей и завезённые, они плодились, множились, готовили приход эры ненасытной алчности, москвичам вкрадчиво вливали в души яд избранности, который через полвека изуродует облик столицы Отечества в сердцах жителей страны, превратив его в беспощадного космополитичного монстра, обирающего население огромного государства. Расползались заразные жуки, и некому было применить революционный декрет о борьбе со спекуляцией, никто не прижигал раскалённым шомпо-

лом разносчиков смертельной инфекции. Именно в 50-е годы на барахолках стали торговать боевыми наградами, сначала из-под полы, с опаской, первое время за такое всё же карали, время шло, торговали всё наглее, карали всё жалостливее.

Ещё время шло, к нынешнему пришло. Что с девяностых на рынках городов российских? Продаётся всё. Награды любые, можно по заказу. Ветераны боятся выходить на улицу в орденах: проследят, ограбят или обманом заберут. Бизнес, господа.

* * *

К концу советской эпохи мы, весь народ, изрядно размыли цельный в первые послевоенные годы Образ Победы. Фронтовики старели, умирали, память о Весе 45-го года официально бронзовела. Уже ветеранам не уступали место в общественном транспорте, изгоняли из очередей, даже квартирных. Было такое, было.

К чему население исподволь много лет готовили, на то оно и напоролось в начале 90-х — разразился в стране капитализм. Оглянулись, из общенародных праздников остался только День Победы. Нет, оглянулись позднее, в XXI веке. В девяностые не до него было, да и парад в День Победы отменили. Тогда по экранам России победно зашагал освободитель Европы — рядовой Райан. Американцы прагматичны и последовательны во всём. Мировой империи нужны великие победы. Легионы умелых борзописцев и киносъёмщиков трудились во славу Америки, они и сейчас на боевом посту. С русскими можно не особо церемониться, сами себя продали, так уж не обессудьте. Тем более, если стоит большая параллельная задача — лишить Россию собственной славной Истории.

Сейчас не только поколение младое, но и люди среднего возраста, даже отчасти преклонного, готовы верить в Солженицынскую ложь, что в стране до войны миллионов около ста постреляли просто так, единственно из вампирских наклонностей Сталина, в войну ещё около того потеряли, а воевали одни штрафники, остальных-то ухлопали. Откуда столь народишку взялось в государстве, и кто потом всё восстанавливал? Такой вопрос не возникает.

Вывихнула мозги людям непресекаемая лживая пропаганда. Уже верят, что Сталин ночами ездил (лучше летал) по просторам СССР, отстреливал за тёмное время суток столько-то безвинных, а утром уже был в Кремле. Что он всячески препятствовал Победе, а генералы вопреки ему, правда, по штабелям трупов, дотащились-таки до Берлина, и то лишь ввиду трудности для немцев выкарабкиваться из-под советских мертвецов. Вроде состав вопреки паровозу двигался вперёд, паровоз тянул назад, а вагоны упорно крутили колёса вперёд.

Вера в ложь всё дальше уводила нас от Победы, она вроде уже и не наша, а союзников, право на неё тоже уходило в зыбкость, в призрачность.

* * *

В последние годы правители вроде опамятовались. Вернулась патриотичная риторика, парад Победы вернули. Однако. Речи и поступки властных лиц в защиту нашей Победы и истории вообще настолько робки, неуверенны, непоследовательны, что их просто не слышно, их глушит дружный хор лжецов.

Осенью премьер посещал Польшу в связи с 70-летием начала Второй Мировой войны, произносил речь. То была не речь государственного деятеля России,

то было выступление изошрённого дипломата, в котором он поделил вину и ответственность между многими. Вопреки фактам, наперекор документам, поперёк нормальной логики. Вспомнился более ранний визит главы правительства туда же, в ту же Польшу, «остриё католического меча против схизматиков».

Простите, читатель, за приведённое высказывание, оно из польских уст вышло, веками оно служило руководством для польской шляхты, не потеряло актуальности по сей день.

В Польше премьер возложил венок к памятнику солдатам Армии Крайовой. Не знал, что в 44 году воины этой Армии убивали в наших тылах одиночных, отставших советских солдат, расстреливали медсанбаты, насиловали наших медсёстр? Знал, безусловно, знал, а веночек возложил. Простил от имени страны. А Польша, блудница Европы, России даже придуманную вину не прощает.

* * *

Власти Победа необходима. Но без Верховного Главнокомандующего и без советского народа — победителя. Такая вот куца, обкорнованная, но Запад может даже такую оспорить. Тогда возможен пересмотр итогов Мировой войны, а это чревато тем, что уравниют вину Германии и Советского Союза. Вон Япония на государственном уровне объявила Курилы территорией, оккупированной Россией. Завтра объявят таким Сахалин.

Вот так вырывают Победу из рук России.

В Прибалтике уничтожают памятники советским солдатам, освобождавшим литовцев, латышей и эстонцев от фашизма. А Россия молчит, боится Президент стукнуть по столу кулаком: «Цыц, шавки, и брысь под лавку, чтоб писку вашего не слышал я». На Украине карателей возводят в достоинство Героев, а российская власть лишь ворчит, но кулаком не стучит... В Грузии официально взорвали памятник грузинам-фронтовикам.

Да и мы, русские, предали наших отцов и дедов, которые воевали за другую страну, они сражались за государство рабочих и крестьян, за власть народа.

* * *

Крестьянская изба в деревне во глубине России. На русской печи спит умаянная детвора, разбросали во сне ручки и ножки мальчишки, разметались русые волосёнки девчушки.

За столом при керосиновой лампе с крохотным огоньком сидит усталая женщина; перед ней карандашом написанное письмо, два тетрадных листика с перекрёстными следами сгибов. Не читает — не видит строк за пеленой слёз, смотрит на дорогой рукой выведенные буквы. Зубы вцепились в сложенные у лица ладони, кусают свои руки, уводят в боль рвущийся вой. Женщина беззвучно воеет, вслух нельзя, проснутся дети и будут подвывать матери, а им надо выспаться, они маленькие и голодные. На столе последнее письмо с фронта, от мужа. Она будет эдак молча выть ночами всю оставшуюся войну и много лет после, пока не обесцветит соль слёз глаза и не иссякнет источник.

Слёзы военных вдов — тоже цена Победы! Так неужели же, неужели святые слёзы бабушек не обжигают внуковы души?! Неужто отдадим мы Величайший подвиг нашего народа, право его на Победу тем, кто втравил нас в самую страш-

ную Бойню за всю историю рода людского, кто до последнего выгадывал, выжидал и наживался на нашей крови, а сейчас объявляет себя победителем?!

... Скоро большой юбилей Победы, и мы вспомним, как батальоны с брусчатки Красной площади ринулись в бой, как солдаты Великой Советской Армии бросали фашистские штандарты к подножию Мавзолея.

Можем ли мы, потомки, воздать выстраданное воинам-победителям?.. Можем... Обязаны. Для этого власть должна молча, без помпезного телевизионного треска создать спасательную команду с большими полномочиями, которая найдёт и соберёт по всей стране живых бездомных ветеранов, всех, всех, со всех закоулков Родины, поселит старых солдат в новые квартиры. Чтобы не душила стыдоба, когда показывают и смакуют сюжеты, подобные недавнему. Молодая богатая женщина купила квартиру в ближайшем от их деревни городе чете стариков, он фронтовик, она труженица тыла. Телевизионщики смаковали слёзы благодарности стариков. Лучше бы посмаковали слёзы стыда у властей, допустивших такое.

А ещё российская власть должна жёстко наказывать русофобов всех мастей, что пытаются исказить историю Второй мировой войны и похитить у России Победу. Этого требуют миллионы советских солдат, что погибли за свободу России и Европы.

04.01.2010 г.

ГЕОРГИЙ БАЛЬ

Мамина тетрадь

*Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.*

Три четверти века прошло с тех грозных времен, когда красное знамя Победы взвилось над рейхстагом. Четыре тяжких года войны. Войны советского народа с фашистской нечестью. Белоруссия всегда первой встречала врага, идущего с Запада, и вместе с Русью гнала ворога с родной земли до средиземных морей, до Атлантического океана. Прошло 75 лет, и новоявленные «историки» находят «новые» факты, по-новому трактуют, извращают историю. Ищут и находят. Одних объявляют виновниками поражений, другим приписывают чужие победы. Победы? Победа — всего одна. Одна на всех. Победа Советского народа.

Память о той войне хранит народ.

Обычная ученическая тетрадка в косую линейку, стоившая когда-то всего 2 копейки. Перелистывает Ольга Павловна Охрименко ломкие, пожелтевшие страницы, которые хранят мамин почерк, тепло её рук. Вспоминает её рассказы долгими зимними вечерами о нелёгкой, и всё же счастливой трудовой жизни. Было время, когда не существовало смартфонов, и телевидение имело всего два канала. Но зато было время у родителей для общения с детьми.

Таисия Александровна Калганова родилась в 1926 году на Урале в селе Кокорино. Но вскоре родители переехали в Забайкалье. Крупная железнодорожная станция Зилово была открыта в 1914. В 1918 на ст. Зилово располагался штаб Забайкальского фронта под командованием С.Г. Лазо, а в 1920 — штаб Восточно-Забайкальского фронта под командованием Д.С. Шилова. Вся жизнь посёлка была связана с железной дорогой. Трудовая семья, жили скромно, но не бедствовали.

Война. Тысячи километров до неё. Но всё она перевернула, перевела жизнь на военные рельсы. Детство кончилось. По окончании семилетки в 1942 году поступила Тася учеником телеграфиста. Быстро освоила телеграфные аппараты, Морзе, Бодо.

Таисии не исполнилось и 18 лет, когда она была откомандирована в распоряжение Военно-эксплуатационного отделения № 31 НКПС. В теплушке через всю Россию ехали вместе с ней и другие работники Зиловской дистанции сигнализации и связи: телеграфистки Анна Волкова, Люся Комина, Валентина Шиндырей, электромеханик Селезнёв, монтёр Ваня Ревякин. Всего в военном эксплуатационном отделении № 31 (ВЭО № 31), сформированном на Забайкальской железной дороге, на службе состояло 1390 человек, из них более пятисот женщин. В Забайкалье бережно хранят память о хилковчанках: помощниках машинистов Ольге Ефимовой, Ксении Дудниковой, о сварщице прифронтовой паровозоремонтной колонны Евдокии Чировой, слесаре арматуры паровоза Анне Бекешевой, машинисте паровоза Александре Цурановой, о красночикийских девочках: Евдокии Кузыкиной и Кате Кузнецовой, заменивших ушедших на фронт мужчин в нелёгком труде монтёров пути.

В постановлении ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» Наркомату путей сообщения было установлено задание закончить к 1 января 1944 года возрождение многих сооружений на 13 освобожденных дорогах. Благодаря принятым мерам и самоотверженному труду железнодорожники перевыполнили это задание.

Высокая оценка работы транспорта дана в докладе к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, где отмечалось:

«Большую роль в деле помощи фронту сыграл наш транспорт, прежде всего железнодорожный. Транспорт является, как известно, важнейшим средством связи между тылом и фронтом. Можно производить большое количество вооружения и огнеприпасов, но если они не доставляются вовремя фронту при помощи транспорта, они могут остаться бесполезным грузом для дела фронта. Нужно сказать, что в деле своевременного подвоза на фронт вооружения, огнеприпасов, продовольствия, обмундирования и т.д., роль транспорта является решающей».

Весной 1944 г. ВЭО № 31 прибыл на станцию Гомель.

(Мир тесен. Мне приятно писать о людях, принявших участие в восстановлении моего родного города. Города, в котором я родился в мае 1954 года. Через десять лет после его освобождения от немцев.)

Их встретил черный обгоревший остов вокзала, исковерканные, покорёженные развалины города, над которыми невдалеке от вокзала возвышался каркас дома Коммуны, в нём до освобождения располагалось фашистское гестапо.



Гомельский вагоно-ремонтный завод. Работает в настоящее время, ремонт вагонов для БелЖД и РЖД.

Состав загнали на запасные пути. Не успели осмотреться, налетели фашистские самолёты. Вой бомб. Взрывы, море огня. Бомбежка продолжалась всю ночь. Утром увидели, что от многих теплушек, обжитых, ставших родными за долгий путь, остались только стойки и рамы с колесами. Первые убитые, первые потери в большой дружной семье.

Работы было много. При отступлении фашисты портили, уничтожали железнодорожное хозяйство.



Путеразрушитель типа «крюк»

Бывший начальник военных сообщений 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант А.В. Добряков рассказывает:

— Нас очень беспокоила и волновала возможность применения противником путеразрушителей типа «крюк» в полосе наступления наших войск. Было известно, что у противника в группе армий «Центр» имелось примерно 10 путеразрушителей. По нашему предложению Военный совет фронта провел ряд мероприятий с тем, чтобы не дать противнику разрушить железные дороги или, во всяком случае, значительно уменьшить масштабы повреждений. С этой целью 1-й воздушной армии и партизанам поставили задачу: помешать массовому разрушению железнодорожных объектов, не допустить использования противником путеразрушителей.



Железнодорожные пути, разрушенные фашистами.

Девчата трудились на восстановлении линий связи. Копали траншеи, укладывали кабель. Отряд бросали по всей области: Речица, Осиповичи, Барановичи. Там, где от железнодорожных путей остались только скрученные тяжелым вихрем войны рельсы, переломанные шпалы, жили в палатках, по ночам с тре-



Женщины на восстановлении железнодорожной станции Гомель.

восстановлению поврежденных, порой сутками ждали окончания работы сапёров.

Когда разгружали санитарные эшелоны, девчата помогали переносить раненых до автомашин, повозок, видели боль и кровь своих отцов, братьев. После работы сил порой хватало добраться только до постели. Ведь трудовой день 12, а то и больше часов. Но вопреки всему, а может быть назло войне — жили! Жили верой в скорую победу! Умудрялись бегать на танцы, влюбляться. Одна, счастливая, нашла своего единственного — война разлучила их в 1941 году в Забайкалье, а вновь встретиться посчастливилось в Белоруссии. Как завидовали ей девчата, когда узнали, что она ждёт ребёнка!

Знакомились, дружили с местными жителями, многие из которых во время бомбёжек прятались в бомбоубежищах, в окопах, вырытых девчатами. Чем могли, помогали друг другу. Белоруссия была разграблена немцами донельзя; нитки, иголки, кусок мыла были большой ценностью. А жители выручали овощами,

зеленью — ведь питались в основном сухими пайками, да и то по тыловой норме. В середине лета девчат-связисток перевели работать по специальности в Управ-

вогой прислушиваясь к далёкому грому артиллерийской канонады. Но страшнее всего были ночные бомбёжки. Бомбили немцы ожесточенно. Наряду с фугасными сбрасывали бомбы замедленного действия, мины-сюрпризы. Сколько людей подорвалось на куклах, на портсигарах, на вроде безобидной с виду мелочи. Прежде чем приступить к



Гомель. Площадь им. Ленина. Пожарная каланча.

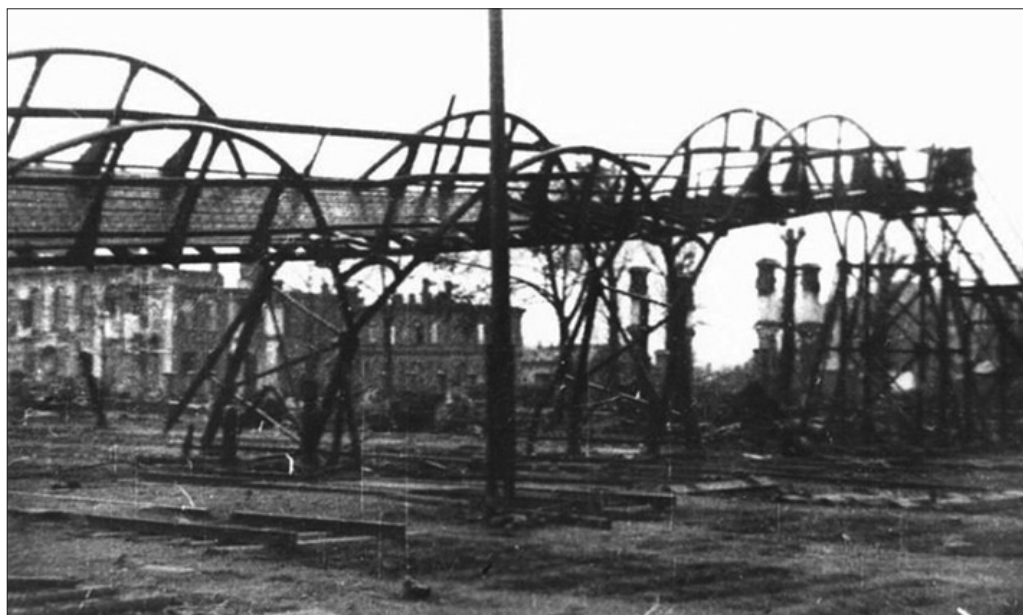


Привокзальная площадь г. Гомель

ление Фронтowej Белорусской железной дороги, которое находилось на станции Барановичи. А ВЭО № 31 продолжил восстановление железнодорожного полотна, железнодорожного хозяйства на станциях Слуцк, Могилёв, Унеча. Трудились на Украине.

Фронт готовился к наступлению, в оперативном порядке решали многие вопросы, связанные с увеличением пропускной способности линий, организацией выгрузки в условиях продолжающихся воздушных налетов. При подготовке операции «Багратион» с 1 по 23 июня 1944 года четырем фронтам, готовящимся к освобождению Белоруссии, было доставлено более 75 тысяч вагонов с войсками и материальными средствами.

Продолжалось восстановление Гомельского железнодорожного узла — одного из крупнейших на дороге. Работники узла с участием трудящихся Гомеля занялись возрождением разрушенных устройств и сооружений, восстановили 150 километров пути, построили десятки зданий.



г. Гомель. Пешеходный мост, за ним здание вокзала.



Труд женщин железнодорожниц во время Великой Отечественной войны.

Итоги работы ВЭО-31 будут подведены в приказе № 697 от 29.12.1944 г. начальником фронтовой Белорусской железной дороги Н.И. Краснобаевым:

- уложено главных и станционных путей — 43 километра;
- уложено 50 стрелочных переводов;
- перешито на союзную колею 96 километров и 119 стрелок;
- восстановлено 39 километров линий связи;
- построен литейный цех, произведён капитальный ремонт пяти водокачек, подведены водопровод и канализация под депо Жлобин;
- произведено 43 тысячи кубометров земляных работ.

Сколько раз пришлось восстанавливать проделанную работу, в приказе не говорилось. Титанический труд железнодорожников позволил обеспечить бесперебойное движение военных эшелонов к фронту.

В декабре 1944 года коллектив ВЭО-31 возвращается на свою дорогу, но не в полном составе. Сто девяносто человек приказом НКПС были направлены в г. Львов на работу в ВЭО-12. Одна из них, Катерина Кузнецова, пройдя дорогами Украины, Польши, Чехословакии, встретит День Победы в Праге.

Таисия с подругами, вернувшись в родное Забайкалье, будут направлены на лесозаготовки. Условия в зимней тайге были не совсем подходящими для молоденьких девчат, сидевших к тому же на полуголодном пайке. У



Узел связи. Работа телеграфиста на аппарате Бодо.



Таисия Александровна Калганова-Кучеренко

вой книжке матери только одна запись: «Принята». Трудовой стаж 41 год. Для благодарностей, поощрений, наград не хватило двух вкладышей, оттого и трудовая книжка кажется пухлой. Рядом трудовая книжка отца Ольги Павловны — Кучеренко Павла Георгиевича. Наградные удостоверения. «За победу над Германией», «За победу над Японией». Весной 1950 года демобилизовался из армии и пришёл работать в дистанцию сигнализации и связи молодой бравый сержант. Приглянулась ему красавица Таисия.

многих здоровье пошатнулось именно в те дни.

Победа! Её Таисия встретила в Чите. Радость! Слезы! Надежды! Лето работала на станции Урюм на ремонте железнодорожного полотна. И только в сентябре 1945 года, после победы над Японией, ВЭО-31 был расформирован. Начиналась новая, мирная жизнь.

Вернулась Таисия Александровна в Зилово, в родную дистанцию. Работала телеграфисткой, старшей телеграфа, освобожденным бригадиром телефонно-телеграфной станции.

Ольга Павловна достала бережно хранимые документы родителей. В трудо-



Ольга Павловна Охрименко (Кучеренко), электромеханик Зиловской дистанции сигнализации и связи ШЧ-4. Ныне Могочинский региональный центр связи.



Современный вокзал г. Гомеля. Георгий Баль.

Вскоре сыграли свадьбу. Скромную, но зато на всю жизнь. Главное ценить, любить и беречь друг друга. Так и прошли по жизни бок о бок, деля радости и заботы.

Подрастала дочка. Окончив школу, устроилась монтером связи по 1 разряду в Зилевское ШЧ. Окончила техшколу. Поступила в Хабаровский железнодорожный техникум. Вся её

жизнь связана с дистанцией связи, куда она ребенком прибегала к маме, и на которой до пенсии сама работала электромехаником АТС. Она гордилась родителями, затем они ею. Её активной жизненной позицией. Олиными успехами в работе, в спорте.

Сейчас Ольга Павловна Охрименко (Кучеренко) сама уже бабушка. И, достав материнскую тетрадь, рассказывает своей внучке о тех далёких годах. О нелёгкой, но счастливой жизни её прадедов. И поёт с ней песни. Суровые и нежные, о войне и любви. Те самые песни, которые поют в День Победы в Белоруссии, в России, в Гомеле, в далёкой от него Чите. Ведь война была общая, и Победа общая. Свидетельство тому — память народа да мамина синяя тетрадка.

АННА ЖДАНОВА

Русский мир и европейская цивилизация

Сочинение ученицы 11 класса



В последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, полистать героические страницы истории русского народа, то возникает совсем другая картина.

Например, в русском языческом пантеоне **никогда не было бога войны**, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.

Русский человек после победы над иноверцами **никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру**.

В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.

В древнерусской литературе **отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях**, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе.

Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада — золота Рейна.

Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренья игрой самоцветов и блеском золота... В обмен на богатства жизнь положил я».

Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, — «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».

И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести.

Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин всегда был воином-освободителем.

И в этом — отличие русского человека от западноевропейского.

Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западно-европейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.

Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.

Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними.

Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства... Он всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей...».

О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам присоединённых территорий. Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.

В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью.

На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.

Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.

Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки, и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.

Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии.

Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру.

Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» — нести бремя государственного строительства.

В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.

Именно потому, что на его долю выпали такие страдания и колоссальные жертвы, мой народ принял, как свою собственную боль, страдания других народов под гнётом гитлеровских фашистов.

И после освобождения родной страны с таким же самопожертвованием, с такой же энергией освободил пол-Европы.

Вот какой был героизм! Вот какой силы духа людей рождает русская земля!

И думается мне, что на такой подвиг даже великий народ может решиться один раз в века.

Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны — это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском «варварстве» и европейской «добродетельности».

Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы — их потомки!



80-летие писателя Владимира Личутина

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

«Слово должно быть красно украшенное»

Мысли о писателе и беседа с писателем



На снимке слева направо: С. Шаргунов и В. Личутин

Друзья зовут его Личутка. В этом имени и лучина, и шутка, и чудо, и виден он весь: с лукавым и зорким синим глазком.

Окающий говорок, звонкий, пронзительный голос, чудится, вот-вот сорвётся на поморские причитания.

Проза Личутина стройна, загадочна и чарующа, будто заговор (неслучайно одна из его повестей называется «Последний колдун»). Порой теряешь нити смысла, но всё хитросплетение подчинено какой-то тайной цели, как и вяза-

ние донного невода с затягиванием сложных узлов уже обещает плеск и трепет пойманных жизней...

«Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседкою, но в какую-то неделю слизнули с тундры студёные смертные покрыва, и вода-снежница, что не нашла ходу в Печору, скоро скопилась в низинах, в логах под веретьями, в мёрзлых болотинах и чахлах воргах, разлилась в широкие, рябые под ветром прыски...»

Не всё понятно, но всё зримо до одури, щекочет весенний ветерок. Иногда думаешь, а уж не подтрунивает ли он над читающим, так близко собрав причудливые словечки, да и не разыгрывает ли? Все ли эти слова в самом деле существуют?

Почти невозможно поймать его на неточности, но личутинское обращение к корневой лексике — это не работа филолога, окружённого надгробиями словарей, а вдохновенное волхвование. Он воскрешает далёких предков с их удивительной узорчатой речью, он отдаётся на волю поэтической стихии народной души, и, воспламенившись, в одно касание делает очередную мёртвую окаменелость жаркой и сладкой. Отсюда и всегдашнее обитание в его прозе лиц и судеб самых разных поколений, какую вещь не возьми — «Белая горница», «Душа горит», «Дивись — гора», «Вдова Нюра», «Любостай», «Душа неизъяснимая», «Раскол»...

Скрытный, как всякий чудодей, он лишь сознаётся, что северное краснословье осело в нём, «как ил на дно реки». Судя по всему, взбаламучивает себя, выворачивает донное богатство, уходит в маревое полузабытьё, и тогда на страницы влещут и льются таинственные райские глаголы.

Личутин пишет не предложениями — отдельными словами, которые звонко лобызаются, христосуются друг с дружкой, как пасхальные богомольцы в огромном храме.

Это не просто возвращение благозвучных, мало кому знакомых слов, обычно сопровождаемых сухим довеском «устар.», не просто непрерывная манифестация архаики. Личутин — литературный новатор, в чьих писаниях — претензия на революцию стиля. Одним словом он даёт второе рождение, другие вынашивает, рождает, и вскармливает самолично. Точно «речетворец»-будетлянин, для которого неизведанное грядущее смыкается с диковинным прошлым, он свободно и смело играет языковой гущей.

К этой прозе можно было бы присобачить химическую фразу «супер-эстетизм», но и определение «любование красотой» излишне. Личутин не наблюдатель, он, пожалуй, и не любит, он даже отказывается оценивать, что есть красота, он стремится, не рассуждая, слиться с природой во всей её естественной полноте. Природа — главная героиня всех его книг — отстраняет и делает не важными мысли, характеры, сюжеты, потому что и люди-простецы, крестьяне, рыбаки, охотники, и их скромный честный быт — продолжение природы.

«Только на Севере метафор снега около ста двадцати!» — воскликнул писатель в нашей беседе. Однако метафоры ли это в привычном понимании?

Он — переводчик с природного на русский. Музыка, которую он, как сказал мне, однажды уловил и ловит с той поры, есть музыка природы, где сквозь мнимую нарочитость и даже вычурность («еста», «скоркать», «шолнуша») доносятся шорох волн, криканье уток, безмолвные плачи рыб...

Много ли личутинских страниц отведаешь за один присест? Ну кто — как. Книжки не для всех. Скажу за себя: впитываю эти речные и луговые, и лесные, и беломорские пейзажи, как будто вижу их вживую, и не всякое понимая слово, чувствую сердцем — «синенют гривы дальних сузёмков», «косо парусит мрелое солнце», «зыбятся отроги сугробов» — и, сам не замечая, всматриваюсь снова и снова в один и тот же абзац, в нём растворяясь.

Помню его в храме, притихшего и неспешного, затеплившего свечу, которую он, попадая в ритм протяжного хорового пения, мягко ввинчивал в гнездёнку латунного подсвечника подле старинной иконы Николы Угодника.

Помню его ярым и диким. В каком-то писательском застолье кто-то затеял водочную драку. Первым бросился разнимать Личутин, ловкий, юркий, неожиданно сильный. Взорвалась стеклянная дверь, а он стоял, мал да удал, разметавший всех по углам, и хохотал из золотисто-рыжей бороды, с ногами, посеченными осколками, в окровавленных штанах.

Помню его среди голубоватых сугробов, на солнечной опушке, глядящего нежно в небо, с шерстяной шапкой в руке, внутри которой спряталась тайна — может, найденный зимний гриб, а может, подаренная лесом сто двадцать первая метафора снега.

Владимир Владимирович, вы — певец и пророк Поморья.

Белое море — это райское море. Потому что в далёкие времена там был рай. И люди жили там сколько хотели. Вот хочет человек триста лет жить, он и живёт, устал — и умирает.

Ногти-то стригли и не выбрасывали, собирали в тряпочку их, чтобы по смерти в гроб их клали. И когти эти помогали по алмазному склону горы Меру карабкаться наверх, в рай.

Моя родина — город Мезень, старинный, теперь его хотят из города превратить в посёлок, чтоб люди уехали, и все богатства получить без народа. О народе надо заботиться, кормить, поить, благоустраивать, а без него — забирай кладовку. На русском Севере, где ни копни — всё скопище драгоценностей. Наше приданое, которое Господь дал на тысячи лет вперёд. А теперь потеряли совесть и честь, и грабят, грабят...

Я ещё застал характер, быт, обряды русского Севера. Прибыток помору доставался через смерть. Суровая жизнь, но не могла она быть скучной, серой, неприглядной, отвратительно тяжёлой. Русский характер её освещал и показывал во всём цвете. Она была вся расцвечена неслышимой песней. На Севере и так пели всё время, но и была та музыка и та песня, которая жила в душе. И облик людей был другой, с каким-то благородством и светом. Иконописные лица. Мягкое лицо, васильковые глаза. У всех мужиков — бороды. Старики были беззубые, но это не виделось, потому что усы и борода так отрастали, и ямку рта совсем закрывали. Борода — это образ Христов. Тебе тоже надо бороду завести!

Вы всегда с бородой?

С двадцати четырёх. Я один раз её сбрил, думаю: как убого сразу! Стыдно!

Кем были ваши родители?

Родился я перед войной и чудо, что выжил. В нищете-то. Отец погиб в 1941 году, в октябре месяце. Учитель он был. А мать — колхозница. Они полюбили друг друга, когда ей было четырнадцать, а ему восемнадцать. Четверых родила.

Радовалась, когда вы стали писателем?

Я приезжал в сапогах, неряшливый, непритязательный, порыбачить. «Ну что ж ты приличную профессию не займёшь. Вон одноклассник твой, Вовка-то Манькин, у него три костюма, а ты-то в чём? Оборванец. Брось это дело, займись хорошей работой».

Что вас радует в жизни?

Меня радует каждый прожитый день. Хотя уныние всё чаще наступает с возрастом. Ну, стараюсь его подавлять. Радуют успехи детей, если они случаются. Радует солнце, радует написанная страничка. Радость, которую надо уметь находить в себе, в самой малости, делает жизнь полной, впечатляющей, красивой... Если не чувствовать радости и не носить их в сердце своём, то человек кончается ещё при жизни.

А огорчает многое?

Многое, многое...

В первую очередь огорчает то, что русский народ без руля и ветрил катится растерянно куда-то... Не будем говорить, что в пропасть. Но в то болото, из которого, увязнув, очень сложно будет выбраться. Мы брошены в состояние растерянности, русский народ кинут, кинут... Без пастыря любой народ, тем более русский, превращается в стадо. Он чувствует беды, но не знает, как из этих бед выбраться. И вот меня-то особенно огорчает, что те, кто стоят у правила, безвольны, и, вроде бы уповая на Бога, не хотят слышать Бога, и всё время оставляют народ в России на волю волн. А если на волю волн, значит, судёночко в другую минуту станет боком к волне — и его опрокинет.

Вот это меня огорчает. Что-то личное в жизни не складывается — это совсем

другое огорчение. Это временно, оно пришло, и схлынуло. А вот огорчение, которое связано с судьбой русского народа, глубоко устоявшееся и непроходимое. И я думаю, что это огорчение постоянно живет и в твоей душе...

Живёт. И тревога есть, как бы не потерять страну.

Да, так в душе каждого русского интеллигента, кто воспитан на национальных заповедях. Казалось бы, что проще всего? Засветить маяки, расставить по берегам — куда двигаться, чтобы не попасть в беду. Но вот этих маяков и не засвечивают.

Или ставят ложные маяки.

Или ставят ложные. Обнадеживают, запутывают. Там, может быть, водовороты тайные, может быть, камни, подводные корни. Такое ощущение, что всё время судёно наше направляют не в ту сторону. У румпеля-то стоят, рулем правят, даже какие-то знаки нам показывают: туда, туда, туда. Но мы всё время чувствуем: не туда, не туда, не туда.

И мы живем в предчувствии того, что сейчас напоремся на камни и корни. На стамухи ледяные сядем днищем, и нас перевернёт. Вот оно — главное огорчение: мы можем перевернуться в любую минуту.

А может это случится через 1000 лет. Мы это не знаем. Но тем сокрушительнее то огорчение, которое нас навестило однажды и в нас живёт.

Получилось так, что была одна антисистема, советская, но она поворачивалась уже лицом к народу, она переосмыслилась... И на смену ей неожиданно пришла новая антисистема — вот это наше нынешнее состояние. Антисистема — это когда народ-кормилец подвергается насмешке и презрению, небрежению. А земля, мать-кормилица, предаётся хуле.

Вы про деревню?

Конечно. Даже по телевизору, в газетах, нигде нет о том, как живет русская деревня, как живет наш народ на селище, чем озабочен, какие его беды настигли, как его поднять из невзгод бесконечных и из печали вызволить. Нигде ни одной вести! Ни из какого угла не доносится ни одного сопечальывания, сопереживания: «Братцы! Русский народ-то гибнет! Надо его спасти! Ибо если погибнет деревня, всё рухнет, всё рухнет. И уже не спасти...». Ни одного зова ниоткуда. И также и сверху — сплошное молчание. А надо заново оживать русскую землю. Вот самая земля... В центре её стоит дом.

Тоскуете в городе, или и в нём находите очарование порой?

Честно говоря, я не люблю городов. Я их не знаю и не помню. Прожив в Москве сорок лет с лишним, даже не знал, где Красная площадь. Начал её разыскивать, всех расспрашивать: как туда добраться? И в Питере не знаю, где был мой Университет.

Возможны ли сегодня писатели, как их называют, деревенщики? Чувствуете себя таковым?

Серёжа, у меня такое впечатление, что я остался в единственном числе.

Я много проживаю в деревне, пусть не круглый год, потому что плоть уже изнежена, но по крайней мере я знаю русскую деревню изнутри. Когда я в деревне, на рыбалку каждый день хожу. Был чуть моложе — и охотился всё время. Лису бил, зайца, тетеревов, уток... Я стараюсь о ней писать, о деревне-то. Почему я неотступно, с таким тщанием и усердием любопытствую о русском народе? Я — это волоть из его толщи, едва видимая глазу волокнистая нить из его древесной болони, и потому, размышляя о матери сырой земле, стараюсь тем самым понять и себя.

Вы любите заповедные слова. Здесь, наверное, надо пояснить, что волоть — это волокно или былинка...

Понимаешь, пренебрежение к деревне существовало и раньше, вот и пошло прозвище «скобарь». Такое насмешливое отношение к крестьянину, спасителю деревни... Но раньше деревня пусть и переживала не очень хорошие дни — существовала. Там ещё можно было черпать силы. Русские писатели, в основном — выходцы из деревни, кинулись искать пути одухотворения её жизни, искать главную справедливость. И повторяли они интеллигентов конца XIX века...

Народников?

Народников, которые пошли искать правду в деревне. Тут в чём своеобразный анекдот получается. Когда изменились времена и настал этап самого настоящего спасения деревни, эти писатели остарели или иссякли духом, а новых и не появилось... Печаль вся в том, что деревня осталась без защитника.

А такого, между прочим, не было никогда. Всё время находились какие-то люди. В XIX веке особенно: фольклористы, интеллигенты, разночинцы, дворяне, которые искали духовные истоки внутри, в сердцевине народа. Теперь это духоподъемное пламя стало потухать. Если деревни-то не будет, то и русского-то народа не будет.

Помираем?

Не-ет... Уныние надо бросать! Нужно всё время повторять: возможно, необходимо, надо, сделаем. Ибо как уничтожается что человеком, точно так же и восстанавливается.

А деревню можно восстановить даже за пять лет. Это биологический цикл — от телёнка до коровы. За пять лет можно накормить Россию.

Труднее восстановить национальный дух, иссякающий... Но настоящий духовный чернозем составляет многие сотни лет, и печаль надо оставить: нация тогда пропадёт совсем, когда пропадут последние наши люди, будто Адам и Ева.

Безысходность страшнее всяких болезней. Каждое слово, произнесённое с экрана или напечатанное в газете, должно быть наполнено силой жизни, а не внушением того, что всё кончилось и ничего не возродить. Иначе, если слово печальное вчинивается в душу человека, то вроде бы нет никакой причины, а человеку плохо, и он погибает. Вот говорили: «Нельзя ничего возродить, через двадцать лет в России останется 50 миллионов населения». Изюм в день эти самые все ученые, демографы, социологи, кто только ни кричал: «Ничего не сделать! Бесплезно! Посмотрите, во Франции популяция тоже сокращается!». Но русский человек — не француз, не немец, который живёт в тесной кухне. Им некуда рожать. Они так уже облагодетельствованы и так размягчены своим существованием, что каждый лишний рот для них страшная нагрузка. Они говорят: «Боже мой! Как его кормить, когда он у меня отнимет кусок изо рта?». А русский живёт на гигантских пространствах, и сами пространства заставляют рожать.

Когда все лучшие, десять миллионов мужиков на войне погибли, и остались девки молодые с тоской, я помню по своему детству, в каждом доме или через один дом — незаконнорожденные. Никто не оскорблялся, никто друг друга не дразнил... И нация пополнилась десятком миллионов сразу.

Ну, хочет человек детей деревенских — дай ему землю, помоги построить дом, помоги построить дороги. А то, что получается... Вот у нас на Северах человек выходит в отпуск летом и весь отпуск убивает на дрова. Зимой же тяжелые условия. Тогда почему бы газ не подвести в первую очередь на Севера? Нет у нас газа,

понимаете? Везде бьются мужики заготовить топливо, а газ везут в Германию, где и так тепло. Рожайте, германские женщины, готовьте новое воинство.

Вы автор романа в трех книгах «Раскол» о церковной войне на Руси.

Принялся я писать этот роман в 43 года, а закончил в 58 лет.

Тот религиозный раскол до сих пор сохранился... Недавно был я у старообрядцев, у митрополита Корнилия, и разговаривали на эту тему. Одна сторона хочет раскол замять, и ту старообрядческую сторону подчинить, влить в себя... И думается: может и не надо растворять ту ветвь староверчества, которая сохранилась с XVII века. Пусть она сохраняется как свеча неугасимая, которая бы нам показывала пример, какой была русская жизнь прежде.

Мы же должны ориентироваться на русскую жизнь не только в книгах, но и видеть её конкретно. Понимаешь? Поэтому даже этот раскол, который был бедой, превратился во благо. У меня возникла мысль: может быть, это благо?

Вот я был в общине, в рижской стороне поморского согласия, там у них церквей нет, они беспоповцы — моленный дом. И я увидел, как они молятся. Это церковь воинов. Они стоят строго, как солдаты, руки на груди скрестив, вот так, вот так... Они не шелохнутся, они молятся, поют. У нас в церкви, к которой я принадлежу, Московской патриархии, народ расслабленный, стоит пониклый, бродит, шатается, кто-то разговаривает, постоянно хлопают двери. Бывает, поп что-то скороговоркой бормочет, не разобрать — так принято, хоть за это и ругали в XVII веке, надо отчётливо произносить каждое слово.

И когда я там побыл, в моленном доме, то проникся к тому прошлому восторгом. А должен был воспылать к ним может и отвращением. О староверцах же писали: «косный народ», их же веками шпыняли. Какой правительственный гнев был на них излит и какое презрение за сотни лет!.. Их угнетали, они сгорали на кострах. А я наполнился к ним почтением: «Боже мой, какая была русская вера!». Они, уловив мой восторг в глазах, сказали: «Может быть, вы перейдете в нашу веру?» Я говорю: «Как-то неприлично смётываться туда-сюда».

Поэтому я думаю, пусть этот островок веры и живет бесконечно, как икона древнего письма.

Ваш юбилейный год совпадает с Аввакумовским, которому 400 лет. Вам ближе Аввакум или Никон?

Почему мне близок Аввакум как народный мыслитель и защитник догмата? Нельзя трогать ни одну букву. Как затронул — всё шатнулось. И сейчас соблазнительно много кругом: «Да смахни ты букву, она не нужна...» А родовая природа-охранительница говорит: «Нет, не тронь букву ради Бога!»

Всё же дети держали Аввакума в природе человеческой, а Никон был монах. И по глубине ума, по дарованию он несравнимо выше был Аввакума. Сначала у меня было отношение к нему как к главному раскольнику, который сбил Русь с заповедного пути, в пучину драмы бесконечной столкнул ради честолюбия... А иногда думаю, может он — самый выдающийся человек семнадцатого века.

А какой сейчас главный раскол?

Раскол, созданный нынче, между богатыми и бедными. Мы его не знали, мы забыли о нём. Мы не знали и забыли, что такое капитализм, где раскол естественен, а вошли в новое правило жизни.

Кстати, я никогда не думал, что можно воспитать советского человека, и вот лет через десять после свержения советской власти вдруг понял, что в глубине своей и я, оказывается, советский человек. То есть я остался русским, но по ка-

ким-то взглядам сделался советским. Хоть и не стал коммунистом, большевиком. Всё равно совесть была главной судиёй.

Никогда не были в партии?

Никогда не был в партии. Меня много раз приглашали, но я отговаривался, что не созрел ещё. Я всего в комсомоле два года был, потом вышел, заявив, что комсомол разлагает молодежь. Это был 1964 год, Ленинградский университет. В комсомол меня приняли в армии, а в двадцать четыре года я уже вышел, уже понял, каким образом создаются все эти фарисей-догматики. Вырвался, испугавшись, что почти туда вплыл, в это русло...

Расскажите про этот ваш мятеж.

Работал я слесарем на Пермиловском лесозаводе, потом служил в армии, потом пришел на Адмиралтейский завод фрезеровщиком. Фрезеровщик — профессия очень интересная, кстати. Был я такой всполошливый, энергичный. Вместо того, чтобы стоять у станка фрезерного и делать атомные лодки, я занимался общественной работой: выпускал стенгазету, потом в КВН ребят собирал своего цеха, писал в газету заметки, в Адмиралтейскую многотиражку. Поступил на журфак университета. У меня уже стали выходить эфиры на ленинградском радио. Ещё немножко, и взяли бы инструктором в комсомол, и там глядишь, в райком комсомола... Но я увидел, как засасывает и затаскивает человека в номенклатуру и понял, как делаются догматики-фарисеи. И я об этом сказал со своего опыта.

Как сказали? Обличили их подобно Аввакуму?

На втором курсе собрание было, и я встал да и просто заявил, что Комсомол нужно разогнать, потому что он разлагает молодёжь. Я прочувствовал, что сюда рвутся люди, не готовые к конкретному труду, пустозвоны такие... Все подумали, что я тронулся.

Тогда-то я инстинктивно догадался, а всё обнаружилось в 1991 году: именно выходцы из комсомольской верхушки стали первыми, кто схватил власть и капиталы, и сокрушил государство. Даже партийные секретари были более крепкими и более чистыми, чем эта «молодыжка» развратная, потому что сама система их развращала: пьянки, девки, близость к деньгам, загранпоездки, фальшь... Внутренне будучи слабыми, они поломались. Мой путь был туда тоже... Из рабочего — туда. Но я спасся!

А вы рано стали писать?

Скажу один случай, который впоследствии подсказал мне, что какая-то во мне бродила смущённость и смятенность. Когда я учился в техникуме лесотехническом, ездили мы на практику. Жили в избе деревенской у охотника, который убил тридцать три медведя, красивый такой тип. И он мне рассказал историю про дезертира, как он убежал в 1914 году из армии и жил в избушке. Жена ночью зимой ходила к нему, носила еду.

Почти распутинское «Живи и помни»...

А однажды она пришла — это 10 километров от деревни — а он повесился. Она разобрала доски, выдолбила яму под полом и там его похоронила, а потом уехала. Меня поразил этот подвиг женщины. Надо же иметь такую крепкую русскую крестьянскую натуру, не бояться в тайгу прийти, волки кругом, а там висит муж. А избушка охотничья — она же маленькая, висит муж, снять его, выдолбить ямку, захоронить, и с детьми уехать из деревни. Я написал об этом в тетрадке ученической и послал в «Юность». Из «Юности» пришёл ответ: «Спасибо, работа слабая, но работайте».

И вот я понял теперь-то задним умом, что во мне тогда что-то уже бродило. Потом всё это во мне заглохло. После армии начал писать стихи. Поступил в Горный институт, работал. Брат пришёл ко мне, он тоже жил в Ленинграде, прочитал мои стихи и говорит: «Слушай, зачем тебе разведка месторождений? Как бродяга, будешь скитаться по горам, по тайге... Поступай на журналистику. Стихи же пишешь». Ну, я и пошел на журналистику, поступил. Это был второй этап.

Я писал довольно много стихов, публиковались. Даже хотел сборник издавать. Но потом выкинул эту графоманию.

Прям графоманию?

Графоман я был, графоман. Работал на радио, писал полотна радишные. Мне один знакомый писатель говорит: «Володя, что с тобой случилось? Ты же был графоман». Я говорю: «Сам не знаю». Например, я писал, когда работал в университете: «Зори, как алые стрелецкие кафтаны». Вот это первый признак графомании!

По-моему, мило.

Графомания! Ярко вроде бы, но отстранённый совершенно от жизни образ. Придуманно в голове. Графоман придумывает. А писатель черпает из самой глубины жизни.

Но у вас вся проза нарядная.

Это да, слово должно быть красно украшенное.

«Светло светлое и красно украшенное», как наша земля из древнерусского текста?

Ага. И это зависит только от психики. Я ведь не специально так. А вот это затягивает...

Когда вы поняли, что начались как писатель?

Откуда-то что-то берётся в человеке... Вот говорят: «Бог потрогал его ладонью по голове». Так точно и случилось. Могут быть варианты: или Бог погладил, или упасть виском, или кувалдочкой по голове дали.

Своего рода помешательство?

Стал слышать внутри себя музыку. Возникла тонкая музыка. Музыка создает литератора, музыка. И слова, которые казались неинтересными, вдруг приобрели новое звучание под эту музыку.

И вы нашли тему — русского Севера?

Я же с Севера родом. Как раз появилась повесть «Привычное дело» Белова, это 1966 год. Я работал на радио, прочитал эту повесть, и меня поразило, с какой любовью он написал о самом простом. Там были те слова, в которых я жил. Да я же в этом мире сам жил, у Белого моря. И эти слова вдруг наполнились такой красотой, таким смыслом. И случилась внутри меня какая-то революция. Революция духа. Я тогда был неверующий, в церковь ещё не ходил. Но произошло какое-то преобразование в человеке...

Вам довелось пообщаться с легендарным писателем русского Севера Борисом Шергиным.

С Шергиным я встречался за два года до его смерти. Он здесь жил в Москве, на бульваре. Старичок в рубахе, в отопках таких...

В отопках?

В калишках.

В калишках?

В обрезках валенок. Плешивый, костистый старичок. Огромные глаза, светло-голубые, слепые, и два огромных уха. Радушно встретил: «Володенька, пой-

дём чайком угощу!» Он жил одиноко. Ему ногу трамваем отрезало в молодости, и он не женился никогда. Девушка ему отказала, и он дал обет девства. Когда мы познакомились, он уже десять лет был совершенно слепой. У него каждый сантиметр был руками и подошвами ощупан. Окно завешено солдатским одеялом, солдатская койка, полочка, этажерка, а на стенке фотография маленькая: он с Кривополеновой Марьей Дмитриевной, сказочницей. Он чайник достал, печенья пачку. А я решил нарисовать его, и говорю: «Борис Викторович, тут ваш портрет». И придвигаю ему блокнот с рисунком, он взял так перстами, тонкие, длинные пальцы, чувствительные, он сам был художник тоже ведь, щупает: «Ой, Володенька, как похоже-то!» (*Смеётся*).

Я читал вашу первую повесть.

Ты читал, да? Я писал её в общежитии на тумбочке, жили в комнате пять человек нас, журналистов. Они все хохотали надо мной. «Белая горница».

Красочная вещь.

Я даже не знал, как показать объяснение в любви. Она сказала: «Я тебя люблю», а я не знал, как надо ответить. Она говорит: «Я тебя люблю». А что же надо в ответ-то написать? Я мучился. Но надо было написать так, как в жизни: «Я тебя тоже». Но это было так сложно!

Повесть у меня сразу напечатали. Маленькая, четыре с половиной листа. И её так встретили — Фёдор Абрамов, Василий Белов — с таким триумфом, как будто это явление. Я до сих пор не понимал, в чём дело. И только теперь понимаю. Если нынешнее культурное поле совершенно заращено сорняками, то тогда оно чистыми русскими душами так вспахано было, что каждое более-менее годящееся произведение рассматривалось любопытным взглядом, как какой-то овощ хороший. Сразу выдирали и рассматривали: «Боже мой, да это можно есть». И поэтому на этом культурном поле мой овощ оказался съедобен.

И так меня сразу подняли, с крохотной повестушки, и возбудили меня. «Это русское явление». Все говорят: «Володя, пиши. Володя, пиши». Белов-то был уже знаменитым, Абрамов-то, вообще, блистал.

Кстати, все деревенские литераторы были мелкие.

По росту?

По росту, да. Ну мороз прибил что ли всех. Это всё северяне, деревенщина, худо одетая, ходила в рамках. Это всё одного покроя люди, неказистые, неприглядные. Но они духовные богатыри, конечно, ну что ты. Белов, Распутин, Астафьев, Балашов, Абрамов...

Вы к 80-летию получили премию «Чистая книга» имени Фёдора Абрамова. Как бы он, интересно, к этому отнёсся?

Я думаю, что не очень. Я с ним постоянно вздорил, спорил. В суровых мы были отношениях.

Хотя он был незлопамятен. И когда мы с ним крепко схватывались, на следующий день, встречая, он уже меня целовал первый.

Абрамов — выдающийся русский человек, и этим всё сказано. Боец и борец, печальник и жалостник. Если сказать, что его все любили, это будет неправда.

Он, по-северному говоря, уросливый был.

Уросливый?

Строптивый. Был дерзко суров. Он не любил тех, кто вял, криводушен. Он не говорил, он просто кричал. Он пытался докричаться. И после таких выступлений выходил весь испепленный. Он и сгорел из-за своего характера, из-за сво-

ей несдержанности. Был он крепок внешне, сухой, горячий, но он просто не мог остыть. Он был, кстати, самый настоящий убеждённый партийный человек, русский коммунист. Это сейчас считается за недостаток, а раньше для очень многих это было огромное достоинство.

Я его и хоронил, из Ленинграда вёз в Архангельск, и до села Веркола... И весь путь плакал. Я как заплакал, так и не мог остановиться. Потом в деревне давай плакать, плачу и плачу, и плачу. Бедный Фёдор, бедный Фёдор! Потом раз — глаза поднял, а напротив меня сидит Крупин Володя — это мой антипод — с сухим бесстрастным лицом и что-то торопливо пишет в записную книжку, сосредоточенно так. Ну я думаю: вот человек какой, работяга, нет бы всплакнуть... Ну думаю потом оплодится большим очерком или даже романом, а всё в нём втуне осело.

Но весь народ плакал. Ночь, темнота, и вот старухи причитывают, вопленицы. В темноте это жутко всё слышится, понимаешь? Сразу вспоминаешь старину... Так плакали сто лет назад, двести, пятьсот, тысячу лет. С воплями.

Да, Абрамов мою первую повесть крепко поддержал. А потом я стал думать: «Я её даже, эту повесть, не перепечатаю. Для меня это стыдно».

А я вот кое-что выписал оттуда. «Небо, сероватое в морозной колкой пыли, было, однако, чисто от туч. По закрайкам оно покрылось пронзительной зеленью, и редкие нити багровой зари прошили её насквозь... И во всём этом была какая-то жестокая красота... И было похоже море на громадное кладбище». Звучит чарующе.

Как и что пишется видимо уже зависит от психики человеческой. Конечно, только от психики.

Некоторые любят писать в простоте и так выстраивают слова, что они простые, приобретают какие-то особые окраски. Вот как Казаков, например, Юрий. У него совершенно простые слова, но тайной музыкой так они освещаются, что проза его становится необыкновенной. Музыка любви так освещает текст этот, что он становится притягательным и волнующим.

Но есть другой тип людей, у которых душа по-другому устроена. И это может быть крестьянская душа. Наверно, я из той части крестьян, что ничего не может сказать в простоте.

А когда я читаю обычный текст, меня он раздражает. Почему? Иногда простую прозу спасает музыка, но в массе-то своей литература без этой музыки. Это становится просто журналистикой, в которой присутствует только информация. Такие писатели говорят: «Главное — идея, главное — информация. А слово — вторично». Но литература — это именно язык. Без языка нет литературы, потому что все, что присутствует в природе живой, сосредоточено в слове, как в живом организме.

Но вот что-то мне не позволяет — просто, по-простому я не могу сказать. Я даже когда с тобой разговариваю, это подсознательно понимаю.

Но вы отлично передаёте живую народную речь, часто совсем простецкую.

А мне всё равно хочется сказать как-то извилисто, макарониной такой...

И при том всё равно я чувствую, что их мало, слов-то. Мне говорят: «Вот как у тебя много слов». Я говорю: «Да слов-то так мало, но мне хочется их откуда-то добыть». Мне говорят: «Но ты же, наверное, добываешь из словарей?».

Предвосхищаете мой вопрос.

Я говорю: «Словарей-то у меня и нет». Многие и думают так, мне и Маканин говорил: «Ты сидишь, обложившись словарями, из одного слово, из другого слово

выдернешь». Ага! Я ему: «А ты попробуй. Хоть миллион словарей ты раскрой».

А тогда откуда эти стародавние волшебные слова, которые только в словаре и встретишь?

Откуда неизвестно... Они приходят откуда-то, как в наследство, от былых родов. Ты понимаешь? Ты спроси, а я их не знаю. Они вспыхивают и приходят откуда-то на помощь твоей душе. Душа косноязычна, а эти слова напояют душу, освобождают её от плесени, волнуют и оседают в ней.

Мне один знакомый еврей сказал: «Куда бы мне, Володя, поехать, чтоб слов таких поднахвататься?» Эти слова где-то живут в человеке. Я писал сначала обыкновенно, посконно. Но когда сидишь на страничке, они всплывают сами.

Из этого возбуждения и происходит моя языковая страсть, извилистая такая... Мне всё время хочется не просто одним словом изобразить, а подобрать ещё метафору, и ещё, и ещё, чтобы получился водоворот такой, карусель такая... Мне всё кажется, этого слова, одной метафоры мало, она не точно объясняет нечто внутреннее, не внешнее, а подспудное. Ещё добавить, ещё! Потом что-то останавливается. Я скорее точку с запятой ставлю, чтобы прекратить эту карусель.

У народа столько образов! Сочинить образ, как рюмку выпить. Или — берётся корень, приставка. Приза-... Призадумался. Это же чисто народное. И входишь в азарт хмельной...

Мне кажется, вы не только обращаетесь к священной архаике, но и занимаетесь живым словотворчеством... Неологизм тоже может очистить душу?

В романе «Беглец из рая» — я считаю, что возможно это моя лучшая вещь — герой изобретает слово. Там есть идея возможности уничтожения словом греха. Создать какую-то форму звуков, их сбить в одно предложение, которое так воздействует на человека, что если сказать его миллион раз, оно переменяет человека из ничтожного в божеского.

А вы много редактировали свои тексты или сразу писали набело?

Раньше я старался, это сейчас уже сил нет, да и никто не хочет, не ждёт. Раньше звонили из издательства: «Что нового?». Да, побуждали писать. Сейчас не ждут, не побуждают.

Ждут! Наверняка, от руки пишете?

А вот и нет, раньше — на машинке, а теперь на компьютере. Я современный в этом смысле человек. Я считаю, что это ерунда, что надо писать от руки. Якобы рука что-то передает. Рука — это придаточная функция. Пишет душа и голова. Можно писать ногой, между прочим, зубами, ртом, чем хочешь писать...

Компьютер — механизм дьявольский, но хорош тем, что если слово плохое, раз его, и вычистил. А от руки пишу, когда мысль какая заполошная пришла и надо срочно занести. Зато у меня есть всегда много всякого материала. Стол завален бумагами — это всё называется «мясо». Когда я писал роман «Раскол», у меня этого мяса было 1200 страниц. Современная тема, тоже мясо нужно всяческое, часто своё. Отсюда, от груди, от живота, где висит, везде отрежешь и сочинишь. Как Гоголь. Гоголь ведь, прежде чем сочинять, писал на родину: «Пошлите мне какие-то события, кто в чём ходил, что ел».

Потому что должно быть абсолютно всё достоверно, в каждой записи. Почему мне нынешняя проза у большинства не нравится — потому что у них нет достоверной жизни, они сидят и из пальца высасывают. Надо отвечать за слова. Например, у Астафьева в одной новелле, а он уже, казалось, всё знал, Астафьев: «И в головах поставили крест», но крест-то ставят не в головах, а в ногах. Вроде

всё знал, а вот ещё: «Громко пел глухарь» — тоже у него я вычитал. Но глухарь так поет, что его с нескольких шагов не услышишь: «тек, тек, тек» — он поет. Поют тетерева, которых далеко слышно, они так «ля-ля-ля-ля», вот это тетерева. А глухарь токует едва слышно.

Нет, мне без мяса никак. Иной раз тону в материале... А к Проханову придёшь, он пишет роман, а стол чистый, как этот паркет. Ничего, ни одной бумажки. Как он пишет — Бог его знает.

Было такое «поколение сорокалетних», к которому вы относились: Проханов, Ким, Маканин, Киреев... Критик Владимир Бондаренко тогда раздал среди вас анкету, в которой Владимир Крупин написал: «Мы все дружим, кроме Личутина и Проханова. Только они борются друг с другом». Понятно, это было столкновение вашего природного, деревенского и прохановского технократического — заводы и ракеты...

А теперь чисто в человеческом, дружеском отношении, наверно, ближе всего мы с Прохановым. Я думаю, в Проханове сохраняются корневые черты русского народа. Это пламенность и при этом простодушие.

В 1993 году после расстрела Парламента и разгрома газеты «День» Проханов, Бондаренко и поэт Евгений Нефёдов скрывались у вас в деревне.

Я это частенько вспоминаю. Помню, всмотрелся в сторону леса, откуда выныривала в деревню песчаная дорога. Простор такой, запах такой, солнце откуда-то вылупилось, вылезло... А серёдкой улицы бойко шли чужаки. Люди приблизились, поднялись на взгорок, до них уже рукой достать, а я всё не мог признать их. Шли трое незнакомцев, как бы припорошенные голубым сиянием, головами в самое небо. Я поспешил навстречу, уже признавая родных людей, но не веря чуду. Господи, ну откуда могли взяться они на краю света... Ведь только что видел я на экране лохматые копны чёрного дыма, танки... Потом мы по лесу бродили, жарили грибы... Вспоминается, вдруг сообщили по телевизору: «Арестован Проханов». «Го-го-го! — заливался Бондаренко. — Слышь, Проханчик, они тебя сцапали, а ты тут водку жрёшь». — «Тут моя тень...» — «Может и тень, но она ест и пьёт, — смеялся Бондаренко. — Нет, я им так просто не дам. Я не свинья, чтобы самому на убой... Заберёмся поглубже в лес, выроем землянку, Личутка харч будет носить». — «Каждый русский хоть однажды бывал в бегах, — сказал Проханов и просветлел. — Кто в душе, кто в мыслях, кто наяву».

А со многими распалась у вас дружба после краха Советского Союза?

Оселок — отношение к простому русскому человеку.

Возьмём тех же тобой упомянутых сорокалетних писателей. Мы были и дружны, и близки на основе внутреннего, тайного неприятия советского догматизма. Мы не могли стать отщепенцами, нам претило по натуре диссидентство. Мы не были советские, но мы были русские люди. А потом вот эта русскость у некоторых из нас сползала постепенно в диссидентство и в союз с новоявленными демократами. У меня с Маканиным, с Курчаткиным были замечательные, очень хорошие отношения, пьянствовали вместе, потом они, по моему мнению, сползли в сторонники всяких антисистем. И ведь не то, чтобы они худо знали русскую жизнь или деревню...

То же самое случилось, между прочим, с Астафьевым Виктором Петровичем.

Вы были в хороших отношениях?

Мы были с ним в хороших отношениях... Он глубоким заступом вспахал словесную пашню, и перевернул, и я был в него влюблён прямо... Настолько он пылко и горячо писал... Вот чисто народная говоря.

Говоря?

Да... Кто работал много со словом, так это, конечно, Виктор Петрович. Ну просто нас с ним развела судьба.

Я прочитал когда его «Царь-рыбу», это был 1976 год, меня поразила эта разрушающая работа. Там было такое неприятие народа: главный герой — отвратительный браконьер, у которого много ловушек. Чёрт-де что понаписано, такой гадости, такая антирусская чернуха. Я просто был оскорблен этим романом, а Астафьев приехал в Москву и говорит: «Пойдем, Володя, есть блины с икрой». И мы пошли в ресторан, на нынешней Тверской, белоснежные салфетки, кушанья, блины с икрой. Водочку заказали. Ну, поддали, я на язык человек такой суматошный. Ну заговорили, я ему и говорю: «Виктор Петрович, почему вы так ненавидите русский народ?» Он вспыхнул: «Откуда это?» — «Ну вот у тебя в «Царь-рыбе», — говорю, — все написано. За что так?» Он вспыхнул и книгу подписал: «Горячей голове от горячего сердца». Всё, водку допили, и пошли. С той поры года два он со мной не здоровался. Не здоровался.

Вот так ссорятся русские люди.

Это не ссора, это есть постижение истины.

Но ведь была же в его прозе боль за народ?

Да, была... Дальше. Мы поехали на Севера, это уже в 80-м году, была большая делегация, и я там выступаю, и сказал, что «Последний поклон» Астафьева должен быть в каждой русской избе, как Евангелие. Он подошёл и мы расцеловались.

Чтобы после опять рассориться?

И это не есть ссора. Это есть борьба за убеждения, за истины, глубокие истины. Он совсем искривился, когда написал «Печальный детектив», и тогда глубоко нравственно упал. И каким закончилось отвращением к народу! Вы помните его завещание с проклятиями? Это страшное явление, между прочим.

Виктор Петрович очень талантливый человек от природы. Но он как-то вот был взбалмошный такой. И при том его воспитала таким советская власть, что он чувствовал себя богом на земле. Уже ему никто ничего не скажи! Он всё знал, всех учил, он всех проклинал... Только безумный человек может проклинать свою победу.

У вас в «Белой горнице» монашенки-беспоповки, как злые ведьмы, оставляют свёрток с младенцем в лесу... Тоже можно обвинить в очернении русских старообрядцев.

Да ладно! Я знал одну, так она двух детей закопала в болоте. А что делать, куда деваться? Незамужняя. А знаешь, иначе какие разговоры по деревне. Жить не захочешь! Дёгтем ворота будут мазать.

А одна хорошая старушка поморская мне рассказывала: «Пришли двое мужиков. Я их убила, и в печи русской сожгла». Я понял по разговору, что это были белые.

А вообще, у меня характер дурной, вот я со всеми и рассорился. Тяжело ко мне относились, я дурак, лезу с упрёками. Белов юбилей праздновал, спрашивают: «Почему Личутина нет?» — «Его пригласи, он начнёт спорить». Но зато перед смертью он ко мне воспылал такой любовью! Я приезжал к нему, целовал, обнимал...

А у вас менялись взгляды?

Да, некоторая трансформация взглядов произошла. Я был скептически настроен к коммунистическим догмам, а когда пришли к власти демократы, я увидел, что это пришли новые бесы.

Я тяжело выживал с семьей, маленькие дети, хозяйство... Я участвовал в газете Проханова, потому что органически не приемлю жадной до власти и денег орды. Прямо стая волков накинута на овечью отару, и начали хватать и резать. Этот инстинкт охватил и тех людей, которым сыто пилось и елось при прежней власти. Фарисейство, подлость внутренняя, желание предать... Самое смешное, что коммунисты, с которыми я сталкивался тогда, оказались более чисты и последовательны, гораздо человечнее и совестливее. Именно они были из сердцевины народа.

А над простыми людьми и историей страны насмехались некоторые из интеллигентской прослойки, уже размягченной, изнеженной и развращенной... Гуманитарии-демагоги, чей вид у меня вызывал чувство рвоты.

У них червь пренебрежения к русскому человеку выедал душу. Они даже этого не осознавали. Простец для них — это навоз или чернозем, на который можно наступать ногой.

Но разошелся я и с простыми. Почему мы тогда разошлись с Курчаткиным Анатолием? Он-то был хороший человек из народа, писатель крепкой выделки, и вдруг из-за его очков, на которые наступили (*писателю Анатолию Курчаткину разбили очки 18 января 1990 года во время потасовки на вечере в Центральном Доме Литераторов либеральной литературной группы «Апрель» и русских националистов из общества «Память» — С.Ш.*) пострадал человек (*предводитель националистов Константин Остаивили, приговоренный к двум годам лишения свободы — С.Ш.*), его повесили перед освобождением. Вот такая вот, казалось бы, водевильная история с очками закончилась такой трагедией.

У вас двое сыновей. Как детей надо воспитывать?

По Домострою надо.

То есть пороть?

Да... Тот кто не бьет своё дитя, тот не попадет в Царствие Небесное.

А вы били?

Как бил?... Раньше это были правила, а теперь всё утрачено. Раньше старик-отец, которому шестьдесят, бил своего сына, которому сорок. «Ложись на лавку. Снимай штаны». И лупил его. И тот ложился покорно, и потом говорил: «Спасибо, папаша». А теперь: «Не тронь, нельзя, всё для детей, ребёнок само совершенство». А надо: всё для стариков. А у ребёнка ещё ничего нет, пустой сосуд. Чтоб его заполнить, нужна гигантская работа.

Если родители будут податливы друг к другу, то и дети к ним. Из самолюбия ребёнок вступает в сопротивление. Я полагаю, он и в утробе уже может чувствовать несогласие. Раньше считалось: восемнадцать лет — уже перестарок, в шестнадцать надо родить, ещё в чистоте, когда не бродила, никаких поскакушек, только хороводы...

А вас били?

Мать однажды хотела ремнём налупить, несговорчивого, непослушного. А я убежал от неё... «Вернись!» И не смогла догнать.

У вас есть очерк про художника-самоеда Тыко Вылко и открывшего его Владимира Русанова, моего предка. Мне дороги ваши слова о моём родственнике, хочу их перечитать вслух: «Белолицый и рыжебородый, в шляпе и коротком ватнике, подпоясанном патронташем, сошёл на остров человек, в жилах которого текла кровь странника и землепроходца, который станет известен России и миру как бесстрашный путешественник и даровитый учёный, нашедший себе могилу во льдах Арктики».

Да, было дело. Яркая личность, добавил славу России. Помню, приехал писать обо всём об этом, и о Тыко Вылке Юрий Казаков. Он прочитал этот мой очерк про Тыко и твоего предка и позвал знакомиться. Сидит в номере, пьянствует. Поговорили мы, но так он до Новой Земли и не доехал, вернулся в Москву, но особенная печать лежит на большом литераторе — выдал прекрасный материал. Всё понял, не выходя из номера. Вдобавок к нему Бог послал человека, которого в детстве с отцом, русским промышленником, в метель спас от гибели Вылка. И этот человек всё рассказал Казакову.

Кстати, они рядом в Заполярье — мыс Русанова и остров Личутина.

У меня есть друг по фамилии Мороз, землепроходец и водолаз. Мы ещё незнакомы были, и он в дорогу взял роман «Любостай». Шли они по морю, и тут метель обрушилась, и они пристали к острову Личутина, чтоб переждать непогоду. И на острове Личутина ночью под снежный вой он читал Личутина. А знаешь как мы познакомились? Мороз-то богомольный, и ему один батюшка сказал: «Поезжай к Личутину». А время было тяжёлое, 90-е, жил я в деревне, гонораров никаких, денег иногда даже на хлеб не было, семья, маленькие дети. Вдруг стук в дверь. Стоит здоровенный мужик с огромной бородой, глаза пронзительные, вылитый пугачёвец. Сейчас кистень выхватит и раздвоит мою черепушку бедную. Заговорил, а голос текучий: «Меня к вам послал священник». И помог мне маленько.

Вы поздно крестились?

Несколько раз меня пытались крестить. И перед самым посвящением я уходил. И вот Валентин Курбатов, уже во второй раз, привёз меня в Псково-Печерский монастырь... Отец Зенон поместил меня перед крещением в бывший капустный погреб, где хранилась прежде зеляница: квашеная капуста, огурцы. Этот погреб превратился в своеобразную гостиничку. Там были белёные стены, люк, сороконожки ползали, что меня ужасно угнетало: большие такие, чёрные струились. Сiju в добровольном заточении, и вдруг открывается люк. Сапоги рыжие стоптанные показываются, ряска старенькая бьёт по голенищам: монашек спускается своеобразный, светленький лицом, с бутылкой вина. Это был архимандрит Таврион. Разлил по стаканам вино, и стали мы беседовать о Боге, о вере... Он научил: «Знай одну молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, прости меня, грешного»». И ещё сказал: «Раз ты в этом погребе сидишь, значит Бог в тебе. Иначе бы ты в этом погребе не сидел». Крестили в студёной речной воде, погружением...

Многие годы вы были отлучены от центральных каналов, вас любили читатели, но не замечала власть и не показывали по ТВ. Что сейчас?

Ничего совершенно! Обструкции я предан давно. Я даже гордился тем, что у меня нет никакой награды от советской власти. Меня и тогда притужали. Значит, я какой-то особенный человек, не пал на колени, не стал лизоблюдом. Натура я притязательная, вспыльчивая. Неуслужлив в словах. Причем меня же двенадцать лет не печатал ни один советский журнал! Одни из-за того, что антисоветчина, другие из-за того, что религиозные взгляды.

И теперь опять то же самое, ни один журнал меня не печатает, и даже когда мне вручили правительственную премию, то нигде не было извещено. На телевидении меня не упомянули, в газетах всех вычеркнули. Знакомый меня за всё это время пригласил один раз в телепередачу, я там сказал всего двадцать слов, и он

мне признался: «Каких трудов стоило мне тебя пропихнуть на телевидение!» Всё продолжается. Я не знаю, в чём там дело...

Но в природе всё движется определённой чередой. Всё вырастает, дряхлеет, появляется подрост, и подрост должен подавить старьё, покрыть его мхом, чтобы его забыли. Такова участь всего живого в природе. Другое дело — вот лежит трупище окаянное, что было деревом, и если пробадаются сквозь землю молодые ёлочки и берёзки, то это продолжение. А каким оно будет, продолжение мною сочинённого и содеянного, мне неизвестно...

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Плакали чайки

О ПРОЗЕ АНДРЕЯ АНТИПИНА

Резкий птичий крик порвал утреннее безмолвие. За окном гостиницы — ни души. Ни домов, ни крыш — только небо. Серая плотная тишь и остановившийся в ней звук, словно росчерк пера на сером. Невидимая петербургская чайка осталась в памяти звуком, криком о помощи. Зовом чьей-то души. Запечатлелась неизбывным одиночеством.

Андрей Антипин вошел в литературу с вопросом «Зачем?»¹. С тем самым, с каким вошел в литературу Валентин Распутин. В его зарисовке «Старая охотница»², опубликованной следом за первым рассказом «Я забыл спросить у Алёшки...»³ в тот же год вопрос «зачем?» повторяется десять раз, настойчиво утверждая главное. Вопросы двух писателей, поставленные с разницей в сорок пять лет, включаются в традицию русской классической литературы с ее потребностью ставить вопросы о мире и месте человека в нем, о судьбе России, о смысле жизни. У Распутина и Антипина они касаются и социального, и родного, и вселенского. Задавая простой и очевидный вопрос всем, кого видит, и себе в первую очередь, старая охотница в рассказе Валентина Распутина старается понять смысл войны на земле, связь живого с живым, суть человека. Ее собственная гармония с природой, слияние с ней противятся признанию зла в мире. Так же как и противится ему и не понимает его герой первого рассказа Андрея Антипина. Юноша, вышедший из первоначального рая благодарных отношений человека и тайги, не принимает разрушение природы людьми. Трагизм человеческой жизни, нечаянно коснувшийся молодой души, направляет ее по пути обретения земной мудрости.

Оба первых героя Распутина и Антипина пришли к читателю из мира гармонии человека и космоса, человека и тайги. Из древнейшего соединения с миром и восприятия себя как части неделимого целого. Из мира смирения человека перед величием природы, из трепетного и бережного согласия с тем, что вечно. Оба героя пытаются постичь диалектику разрушительного отношения к себе как части этого целого. Вопросы, которые ставят герои, адресованы всем, кто живет и будет жить на Земле. Фактически они о том, будет ли продолжаться жизнь человечества дальше.

В повести Андрея Антипина «Плакали чайки»⁴ (2012) не сразу и понимаешь, что действие происходит в День Победы. Ругаясь со стариком, старуха собирается в город к детям, чтобы пожаловаться там на него и тем утешиться. Руки Ивана Матвеевича ходят хodorом, пытаясь сладить с самокруткой — неотступно тянет курить. Вспоминаются прошлые праздники, такие же нападения старухи, приехавшая по наговору матери, стыдящая отца Катеринка и скинутый с гвоздя пиджак с медалями. Старого фронтовика, ветерана войны читатель видит глазами жены — пьющим, похваляющимся наградами, драчливым, тяжелым с похмелья.

¹ Антипин, А. Зачем?... : рассказ // Сибирь. — 2006. — № 4. — Электрон. версия печат. публ. — Сайт: Хроники Приангарья.

² Распутин, В. Старая охотница : зарисовка // Ангара. — 1961. — № 3. — С. 107-109.

³ Распутин, В. Я забыл спросить у Алёшки... : рассказ // Ангара. — Иркутск, 1961. — С. 84-88.

⁴ Антипин, А. Плакали чайки : повесть // Наши современники. — 2012. — № 1. — С. 6-29.

Но сцены обвинений пронизаны внимательным взглядом думающего человека, глядящего на жену с любовью и жалостью, и оправдывающего перед самим собой свои поступки. Сталкиваются позорящие старика слова «срамотина последняя», «паразит», «чурка» и по-мужски ласковые думы старика: «И была она вся справная, с крупным задом, и столько в ней ещё было деятельности, что его, верно, соплёй могла перебить». Из фарса появляется трагедия. И понимание того, что у одной — тяжелая усталость от пьянства и буйства, у другого — долгая обида за первую семью жены. Двойное видение ситуации сталкивает и равняет две правды, и не только мужчины и женщины, но любви и отвержения, обостряет драматизм двух судеб, сплетенных воедино и согнутых историей.

Психологически убедительно в образе старого фронтовика изображается состояние опустошения души, ощущение брошенности, ненужности, чувство потери чего-то главного, родного в жизни. «Лошадь, от мошки и слепней завалась в траву, так же катается, хрипит и бьёт ногами, как душа Ивана Матвеевича, жалимая думками». Это состояние, которое возникло сразу после отъезда дочери в город, в университет. Старик признается себе: «словно все четвертинки, куда раньше слепило солнце, выбили в избе, наполнив её стылым ветром, неуютом и необжитостью, заброшенностью детских игрушек, которые он дочке на потеху когда-то строгал из весенней сладкой берёзы». Это состояние годами собиралось из боли, давно саднящей воспоминаниями о войне, и из боли, какой ранит его нынешняя жизнь. «И чем бы ни наполнилась голова, о чём бы ни тужило сердце — главной тяжестью была эта непроходящая боль, а уж за ней вставали рядом другие боли. Эти только ныли, только зудели, только шпыняли, не пробирая до души, не поворачивали её только на себя, не вставали над бедной, как рваная свинцовая туча над ободранной ранней пашней, не загоняли стервятниками... Но и исклёванная, с красными от выплаканной крови бельмами, ни на одну боль, кроме боли о поруганной русской земле, не оборачивалась душа так преданно и по-женски безропотно!». Сюжет повести раскрывает причину душевной боли старика во всей жестокой полноте.

Медали и ордена на пиджаке ветерана очеловечены. Они как герой рассказа, как сам старый солдат, проживают, проходят свой жизненный путь. Вначале повести пиджак с наградами сброшен с гвоздя, оказывается в руках жены Ивана Матвеевича. «Гремели медали — старуха, как шелудивого пьяницу за шкурку, поддевала за тесёмку униженный пиджак, потрясала им в воздухе, будто телом повешенного». И хотя в своих думах Иван Матвеевич считает, что бои захватили его только краем, и, словно за ним следил Бог, из пекла он вышел без ранения, но в выступлении руководителя краеведов объясняются его боевые заслуги. Первый орден Красной Звезды был получен им за уничтожение дота под Выборгом, второй — за отражение атаки немцев, в конце войны получены медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». Торжественный митинг около поселковой школы — триумф славы старого солдата, кульминация в повести истории с наградами. Свидетельство подвига. Но сюжет завершается глумлением над орденами, ставшими товаром для нового поколения. У старого солдата отнимают не только жизнь, у него отнимают славу воина-победителя. «Кто-то, смрадно дыша, надвинулся на него и заглянул в лицо, шаря по груди. <...> О, да не сердце его искали, чтобы проверить, бьётся оно или нет, а паршивые железки срывали с пиджака!». Их-то он и защищал, жертвуя жизнью. Награды повторяют судьбу самого фронтовика, переживая и славу, и унижения, и гибель. «Его боевые заслуги,

мёртво блестя в мокрой траве, валялись среди пивных пробок <...>». Они умирают вместе с солдатом.

Мотив святости присутствует в повести, касаясь всего, что дорого главному герою в жизни — радость Победы и праздника, рождение дочери, принесение ее в дом, приезд взрослой Катеринки, память о павших солдатах, воспоминания о войне. «Сам же он всю жизнь бережно хранил в себе воспоминания о священной, даже не хранил — они сами, своей волей всегда и всюду были при нём. <...> Остарев в остаток, застыв перед гробом в ярости выстывающей седины, он, как минувшее утро, помнил всё: пыль и духоту землянок, осеннюю кисейную мокреть и вязкую грязь передовых, звёздный холод и огонь ночных рек, а более всего почему-то тёплую болотную воду в котелке, мутную от песка, который сыпался с потолка блиндажа, слаженного из неошкуренных сосёнок <...>». И самое дорогое и святое, хранимое глубоко, для старика — родина. Воспоминания Ивана Матвеевича о возвращении домой по-солдатски скупы, пронзительны единством страдания, надежды и радости. «Тая свою боль, забывая её для всех и не умея похоронить для себя, — как вчерашнее, милое, дорогое, перебирал Иван Матвеевич в памяти качание дощатого бортика грузовухи. Он всё дрожал, скрипел ржавым шарниром, хоть Славка и притормозил на своротке в село, — будто грузовуха прощалась с Иваном Матвеевичем, отлетая в другие края за мёртвыми, живыми ли побратимами-окопниками, по которым сомлела в девичьей непочатости родная земля. <...> Иван Матвеевич подогнул нашарканные в долгом пути голенища кирзовых сапог — последней “роскоши” войны — и, помахав Славке, оставаясь при дороге один, вдруг подкосился в ногах и ополз прямо на пыльную обочину, увидев небо — большое, светлое небо родины». В памяти солдата, вернувшегося с войны, осталось главное — родная земля и родное небо.

Образ синеглазой Катеринки неуловимо связан с образом родины. Та же «бельничья вербочка», та же любовь и та же потеря. Вроде бы дочь где-то есть, но ее нет рядом, вблизи. Катеринка выросла, живет в городе — отец обделен ее вниманием и любовью, ее виноватой преданностью, как обделен уважением и памятью окружающих людей на родине. Вместительным беспамятства, душевной черствости, корысти воспринимается образ перевозчика Петьки, расчетливого, грубого, циничного. Укоры старика не действуют на душу молодого человека, а лишь подогревают желание причинять старику боль, унижать его, смеяться над ним. Драматизм происходящего чувствительнее тем, что оскорбления звучат в праздник памяти и славы победителей, День Победы. Перепалка с Петькой после ссоры с женой дополняет страданием душу старика. Он получает еще одну рану в святой для него день.

Мотив памяти и забвения — ведущий в повести. Память фронтовика не позволяет забыть павших на войне «братишек-солдатишек». Эта память святая, сердечная и долгая, на всю жизнь. Об этом ветеран говорит школьникам на митинге, об этом и плачет. Но не видит Иван Матвеевич чистоты и искренности в фильмах о войне, с их просмотра он встает и уходит, в вопросах молодых журналистов, приезжающих к нему ежегодно накануне Дня Победы, в нынешних митингах, в отношениях детей и внуков к ветеранам, в отношении молодежи. Художественное выражение забвения, унижения, осмеяния подвигов воинов-победителей нарастает, копится образами-метафорами: с утра лихач чуть не своротил палисадник дома старика, другая машина едва не сбила его самого, после митинга сразу же снимают флаг и праздничный транспарант, а проволочные корзины с цветами

уже опрокинуты ветром, молодежь пьет пиво из банок, забавляясь дергушками на манер чеки, и глумливо останавливает старика, гукает, визжит, ревет музыка на береговой улице, а на реке для пьяной забавы ранена утка-чирушка. Пустозвонство «другой жизни, в которой ни побед, ни сражений стоящих не было и нет». Среди прочих метафор выделяется одна — груды мусора и плавучего хлама по берегам реки: горлышки бутылок в воде, целлофановые пакеты, старый диван с разбухшими подушками, сырые учебники с серыми иллюстрациями, ржавые трубы, обожжённые кирпичи, ломаный шифер, железные печки, облезшие шапки. Мусор рядом с человеком, рядом с домом — мусор, отсутствие чистоты в душе. Все признаки и знаки равнодушия к себе и родному дому, к пострадавшему в войне миру. «Как на чужой, полонённой и оскверняемой земле». Незримый фронт надвигается на читателя — наступает на святое и родное. Две войны — тогда и сейчас — с фашизмом на фронте и с собственным бездушием, безнравственностью, жестокостью зарифмованы в повести. В каждой из них свои герои и подвиги, но цель та же — спасти Россию. В каждой из них вел бои старый фронтовик Иван Матвеевич.

Ветеран войны видит мир по-прежнему глазами солдата: «приводя в боевую готовность», «в боях с “вражиной”», «сбила прицел и лупила куда ни попадя, а больше по своим», «оставив все рубежи», «пуговицы из разных дивизий», «норовит в тылы», «нужно остановить огонь» — таким, каким мир запомнился ему в годы молодости, отданные войне. Теперь он «седой, оставленный солдат ничейной армии», чужой на родине, в стране с перевернутыми ценностями. В повести настойчиво повторяется слово «последний», варьируется, колеблется от одного полюса к другому: «срамотина последняя», «все кругом кликали его последним ветераном», «последним из стольких красивых русских мужиков, которых когда-то встречало с Победой село!», «идти в бой за несмышлёншей из последних рядов, как редкую вещицу, снимавших его на телефоны», «он последний межевой столб между добром и злом, светом и тьмой», «последнюю графу мараю». И, как в молодости, старик выходит на передовую, чтобы принять бой с разрушителями живого — тайги, гнезд, невылупившихся птенцов, трав — осквернителями человеческого в себе и мире. С определением «последний» в повесть входит мотив ответственности за то, какой ценой получен мир и каким оставляет его человек. Конец повести как в зеркало смотрится в начало. Вначале — бои со старухой, неприязнь и отверженность солдата в родном доме, в конце — последний бой и гибель от руки человека, спасенного солдатом от войны, на собственной родной земле, освобожденной от захватчиков. Как «награда» потомков — лишение жизни и победных наград.

Остались без ответа вопросы, заданные фронтовиком то ли себе, в раздумьях, то ли школьникам на митинге. «Да только какую реку форсировать? Какие пути-дороги крыть солдатскими сапогами? Откуда усталому народу набраться сил и наголо разгромить беспамятство и сытость нищих душ?». Художественный мир повести наполнен семантическими перевертышами: герой — не герой, свои — чужие, война — мир, родина — оккупация, любовь — отчуждение, слава — неизвестность, память — забвение. Смысловые сдвиги образов, отражающие искажения нравственных ценностей, ответственности, памяти, благодарности, тревожат, отстраняют от привычного, заставляют посмотреть на происходящее вокруг по-другому, с позиции продолжения жизни, сохранения близкого и родного. Проза Антипина воспринимается как горькое лекарство от забвения и равнодушия.

И, наконец, последний штрих равнодушия людей в повести — крик чаек. «В воздухе над этим гиблым местом кружили серые чайки. Они вымелькивали в ненастной зге, плескали крыльями, будто клали белые кресты над павшим воином, сходились в небе и сверху, с укором взирая на стыдливо зазеленевшую после дождя землю, кричали и плакали навзрыд». Плач природы над своим заступником, старым ветераном, ранит контрастом со словами приехавшего на место преступления молодого следователя, удивившегося лишь величине птиц. Боль от потери человека почувствовали только птицы, да «дождь похоронными пятаками стучал в грудь» погибшего солдата. Чайки были рядом с главным героем с начала повести — весь День Победы, они и проводили его в последний путь.

Тема пробуждения души выделяется среди других в повести Андрея Антипина «Горькая трава»⁵ (2013). Повесть богата сюжетами, судьбами, персонажами, многие из которых изображают крайнее, невозвратное падение человека. Горькие травы вплетают в венок разные горькие судьбы. И только одна судьба — главного героя — дарит чудо спасения. Предметный мир в повести удивительно очеловечен. И не просто понять, где кончается человек и начинается вещь. «В Харётах он состоял в шоферах при молочной ферме, возил полный кузовок баб и бидонов, бил тех и других на кочках-буераках, и бабы стучали черпаками в кабину, а бидоны гремели крышками и плевали молоком...». Сплав пересекающихся значений затейлив, и почти не различимо, кто кого бил, кто стучал черпаками и гремел, а кто плевался. Возможно, и те, и другие. То же можно сказать и о главном герое повести, по своему образу жизни мало отличающемся от вещи, потерянной хозяином. «Крутил», «зевал», «конюшил», «вололся по свету, как сбитая полынь по ветру, пил да безобразил, телепался по осенним лужам босой», женился, развёлся, кочевал по стране — не было «душе вдохновенья». Доверчивый, искренний, понимающий все буквально, вызывающий недовольство, смех, раздражение. Не привязанный ни к дому, ни к семье, ни к жизненным принципам.

Но искал себя в дорогах, блужданиях по России: бил соль в забое на Урале, стоял вахты на траулере в Охотском море, месил цемент в Петербурге, работал сезон на нефтяных промыслах, мыл золото, охотился вместе с браконьерами, грузил ящики в порту Осетрово, к старости «приблудился к посёлку на Лене» оператором к котельной. И искал себя в книгах, с детства много читал. И это одно отличает его от раскрестянных мужиков в котельной, с желтушными лицами, быстро и незаметно для всех гаснувших от палёной водки. В детстве и юности Саня читал «с жадным голодным храпом», и сейчас по ночам продолжает упоенно листать списанные из библиотеки книги, бережно складывая их на подоконнике, ворчит на мужиков, пускавших их на курево. Сокровенным воспоминанием и мечтой остался в душе Сани воздушный змей, склеенный братом Родей. «Не с того ли давнего дня душа его парусит на ветру, а Саня всё бежит и бежит за своей пустокрылой мечтой, как за улетевшим змеем, отсюда, с грустной низкой земли, хватаясь за скользкий хвост её серебряной тени?..». Пустая мечта, подобная тени, остается неосознанной целью жизни Сани как стремление к высокому, небесному.

И сам он подобен воздушному змею, несомому ветром. «И всё-то он искал какой-то чудесный выход для своей непонятной боли, которую будто бы нажил в деревне, а теперь глушил на ветру родины, всё-то мечтал забыться, затвориться, провалиться в тартарары и там, в дремучей глубине России, в беспамятном молчании духа, услышать самого себя, голос родных мест в одичавшем себе, и однажды

⁵ Антипин, А. Горькая трава : повесть // Наш современник. — 2013. — № 4. — С. 7-28.

аукнуться на него, явиться к отчому порогу блудным сыном, но не от горькой нужды, а по высшему требованию сердца и совести». Этого высшего требования сердца и совести Саня и ждал. И появившаяся непонятная боль не отпускала, брала свое. Скрытым, вторым сюжетом живет эта боль в повести. За чтением книг она затихает: «и Санина боль вспоминала его прежнего, о котором она не болела, лишь тихо всхлипывая под рёбрами, как под лестницей душевная вахтёрша, потерявшая сослепу ключи». Боль живет рядом со своим хозяином своей жизнью, понятной только ей. Саня забивал глотку и заливал глаза, утомлял «высокое и летучее, нывшее взаперти под рёбрами». Но боль-то и удерживала в нем распад человеческого.

Мучительные сны открывают Сане страшную действительность его собственной жизни. И в тяжком пробуждении он «со сна обшаривал всего себя, чтобы найти себя в пустоте». С этих метафорических и реальных пробуждений от сна-дурмана постепенно приходит к главному герою осознание потери себя и ощущение чужой земли вокруг — пустоты, мрака, одиночества, бездомности, никчемности растраченной жизни. Во время похорон бабы Шуры, забытой древней старухи, после ночи на ее могиле в Сане происходит внутренний перелом. В кощунственном захоронении старого человека случайными, потерявшими человеческий облик людьми, Саня увидел свое возможное будущее и судьбу своей оставленной матери. Сходство имен сомкнуло судьбы. Это отрезвило, обнажая оставшееся живое, что могло еще спасти, поднять человека со дна. Непередаваемый ужас осознания собственного падения передан в метафоре отражения ночью лица Сани в сливных лужах, по которым бегают крысы. Высокое «лик» соединяется с низким и мерзким, огоньки — с бетонным полом, золото — со смывами, вода — с гниением, отражение — с рябью: крайности будто сошлись в поединке. «Его бледное лицо распухло в золотистых от электрического огонька лужицах, сбегавших на бетонный пол из прогнившей сливной системы, и через всё его отражение, его мученический лик, мелко рябивший от щелбета капель, с хлопом проносились на красных лапах мерзкие облезлые крысы». Метафора унижения, осквернения Божьего в человеке. Боль Сани нарастает, охватывает его. «Всё в Сане натянулось в одну тугую звонкую боль, и куда бы он ни шёл, по делу, а чаще без него шараялся ли в ограде или по дому, задевая то сырой куст сирени, то себя в мутном омуте трюмо, всякое прикосновение чувствовалось особенно сильно». С болью и криком освобождалась душа от забвения, от чужого, восставала из падения.

Рождение, освобождение души почти физически ощущается в описании мучений главного героя. «Было это так, будто всё Санино тело опухло от ударов, а уже в теле вместе с кровью запекалась и схватилась корками душа, и когда ворошили тело, душа мелко трескалась, расплзалась кусками и кричала. Она словно бы лизала сама себя шершавым языком и оттуда, из Саниного нутра, озираала хозяина голубыми преданными глазами да тяжело вздыхала, изымая это дыхание уже из своей, душевной глубины». Душа человека жива, она доверчива и терпелива, смотрит изнутри и дышит собственным дыханием. Саня перестает пить, для отвода глаз ссылаясь на сердце, но чувствует себя еще на краю жизни. С ощущения обновления начинаются перемены и привыкание к себе новому. «И, засмотревшись в себя, он, наконец, свыкся со своей новой болью, обжился в ней, как в новой скорлупе, в которую он себя заковал, и мало-мало разобрался с новым собой, как с руководством к блестящему от масла электрокотлу, который в конце месяца завезли в котельную».

«Найти себя в пустоте» — основная сюжетная линия повести «Горькая трава» связывает метания Сани по России и линию нарастания боли, прорвавшейся в очищении души и возвращении домой, к себе — в метафорическом и реальном значении. Долгий путь спасения оказывается горьким для Сани, низко было падение. Семантическая палитра названия — в «горьком поскрёбыше», «горьком знании», «своём горьком одиночестве», «горькой нужде», «горьком неустройстве» и многом другом — собирается в образе «горьких трав». Повесть — не вариант истории блудного сына, это история возвращения домой души, к высшему, Божьему замыслу о ней, осознание человеком своего сыновства матери-труженицы, пекущей хлеб, родины. Притча, родившаяся из реальности. «Сын я её, Саня. Саня Золотарёв! — Саня радостно застучал себе в грудь, как будто после многих лет разлуки встретился с собой и, едва узнав бывшего себя, со слезами и трепетом кинулся с прошлым собой обниматься». Невыносимая боль за то, что прожито зря, растрчено впустую, все-таки осталась в душе Сани. Боль раскаяния и боль отчаяния пока неразлучны, но душа остается жить дальше — уже дома.

Былинным, певучим слогом начинается повесть «Дядька»⁶ (2014), будто бы сопровождаемая струнным рокотом гуслей. В зачине узнается давняя и недавняя история России, ее ратные подвиги, богатырская слава, горькая правда о былой мощи. Вместе с древними напевами нового сказителя входишь в знакомые с детства «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». И даже нотки иронии не снимают пафоса сказанного, поскольку сама форма повествования поет о славе, вызывая в памяти «Слова» и летописи. «И, пустив шапку по кругу, изыщем ли нынче верные слова, чтобы поведать о них? что им сказать? да и услышат ли? и надо ли им?.. Молчат». И вдруг, с эпической высоты былинных дел — в обыденность февраля, его переменчивость и обездоленность. «Февралём» заклеил отец своего непутевого сына, мать называла его «Тот», «Большой», племянники — «Дядькой», мужики — «Мишкой-Длинным», а в молодости за силу звали «Медведкой». И опять фольклорное, народное, скоморошечье — шутки, поговорки, загадки — в отцовском слове. «Февраль-то нага летает по деревне в одной стежёночке без пуговок, в валеночках дырявых, шапочка-п..душка на одно ушко, верхоночки потерял... Мороз сорок пять градусов, а он летает... Февра-аль!». То ли сам Мороз, то ли метель, то ли вестник весны. Так и остается этот человек, наделенный многими именами, загадкой. Попробуй, отгадай ее.

Но былинное не уходит за шутовским, усиливается возвышенным, славным, оборачивается трагедией. И в конце повести собирается в удивительном поэтическом, чудесно найденном автором, образе-метафоре богатырских сапог с гвоздиками-звездами. «И теперь, когда кирзухи опрокинуты на штакетник, нашлифованные шляпки серебрятся из земной черноты подошв, как звёзды из ночной глубинной темноты неба». Сплетение традиции гусяров, поющих о подвигах и славе русской земли, с народной смеховой культурой, соединение древности с судьбой современного богатыря-пахаря рождает необычной красоты и теплоты повествование. Высокое и низкое, поэзия и проза, комическое и трагическое сплетаются в слове писателя сложным узором. И повесть запечатлевается в сердце — радостью и болью, отдохновением и надеждой, светлой печалью. Слово писателя воспринимается золотистым светом в капельке смолы, натекшей на древесную рану, горькой и целебной живицей.

Присутствие в повести племянника — не просто семейное оправдание сюже-

⁶ Антипин, А. Дядька : повесть // Наш современник. — 2014. — № 9. — С. 9-46.

та. «Племяш», один из «сопливого собрания» и «бойкой мелюзги», собиравшейся вокруг пьяного человека и роптавшей на него по наущению бабки, принимает в себя богатство души, ту восприимчивость к красоте и благодарность к родной земле, ту тягу к высшей правде и справедливости, какой был наделен дядя. Племянник — наследник, преемник русского пахаря-богатыря. Емко, пластично и парадоксально это наследство воплощено в метафоре тех же небесно-земных сапог. «Я всё чего-то жду, не решаюсь шагнуть в огромность Дядькиной обуви, чтобы пройти по полю, по жизни, макая эти звёзды-гвозди в грязь, слякоть, в пепел и боль осиротевшего русского мира», — так закачивается повесть. Сознание величины полученного — русской души с ее отношением к родной земле, истории, радости труда, смирение молодой души вбирает этот ключевой образ. Русское поле как пахотная земля, как путь и простор, как место ратных подвигов и возможность семимильных шагов достаются племяннику духовным богатством. Свет отражается в звездах-гвоздиках, небесное — в земном, прахе, грязи, Божий образ — в Дядьке. Те самые звезды и небо, которые Дядька по ночам видел над собой и которые искрились в его глазах. Та же звезда судьбы, которая кручинилась о нем, озаряла, вела.

Былинным богатырем являлся Дядька в молодости из бани: смолёвые кудри, лицо медно-красное, голубые глаза, нежная мягкость узких губ, в белой, как первый снег, рубашке. Его облик в повести отмечен золотом и серебром. Вот он молодой, красивый, перед пахотой закуривает около золотого леса, вот его на Крещение «серебряного» заносят в котельную. Белый, золотисто-багряный цвета сближают палитру портрета Дядьки с иконописной: «И сыпался вповалку с рябиновыми и берёзовыми листьями первый снег, когда в другой раз Дядька сидел на досках у палисадника на фоне этого падающего багряно-жёлтого и однообразно-белого». Высокий, по-медвежьи сильный, могучий, он высился среди всех «корявым большим деревом». Образ нерушимого дерева присутствует даже в сравнении с баланом, стволом дерева, выброшенным на берег и проморенным солнцем, ветрами, дождями, не поддающимся ни пиле, ни колуно. В образе пахаря много природного, дикого, стихийного — «лесной зверь», и даже умерший, он «дремучий, лесной, косолапый». Под стать самой природе с ее законами и мощью. И жизнь свою проживает как природа, отболев с ней и осыпавшись осенью, завершив свои дни зимой. «И в том, что Дядька — свидетель этому всему, соглядатай и участник действия, называемого вертушкой времени, был свой восторг близкого края! И Дядька словно ждал, когда он сам вымерзнет до доньшка и оборвётся наземь, как со случайно задетой ветки, пожжённой заморозком, весь в ребристых прожилках изумрудный лист». Метафоры человеческой жизни западают в древнейшее мифопоэтическое, земельно-обрядовое сознание наших предков.

Проза и поэзия сошлись в красоте пахоты Дядьки. Тракторист, неизменный победитель районных конкурсов, он распахивал землю, как писал поэму — «красиво пишет!». «Бороздки он выводил с трепетом, но сразу набело, без нервного черканья, ровно и вдумчиво, и это была самая великая и нужная книга, которую творил человек. Вспашку узнавали, как почерк стилиста, и восхищались». Книга и песня одновременно, с рифмовкой борозд и свежестью оборотов — «не переписать, не перепеть». Вспаханная земля обещает хлеб не только людям, при вспашке она кормит скворцов и их потомство. «И в том, что пахарь, сам того не ведая, и эту небесную тварь накормил, и эту гудящую над крышами крохоту обратил к солнцу, а не одному только человеку дал хлеб и помочь, была особая праведность и ширь

крестьянской судьбы». Остро пахарь чувствует несравненную красоту земли-кормилицы, рядом с которой он и сам создатель живого. «Редким чувствованием земли» Михаил одарен с детства, с тех пор, когда мальчишкой сел на отцовский трактор.

Со временем Дядька отдаётся чувствованию сполна, проживая жизнь как звучащую в душе песню, неслышимую остальным, — «смотреть и слушать, как в закате лимонные плывут облака <...>». «И ещё думать! Это были его корневые занятия: думать, но не походя, лишь бы о чём, а прицельно — заглубно, оттирая локтями всё прочее и зряшное». «Есть красивая ложь в словах “часами смотрел”, “подолгу сидел на завалинке”, “мог полдня простоять” и в подобной ерунде, но Дядька именно так и жил. <...> В этих-то перекурах между делом и умещалась, кажется, Дядькина жизнь, тогда как сами эти дела были точно долгим, в несколько утомительных партий, распеваньем её». Со временем над лежащим на мху пьяным и не чувствующим ничего Дядькой звучит другой голос, передающий живую женскую красоту земли. «Здесь ещё недавно стонала и металась под его плугом земля, раздувала, жаркогубая, пыльные ноздри, по осени рождая вечное своё, ржаное и пшеничное, а к зиме рядилась в серебро и, белопростынная, вешним дыханием проталин и горловым кровопусканием ручьёв просыпалась лишь под апрельскими метелями». Голос страдает за брошенность и забытость земли.

Чутко бережет Дядька семейное счастье своих братьев, робеет перед невестками. Но ему дается лишь краешком жизни коснуться тепла и нежности чужой семьи. И столько в нем преданности, самозабвения, отречения от себя. «И вот он везёт в поле тепло и сытость домашнего хлеба, шатание парного молока в отпитой бутылке. <...> И в глазах его, и в сердце долго и хрупко, как мальчишеская мечта, стоит женская парящая белизна...». Потерявший свою Россию, свою землю вместе с ее державной силой — Дядька изгнан из дома, живет в бане, спит на полу, ест на лавке. «Всё изошло, истаяло, иссякло! Одна прежняя крохотная слава землепашца пылилась с районными газетами в могильных склепах библиотеки...». Презираемый, гонимый, в последние годы он сидит с протянутой рукой на бетонной плите у магазина, и даже близкие стыдятся приблизиться к нему, а племянники прячутся от позора в проулках, если их отправляют за хлебом. «Иногда подбегал при людях на улице, дыша смрадом и псиной, с гнойными потёками из покрасневших глаз, под которыми обсохла от слёз на ветру и шелушилась кожа, и всё, помнится, ощетинивалось в душе: “Ступай, ступай, Дядька!!!”». Самым унижительным были насмешки уличных мальчишек, закрывавших старику дорогу и стрелявших в него из деревяшек-автоматов: «Умирай, мужик! Ну, чё ты не умираешь?!» Но он всё шёл, всё не умирал, и ребятня, став постарше, настигала его в проулке тупым пинком под зад», «или сзади ради смеха роняла лицом в землю, когда, один-одинёшенек, он сидел на теплотрассе и вышелушивал в обрывок газеты найденные окурки», — сгусток метафор и притча об унижении мужика-пахаря, об умирании человека.

Благодарной преданностью отвечает Дядьке только кобель Тарзан, обычно всю ночь дежурящий у чужих ворот, ждущий его пьяного, а при встрече поскуливающий и тыкающийся мордой в коленку. «Что-о-о, Тарзанка?! Только ты, бедолага, и ждёшь Длинного...». Два щенка-несмышлениша от полноты душевной лижут его в лицо, а он плачет «над этой нежностью к нему, проклятому и гонимому». Внутренняя боль опустошенной души замыкается композиционным кольцом в четких грамотных рисунках Дядьки, сделанных для своих племянников: река,

лес, девушка. Девушка-учительница с веткой черёмухи на дебаркадере так и осталась в судьбе Дядьки только рисунком, отнятой мечтой.

Мотив последнего в повести «Дядька» так же силен, как и в повести «Плакали чайки». Появляется он вместе со сказочным зачином о трех сыновьях старика, в народном сознании вбирающем полноту и завершенность крестьянской судьбы. «Он ведь последний у нас с дедом из мальчишек: Санька, Колька, а уж Миша за ними... Дехчонки, Галька с Валькой, после...». Последний сын, «в последнем убежище», «в последний раз», «о непутёвом последыше», «в последнюю гремещую ночь», «последним пиром», «последнее земное, ещё державшее его здесь», «последние недожатки лета», «как последняя осенняя лужа», «в его последние годы» — внутри повести, за сюжетом несет свои воды река времени, готова к прощанию и прощению, к уходу Дядьки. Вместе с ним уходит из жизни крестьянская Россия, забота и любовь к земле-кормилице, созидательный труд пахаря — открытое в повести сравнение. Осколки пахотной России — мужики. Каждый из них «был сам по себе Россией, и пока жили они, была жива и Россия». Дядька был осколком большого, поруганного сердца России.

Но художественный мир живет своими законами. За «последним» в повести следует «первый», текст связывает, заживляет раны, горькие, саднящие. Первый снег зимы соединяется с последним снегом в жизни Дядьки, высветляя и освящая жизнь отвергнутого. «Нет, снег был — белый-белый снег Дядькиной жизни, Дядькиной смерти. <...> Всё вокруг обросло кружевным и праздничным, как детский сад с весёлыми криками и ножничным клацаньем украшают перед Новым годом салфеточным инеем. И даже воздух, казалось, почистился и прозрел с выпавшим снегом. Белый-белый мир! Чётче следы человека, чернее шарк метлы и две полосы отпотевшей дороги, чутче рожденье, большее уход». «Первый» и «последний» соединяются, идут рука об руку. Смыкаются конец жизни и начало, старость и детство, горе и праздник, боль и радость, страдание и счастье. Соединяется белая, как первый снег, рубашка богатыря-пахаря Михаила и белая снежная рубашка самой земли. «Шёл первый без него снег». «Последний» и «первый» связывают два мира, передавая что-то от одного к другому. И совершается переход: от стыда за падшего человека и отталкивания его — к стыду за самого себя, укуру себе и близким, к приближению гонимого, принятию в свою жизнь чего-то большого и важного, части или даже всей России. «Но отчего-то с кончиной его, с уходом Дядьки в другой мир не рассвело на этом. И сами не стали хоть чуточку добрее к нищим и пропащим, горьким и заблудшим, не сделались хоть самую малость зрячее к этой пьяной, гулёвой, беспутной голытьбе, которая и до сего толчётся между нами, стынет и стонет на холоде и ветру, мается под грозовым небом». Главное, что переходит к племяннику, и что наследуется от Дядьки, — это чувство боли за все, что происходит вокруг.

Ведущая тема творчества Андрея Антипина — тема падшего человека, отвергнутого и презираемого, но хранящего в душе высшие смыслы, а в сердце высшие ценности, или находящегося в поиске этих смыслов и ценностей. Герои едины в своем одиночестве, житейской ущербности и обделенности любовью и жалостью. Его герои не корыстны, деньги от них уходят так же скоро, как и приходят, их не заботит завтрашний день, чем прокормить себя и детей. Потому они непонятны обремененным заботами людям. Отсюда их неприкаянность, непринятие близкими, видимая нелепость жизни. Но у них есть что-то общее с нами — это русский тип искателей истины, правды и справедливости. Следование высшему роднит

их с чудиками Василия Шукшина, с державными старухами Валентина Распутина, с непреклонными героями Фёдора Абрамова, искателями лада Василия Белова. Их всех объединяет искренность, чувство родины и ощущение физической и душевной боли от того, что происходит на ней. Они не мыслят себя вне этой земли, этого неба, своего дома. Чувство родства со всем и всеми выделяет их из современного мира отчуждения и отталкивания другого. Героями Андрея Антипина русская литература продолжает, как сказал бы Валентин Распутин, собирать народ для возвращения домой («Жива ли русская литература: (история болезни)», 1997 г.), продолжает восстанавливать чувство родства с людьми, домом, историей, предками. Мотив возвращения домой силен в прозе Андрея Антипина, сюжетно и метафорически представленный в повести «Плакали чайки», главной событийной линией выделенный в повести «Горькая трава».

Иван Матвеевич, Саня, Мишка-Длинный, дядя Лёня — словно в заброшенной избе на окраине деревни открыли ставни, протерли потемневшее окно и заглянули внутрь. И что же, в глубине дома в красном углу перед иконами теплится лампадка — душа-то живая. Вместе с такими героями в творчество Андрея Антипина входит ведущая тема русской классической литературы — любовь к родине, принятие ответственности за ее судьбу. Его герои мечутся от душевного неустройства, отражающего общее неустройство, от невозможности что-то изменить, и потому гибнут или продолжают нести боль в себе дальше. Трагизм их существования — в чувствовании высшей правды и невозможности ее осуществить. Но своим присутствием на земле они несут главное — предчувствие того, что существует гармония и согласие человека с миром, и именно это является условием спасения родины.

Новый рассказ Андрея Антипина «Шёл я лесом-камышом»⁷ (2018) продолжает тему слабого, опустившегося человека, сохранившего внутри себя свет. Ощущение падения и безволия главного героя особенно выразительно рядом с тяжестью существования близких ему людей, жизнь которых от него зависит. Истошная, больная, надорванная бедами жена, когда-то выглядывающая из-за спины мужа виноватыми, счастливыми глазами, безмолвная, безответная, готовая помочь и всегда голодная дочка Таня. Невозможно забыть эту девочку-Снегурочку. «Та же Танюха каждый Новый год — тоненькая снегурочка с ватым снегом на воротнике и с огромными голодными глазами...». И ее песню, словно бы спетую для себя самой. «Или поёт одна тихо-тихо, безо всякого отношения к тому, о чём поёт, и даже без какой-либо способности к пению. Но вместе с тем в зале грустно, как будто в ненастную весеннюю ночь качается в лесу хрустнувшая берёзовая ветка, а из неё каплет на сухие прошлогодние листья». Такой беленькой раненой веточкой в весеннем лесу она и запоминается.

Запечатлелся в сердце и образ одинокой старухи, бредущей по поселку, ее облик и слова. «Идёт дальше. И навстречу, например, старуха. Ковыляет-скрипит. Идёт косьонько, налегая на черенок, выдернутый из растрепавшейся метлы. Вся — ворчанье и боль: то в голову шандарахнет, то в спину отдаст, а то и сказать стыдно. <...> И старуха, едва видная в его объятьях, шмыгнет носом: не то слезой прошибло от этого забытого “мама”, не то дух спёрло от сивушного перегара, а не то просто набежало. Черкает ладошками по щекам. Маленькая, слабенькая. Стоит под рукой сумраком и тленом. И только глаза — живые! На землистом, иссечённом лице — два нализанных кружочка акварели: обмакни кисточку и пиши апрельское небо с

⁷ Антипин, А. Шёл я лесом-камышом : рассказ // Наши современники. — 2018. — № 8. — С.11-20.

белыми облаками и приветливым кладбищенским леском в чёрном отпотевшем поле». Все здесь сразу — и улыбка, и любованье, и горечь. И в «нализанных кружочках акварели» видится ребенок, правнук, старательно малюющий на листе открывающийся ему новый мир. И даже рядовое, перечислительное «например» оказывается на месте, отмечая в минутном — касание мироздания, соединяя текущее и вековое, день и судьбу, переплавляя случайное в непреходящее. Чудесные метаморфозы совершаются в художественном образе писателя. Портрет становится пейзажем, душа раскрывается простором, старость светится красотой. Слово Андрея Антипина многозначно, метафорично, с внутренним движением, жизнью значений — их соприкосновениями, столкновениями, слияниями — в этом сила, глубина, пронзительность образа.

Образ дяди Лёни, главного героя рассказа, неожиданно и органично связан с распутинским миром. В его судьбе обнаруживается продолжение жизни Петрухи, сына многострадальной Катерины из повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», и его детей. «Он родом из Матёры, что на Ангаре. Деревня захлебнулась в водах Братской ГЭС, и дядя Лёня её никогда не видел. Его отец, Пётр Петрович, от своей руки спалил родную избу, вытребовал в сельсовете компенсацию и был таков. На чужбине, в отстроенном для переселенцев посёлке, в котором обретался первое время, он и посеял сына, а самого заусило по Союзу». Жизнь дяди Лёни тоже перекатная, без связи с родным домом — такого и не было — но славная участием в ударных стройках страны. Служба на Дальнем Востоке, работа на нефтяных промыслах Севера, на строительстве БАМ, за что имеет медаль, на линии Тынды — Беркамит, в перестройку — в поселке на Лене. Не привязанный к дому, он не привязан к деньгам, не корыстен, зато привязан к труду. И труд держит в нем человека. А еще мысли о жизни, о ненужности его самого в нынешней России, о потере опоры — это «взамделишная боль, которая пролетает через всю душу стрелой». Идеи справедливости, добра, устойчивости мира тревожат сердце опустившегося человека. Очевидная связь героев Андрея Антипина и Валентина Распутина укреплена сюжетно, но этим выделена и связь с русской классикой как принцип, как основа художественной реальности, выраженная, прежде всего, в том, что в упавшем человеке писатель видит человека.

Необычно уплотнено в рассказе время: воображаемое сплетено с биографическим и литературным, художественная реальность соединена с реальностью жизни автора, его произведениями. Да и сам писатель появляется в рассказе как автор конкретных повестей и рассказов. «Я читал твои статьи, сынок! Про теплоход, про Мишку-Длинного, про нас, алкашей... Красиво пишешь! Я ведь тоже в юности стихи сочинял. Вот послушай-ка <...>». В отсылках дяди Лёни легко узнаются рассказ Андрея Антипина «Теплоход “Благовещенск”» и повесть «Дядька». Интертекстуальность скрепляет творчество писателя — рассказы, повести, очерки — в одно целое, спаянное единой живой энергией и открытое в будущее. Так в рассказе «Шёл я лесом-камышом» обнаруживается кровное родство племянника-писателя с Дядькой-пахарем: оба «красиво пишут». Реальное продолжается в художественном, художественное — в реальном.

Но здесь, возможно, важнее другое. Комично и грустно сближение двух творцов — дядя Лёня получил калым, накануне 9 Мая подновляет имена героев на мемориальной стене во дворе школы и говорит о своих стихах. Процесс восстановления памяти довольно противоречивый. «Видно, что старается на совесть, но получается не ахти. Ведёт то жидко, то густо, вылезает за гравированные контуры

букв и роняет капельки, вытирая тряпочкой. Когда забывает, капельки растекаются и засыхают, как смолка на подсечённом дереве, и дядя Лёня, плюнув, немного погодя и уже размокшие, промокает их вместе со слюной». О творчестве молодого писателя, героя рассказа, и о собственных стихах дядя Лёня «замечает, вдохновенно откинув кисть, на кончике которой — золотистое семечко». Внутри нелепого, на первый взгляд, сопоставления двух авторов скрыта логика развития литературы, тонкая диалектика соотношения народного искусства и авторского, наивного и профессионального. Золотистое семечко на кончике кисти как символ и метафора воспринимается как знак свыше и этому противоречивому в самом процессе труду, и памяти, и человеку, он одновременно и знак хрупкости чего-то светлого в душе дяди Лёни.

В сопоставлении реальной прозы автора и «поэзии» героя скрыта самоирония писателя, его сомнения с настойчиво пробивающимися в сознание вопросами: «Зачем я пишу?», «Есть ли в этом смысл?». И уже открытая авторская рефлексия вслед за неявными вопросами. «...Когда рядом живут такие люди, совестно покупать не хлеб, а лыжи, разрывать зубами целлофановую обёртку, рискуя опануть чей-то голод запахом разломленного пирожка, а также быть писателем, нудить о своём и фотографироваться “на память”, вытянув против лица руку с зажатым мобильником». Золотистое семечко на кончике кисти-пера неведомыми связями смыкается с совестью — с ее правдой. И дальше вопросы, вопросы, уже видимые и слышимые, поражающие простотой и парадоксальностью. «Зачем нам память о себе? Для кого эта память о нас? Кому мы?...». Уже не ждущие внутри образа, а прямо заданные миру и читателю.

И все-таки невозможно понять, как в слове писателя собирается столько любви к человеку и прощения, что, кажется, вместит ли человеческое сердце. «Летом качу старую облупленную тележку; пустая фляга гремит... По дороге — дядя Лёня и Кощей-бессмертный, поселковый электрик (его, пьяного, «убивало» током, лежал в районной больнице). Некоторое время плетутся позади. Потом дядя Лёня окликает:

— Сыно-ок?! Вот ты книжки пишешь, а на речку с этой раздолбанной тележкой ходишь... Тебе же должны машину дать!

Нагнали. Оба — *хорошие*. У Кощей — на треть картошки в мешке. Понимай так: сами отсадились, а лишнее... Ну, в качестве щадящего отступления от истины — на продажу». И как она выражается? Может быть, в слове «хорошие», прозвучавшем точно и к месту, с улыбкой и тихим, добрым светом? Или в образе «старой облупленной тележки», отработавшей свое, но еще нужной в хозяйстве — так тепло и благодарно сказано? Или в оправдании не лишней вовсе картошки? Или в иронии, смыкающей силу и слабость человека, заботу и жестокость, искренность и неловкое вранье, радость и горечь? Или в неискоренимой для русского человека вере в добро? А может, в отвлечении от себя и чутком повороте к другому? Или... Пусть это пока останется тайной.

...На пересечении двух магистралей, сквозных ветров на углу дома в большом сибирском городе лежал человек. Тонкий, вероятно, еще молодой, он лежал лицом вниз, прямо на асфальте, как-то неловко, сидя, сложившись пополам, словно лист бумаги или страницы какой-то странной книги. Одна рука его была вытянута вперед вдоль стены дома, другая согнута в локте. Рядом забыто белел помятый пластиковый стаканчик. Легкая хлопковая куртка защитного цвета — не по сезону в мороз и ветер, когда и в шубе-то пробирает дрожь. Неслись и тормозили на

светофорах автомобили, опять неслись. Нескончаемым потоком по пешеходным дорожкам текли людские реки. Девушка теребит за рукав своего парня — «смотри, что это?», а тот напряженно вглядывается в сигнал светофора. Не остановилась и я. На следующем переходе не удержалась, оглянулась. Человек все так же стыло, неподвижно лежал на асфальте. Живой человеческий камень у ног людей... Зачем он здесь? Кто или что заставило его прийти сюда? И почему я прошла мимо?

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Живет такой поэт...

Поэзия и стихи не одно и то же. Стихи — это форма, а поэзия — содержание. Поэзия — высшая степень совершенства литературной речи, и необязательно связанной с рифмой. В этих дебрях страшных легко заблудиться, но без хотя бы поверхностного разделения мы не можем перейти к сути разговора.

Писатель Михаил Тарковский так сказал о поэтическом творчестве: «Вообще, писание стихов и прозы действительно очень родственно охоте. И со словом, и с пушчиной то же: добываешь, вычищаешь, как соболя, обезжириваешь, напяливаешь, отминаешь, выворачиваешь, вычёсываешь смоляные закаты. И тоже волнуешься. Перед сдачей». Точно сказано о технологии рождения стихов, но не о её сути. А в чём всё-таки ядро поэзии?

Когда размышляешь о судьбах поэтов, об их творчестве, о зигзагах жизни, невольно обращаешь внимание на сопутствующую трагичность. Как будто Господь метит своим перстом, указывая на их горестную избранность: Пушкин, Лермонтов, Гумилёв, Есенин, Павел Васильев, Рубцов, Прасолов, Высоцкий, Тальков. Чем больше масштаб дарования, тем выше и страшнее расплата. За что?..

«Поэт не может быть счастливым В тревожные для мира дни», — написал Василий Фёдоров. «Я поэт, счастливой доли Быть не может у меня», — вторит ему Николай Зиновьев. Поэты разных поколений перекликаются, как птицы в солнечном лесу. Зиновьев может не знать стихов Василия Фёдорова, но созвучен ему, потому что говорят они о Судьбе поэта, которая загадочным образом, как правило, беспощадна. Трагизм душевного и духовного мира — основа поэзии, а слова только наполнение, способ выражения. Иногда маска.

Научиться писать стихи может каждый. Для этого необходимо немного: элементарная грамотность, знание русской поэзии в объёме средней школы и желание, желание играет ключевую роль. Знать поэзию необходимо, чтобы иметь представление, а что же это такое — поэзия, впрочем, это необязательно, потому что мало кто знает, что это такое, а что такое стихи, знает каждый: песни, написанные стихами, звучат вокруг нас и днём и ночью. И только тот поэт, кому чудесным образом удаётся запечатлеть не только красоту слога, но и возвышенную душу, народный характер — не декларативно и декоративно, но живо, отображая его и раскрываясь своей сердцевиной.

Мы живём в горестные для русских людей годы. За скобки жизни, по сути, на кладбище вынесена и погребена русская песня, русская музыка, русская душа, которая в них заключена. Строй русской жизни выдворен за рамки массовой информации, и новые поколения лишены общения с родными напевами, этот цивилизационный геноцид может привести к полной потере нашего культурного своеобразия. Современная русская поэзия — единственный остров в чужеродном окружении, единственное прибежище для уходящей на дно русской Атлантиды.

Поэзия должна быть объявлена национальным достоянием, в школах должен

быть выделен предмет «Русская Поэзия» отдельным курсом, если мы действительно хотим сохранить народную душу, в наибольшей степени запечатлённую в вершинных достижениях.

Дмитрий Лихачев назвал русскую поэзию самой великой поэзией в мире, заметьте, *самой*, а не в ряду иных. Так сказать мог только человек, понимающий, доподлинно знающий то, с чем он сравнивает. А он знал, он был знатоком европейской культуры, читал европейскую поэзию в подлинниках. Изучение «Слова о полку Игореве» и пристальный взгляд в начало русской поэзии формировали вкус и чувство русского слова.

Александр Кобелев заявил о себе в зрелые годы. Он сам для себя определил этот срок или так распорядилась судьба — не имеет значения. Почти одновременно вышли две книги стихов: «Дорога на Балтай» («Оттиск», 2012) и «Вещий камень» (Издательский центр «Сибирь», 2012).

Автор подвёл некий творческий итог. Книги были живо встречены читающей публикой, литераторами, он был принят в Союз писателей России.

Пишет он не много. Это знак серьёзного отношения к творчеству, и не количество определяет в итоге значимость произведений. Есть авторы, издающие многотомники, но не имеющие профессионального одобрения. Провинциальные поэтические ручейки и речушки питают великую реку. Русская поэзия по происхождению своему деревенская, как, впрочем, и проза, — по врождённой близости к живой природе, к пейзажу, к земле, из которой мы вышли. Городов, в современном значении, когда зарождалась наша литература, не было, поэтому приписывать какую-то особую роль крестьянскому миру — лукавство или непонимание: весь мир был крестьянским, то есть христианским. Все выдающиеся имена несут в творчестве светоносную силу русского изначального слова.

Когда я смотрю на географическую карту нашей области, то почти каждый малый город или село отзываются поэтическими именами ушедших и живущих поэтов. Каждый из них пусть и малый, но центр притяжения. Все они в своих городах, и посёлках, и сёлах делают работу по сохранению человеческого в человеке. Подчас не важно, что каждый написал, насколько высоко поднялся по поэтической лестнице, но они поддерживают интерес к поэзии, являясь хранителями несметных сокровищ русской письменной культуры.

Я не устану повторять, что подобным сообществам необходимы государственное внимание и опека, потому что это нужно обществу нашему и государству.

Александр Кобелев живописует в графике и в красках, раскованность его стихов изумляет, при этом он не впадает в обыденность. Лёгкость его — в народных истоках: в частушке, в песне, в пословице:

*Разрезает небосвод
Чёткий след от самолёта,
Будто белым мелом кто-то
Прочертил его полёт.*

* * *

*Будет всё как изначально —
Флаг увижу в вышине:
Синий крест диагонально
Лёг на белом полотне.*

Кобелев чутко реагирует на происходящее в жизни, он живёт в народе, но не в том смысле, что знает народную жизнь, — он не может не знать, он сам часть народа, и не худшая его часть. Его публицистичность мягка, не обидна для человека села и всякого думающего человека, но, может быть, обидна для чиновника, равнодушного к жизни селян. Она точно реагирует и отмечает нестроение в жизни, несправедливость: совестливость есть стержень народной жизни. Поэта-пьяницу народ осудит и простит, а краснобая-руководителя будет приветствовать только на гулянке.

Лёгкость слога, свободное дыхание речи и при этом — почти полное отсутствие бытовой привычности. Он растворяется в словах, и через них концентрируется присутствие его неповторимой души в этом мире, её самость и открытость ощущается в каждой строфе, разговорная интонация становится актом искусства. От стихов веет не сочинительством, а естественностью: так живёт он и народ, в котором он живёт.

Он сознательно отказывается от всех формальных достижений прошлого, и поёт как Бог на душу положит. Время присутствует в его стихах, присутствует событийно, а не назывно, в них присутствует и говорит от себя сибирская глубинка начала XXI века. В какой-то степени в его стихах видна реальная действительность современной деревни в её культурно и бескультурно образованном сообществе. И сам автор узнаваем в стихах и прозе, наполняя чуткой душой своей бывшие до него мёртвыми слова и буквы. Поэзия — живая вода русской речи, и кому как не поэтам заботиться о её сохранности, заповедности и незамутнённости.

Не на пустыре построил свою поэтическую избушку Александр Кобелев: узнаются строки, взятые займы у других поэтов, живших до него. Он делает это сознательно. Это естественно, как и в русской классике — перекрёстное заимствование литературных образов и сюжетов.

*Эй, лети с дороги, птица,
Уводи с пути зверей!
Видишь, вихрь какой-то мчится,
Как в коллайдере частица,
Даже чуточку быстрее.*

* * *

*И крестьянин, торжествуя,
обновляет путь
(на узике буксуя
в поле где-нибудь).*

О Великой Отечественной войне написано немало прекрасных стихотворений и поэм. Много и дежурных, холодных, и пустых, не оплодотворённых ни талантом, ни духом. И о войне, свидетелем которой он не был, Александр Кобелев сказал простые, душевные и трогательные строки:

*Мячик свечкой ушёл в высоту,
и бегут, догоняют друг друга
ребятишки, играя в лапту
в шумном сквере за Домом досуга.*

*Рядом — мрамор пригрела весна,
тополя, как в поклоне, согнулись.
Этот мрамор хранит имена
тех солдат, что с войны не вернулись,*

*полегли, но я вижу порой,
как они все стоят у ограды
и любят детскую игру,
и весеннему солнышку рады.*

Александр Кобелев чувствителен к бурятской культуре, знакомство с героическим эпосом отразилось в его творчестве не буквой, но духом. Как удаётся ему проникнуться самой особенностью соседнего народа, для меня загадка. Впрочем, поэзия всегда загадка. В современной иркутской поэзии нет другого автора, переводчика или поэта, умеющего воплотить самую особенность души другого народа, это не может быть выработано длительными упражнениями, это даётся изначально, как любовь, как дар многогранного слова.

*Посреди степи, где седой курган,
Жил да был Саргал — тугешинский хан.
Хоть не молод был, но силён и смел,
Молодых троих сыновей имел.
Старший сын его был Алтан Шагай,
Средний сын его был Мунгэн Шагай.*

*Младший сын Нюргай был в ту пору мал,
И отец его соплячком прозвал.
Тот Нюргай ещё продолжал расти,
Как отец послал их телят пасти.
Братья выгнали и пасут телят,
Было тех телят ровно семьдесят.*

*Братья бегают и не ведают,
Чем сегодня днём пообедают.
Вот уж есть пора, и сказал Нюргай:
«Брат Алтан Шагай, брат Мунгэн Шагай,
Здесь у нас телят очень много есть,
Вот бы нам втроём одного бы съесть».*

*Братья старшие не решаются,
Ведь родители заругаются.
Взялся их Нюргай успокаивать,
Уговаривать и настаивать:
«Мы съедем телка, а потом втроём
Шкуру травами посильней набъём».*

(«Три брата»)

Не могу не отметить мягкую, особую иронию — характерную черту, выделяющую его из ряда иркутских сочинителей. Его голос узнаваем, в нём угадывается сходство с Ростиславом Филипповым: их ирония родственна, она беспокойна, незлобива и многозначна.

*Конь красив и статен.
Это, кстати, знал
Тот, кто много статуй
В бронзе отливал.*

*Деятель и воин,
Облачённый в медь,
Каждый ли достоин
На коне сидеть?*

*Может, переплавить,
Если портит вид?
А коня оставить,
Конь пускай стоит.*

В книге «Ставенки резные» три раздела: поэтический, прозаический, и особняком обозначена повесть «Розовая чайка», написанная по мотивам бурятских легенд.

Лирические стихи выделены в главный и особый раздел, автор книги в первую голову поэт, умеющий свободно мыслить, выделяющийся особым поэтическим тембром голоса. Сегодня расплодилось множество сочинителей, перерабатывающих разнообразную современную информацию, подобно мясорубке, и легко усвояемый фарш доставляющих к столу невзыскательного читателя. Нашего поэта обошли формальные веянья века: лесенки и горки, механические формы, головные образы, жаргонные обороты, разъедающие традицию. Кобелевское следование традиции творческое, и это делает его стихи глубже.

«Ставенки резные», названные автором *рассказом в стихах*, написаны размером финского эпоса «Калевала», но разве думаешь об этом, когда читаешь из русских стихов и образов составленную, я бы сказал, *лирическую* поэму. Вот вам и всемирная отзывчивость русского человека, его способность чужое воспринять как своё и сделать своим!

«Подошла к концу работа. Собирают в кучу стружки и обрезки от стропил. Кто-то песню напевает, закурил махорку кто-то. К окнам ставенки резные старый мастер прикрепил. Отошёл, полюбовался: да, красивые узоры, сам придумал те узоры, сам узоры вырезал. Пусть теперь украсят окна, пусть притягивают взоры, как хозяйка попросила, как хозяин заказал.

А хозяйская девчонка рядом с мастером вертелась, с восхищением смотрела на окошки, стены, дверь. Всем прохожим и проезжим ей похвастаться хотелось, что в таком красивом доме будет жить она теперь.

— Глянь на ставни, непоседа, их потом покрасить нужно. Белый голубь сел на ставню. Эти голуби к добру. Так что с Богом заселяйтесь и живите дружно-дружно... Положи топор на место, а то уши надеру!

Отскочила, засмеялась, убежала непоседа. Знала: мастер очень добрый, хоть и строгое лицо. А потом пронаблюдала из-за дворика соседа, как, замкнув их домик, мастер положил ключ под крыльцо. Тем ключом открыла двери. В доме тихо, жутковато. Планы строит: здесь, возможно, будет новая стена, здесь сундук, там столик будет, а вон там — её кровать. Нет, кровать пусть поставят возле этого окна. В эту щель, за подоконник, спрячет все свои копейки, тут шкатулочку поставит, тут — коробочку для лент». («Ставенки резные»)

Как-то в разговоре Александр Кобелев сказал: «Свои стихи я вначале публикую в районной газете «Свет Октября». Земляки мои иногда путают меня с моими героями, когда я пишу от первого лица. Стихов о любви у меня не больше пяти, иногда спрашивают: «А кто это твоя чернобровая? А кто такая Людмила?» Многие считают, что я пишу на бурятскую тему, потому что знаю бурятский язык. К сожалению, не знаю, кроме нескольких фраз и слов. Один из моих знакомых как-то спросил: «Прочитал — глазам своим не поверил. Ты что, на самом деле сильно пьёшь? А вроде бы никогда тебя пьяным не видел». О пьяницах я пишу, потому что им очень сочувствую — каждый имеет право на счастье, и жаль, что это чувство они получают только в пьяном состоянии. Снимаю шляпу перед теми, кто смог пересилить себя и «завязать». Для меня главное в жизни — земляки хорошо относятся к моему сочинительству, за что я им благодарен. Добрые слова окрыляют. В творчестве главное найти нужную тему, а зарифмовать я могу любой текст».

Этим он упраздняет «муки творчества», о которых любят, повторяя друг друга, писать несостоятельные сочинители.

Для Александра Кобелева поэзия — занятие лёгкое, вдохновенное и радостное, потому я уверен, что и в читательской душе она отзовётся светло и сочувственно.

ГРИГОРИЙ БЛЕХМАН

Безмерность в мире мер

О ПОЭЗИИ СВЕТЛАНЫ ШЕГЕБАЕВОЙ

Когда читаю стихи Светланы Шегебаевой, невольно приходят на память слова Марины Цветаевой: «Что же мне делать... с этой безмерностью в мире мер». Чувствую, что и Светлана постоянно задаёт себе такой вопрос, потому что он в той или иной тональности звучит во многих её поэтических строках:

<i>Так хочется о главном говорить... Пожить хоть напоследок «нараспашку», Открыто ненавидеть и любить, И на груди хоть раз рвануть рубашку,</i>	<i>Душа ж рыдала так, что Ангарой Восставшею сбегала от сторожи!</i>
<i>Вступая смело, прямо в честный бой — Так, чтобы и за правду, и за дело, Не сгоряча, по пьяни, на убой, А потому, что надо! И — хотелось.</i>	<i>Сбегала, чтоб бороться и парить... На что земля крылатой баловнице? Лишь для того, чтобы могла вкусить, От удовольствия освободиться?</i>
<i>Ах, сколько лет молчали мы с тобой! Мол, кто такие мы? И что мы можем?</i>	<i>Не слишком ли? А может быть, другой Есть смысл ещё, чтоб на земле родиться: Познать её, признать, в неё влюбиться, И с ней расставшись, стать самой собой!..</i>

Так уж распорядилась природа, что жить не по большому счёту и дышать не полной грудью поэту Светлане Шегебаевой не дано. И как человек умный и тонкий Светлана понимает или, может быть, скорее чувствует, что идти против природы — грех, и что высший смысл бытия — это гармония с тем, чем наделило тебя твоё естество. Потому что только так можно в конечном счёте «стать самой собой».

А самой собой для неё, как уже отметил, — это жить «безмерностью в мире мер». И конечно же, в первую очередь по отношению к самому сильному на земле чувству:

<i>Вас Ева яблоком прельщала, А я Вам подарю — зарю!</i>	<i>А я всё та же... Лишь обличье Пришлось сменить и дать зарок</i>
<i>И много это или мало, Не думаю совсем... Дарю!</i>	<i>Являться только песнопевцам, Видавшим троллей и сильфид...</i>
<i>Что спорить о любви? Не нынче Господь воздвиг небес чертог...</i>	<i>Не верь, что у меня нет сердца — Конечно, есть! Но не болит...</i>

Так она и живёт — бездонностью чувств, дарованных ей природой. Порой любит эпатировать парадоксально высказанной мыслью. Делает это талантливо и, если так можно выразиться, — с элегантно-дерзким темпераментом, заложенным в ней генами её восточной крови.

Но, думаю, главное, что движет поэтом и личностью Светланой Шегебаевой, очень лаконично выражено в её восьмистишии:

*Платите щедро за любовь — любовью.
Не яростью платите и не болью —*

*С начала мира до конца времён
Любите нежно тех, кто в вас влюблён.*

*И горечью вознаграждать не надо
За свежесть чувств, за откровенность взгляда.
Не оскверняйте чистоту колодца —
Пусть пьют Вам из него и не придётся.*

В двух заключительных строчках этого стихотворения выражена многовековая мудрость, благодаря которой мы ещё живём на земле в том облике, какой нам дан свыше. Потому что именно любовь к ближнему и позволяет назвать человека «Человеком».

А поскольку у каждого из нас любовь к ближнему начинается с любви к маме, стихотворение любого поэта, посвящённое маме, всегда трепетно, священно и наполнено самой высокой благодарностью, которая нередко вмещает в себя ещё и запоздалые раскаянье, печаль, горечь... В таких стихах душа поэта выливается до дна — без малейшей недосказанности. Так и у Светланы:

*Моя мама ушла.
Вышла из дому, дверь затворила.
Сумки в руки взяла —
Сразу три, как всегда — не по силам.*

*.....
И ушла. Навсегда.
Плачу, вещи её разбирая.
И вдвойне, и тройне
Заплатила бы, если б могла я*

*Чёрный день пережить,
Вспять его повернуть, переделать:
Никуда не спешить.
Ничего не позволить ей делать...*

*Вечно нам недосуг.
Мы же взрослые, думаем, знаем,
Что у мамы недуг.
Что смертельный он, не понимаем...*

*Всё. Одна я теперь.
Никому я отныне не дочка.
В длинный список потерь
Мною вписана мамочка... Точка!*

И это первое наше чувство любви — любовь к маме — формирует в каждом из нас по мере нашего взросления любовь ко всему остальному, что становится нам дорого. У поэта такое чувство выливается в лирику любовную и гражданскую, лирику природы и даже в некоторые философские мотивы.

Вся эта палитра чувств ярко звучит в поэзии Светланы Шегебаевой. Поэтому так сильно действуют на читателя мотивы её стихотворений, где душа поэта полностью вкладывается в строку. Вот, например, как пишет Светлана о Великой Отечественной войне:

*Что скажет лёгший под Москвой, поднявший
В атаку кровью вмёрзший в землю взвод?
А тот, уже в Берлине умиравший
От ран вдали от дома... он — поймёт,*

*Какие побудили нас причины
Забывать, что мы их внуки и сыны?
Сорвите с лиц фальшивые личины —
Поймите, что не нам, а мы должны:*

*Встать сами, поддержать того, кто рядом,
Признать свой тяжкий русский крест и рок!
Чтоб тот, кто пал в бою под Сталинградом,
Потомками назвать — признать! — нас мог!*

Здесь очень важна фраза: «не нам, а мы должны», потому что в ней отчётливо видна личность человека — его духовная философия. И будто продолжением духовной философии Светланы Шегебаевой звучит её стихотворение «Властителям и судиям»:

*Справедливость часто вне закона.
Он не выше истины. Закон.
И, когда не щит он, а препона,
Должен, значит, будет поправ он!*

*Только Божий суд и непреложен.
Остаётся лишь мечтать о нём.
Жаль, мы знать заранее не можем,
Кто из нас уже приговорён,*

*А кому оставлена надежда...
Но предупреждение было нам:*

*Судят там отнюдь не по одеждам —
По делам и мыслям судят там.*

*Брать пример бы надобно владыкам
С праведного этого суда:
Чтоб прослыть в истории великим,
Быть великим нужно иногда...*

*Справедливость — высший смысл Закона.
Истины орудие — Закон!
Если же не щит он, а препона,
Должен, значит, будет поправ он!*

Философская мысль любого Художника в конечном счёте приводит к рождению поэтических образов. У Светланы они обычно неожиданны, поэтому нетривиальны и наполнены таким смысловым воображением, что действуют на воображение читателя очень эффективно. В частности, картины, составленные из таких образов, позволяют увидеть хорошо знакомые предметы и явления окружающего мира более ёмко, чем видел прежде:

*Мир мудрой лаской полон до краёв.
В его лесах застыла песня света:
Желтеющими почками стогов
Беременеет молодое лето.*

*И каждый год, снегами лик укрыв,
Земля уходит в зимнюю истому,
Чтоб приумножив жизнь и сохранив,
Припрятать до весны в глубокий омут.*

*А в новый срок, разбужены весной,
Лучами солнца бережно согреты,
Поля опять украсятся травой
И соловьи споют свои сонеты...*

*Всё в мире обусловлено. И я
В нём тоже луч прозрачной силы света.
Перед разливом неба — алтаря
И при свечах берёз легко отпета.*

Когда читал заключительное четверостишие, невольно ощутил высокую степень внутреннего слияния поэта с мирозданием.

Это ощущение продолжает утверждаться в моём восприятии, когда читаю:

*Бог избрал меня для мучений —
Не для скромного бытия.
Не для радости — для сомнений,
Напряжения мысли для.*

*Я молилась не в храме Божьем,
Я просила, но не в церквях:
«Дай мне, Боже, чтобы — не строже,
Чем колодницею в цепях.*

*Накрест грудь платком подвязавши,
В лёгких лапотках, да с сумой —*

*Дай пройти мне Россией раньше,
Чем однажды придут за мной...»*

*Что ни день, маету иную
Сторожит у ворот беда...
Для чего ширь мою лесную
Превратили вы в города?*

*Вот сбежала легко дорога,
Улеглась на лесной груди.
Небо смотрит светло и строго...
Ах, как много вёрст впереди!*

Мысль, выраженная в заключительной строчке первого четверостишия, проходит через многие стихи поэта в самых разных вариациях, но с единым предчувствием — для чего, по большому счёту, Бог избрал каждого из нас. А о том, какие душевные переходы Бог может подарить, читаем, например, в оригинальном по сюжету и лингвистической стилистике стихотворении «Перед и после»:

*Почти спокойна. Передвечер.
Иль передутро — горя мало.
Опывшая слепая свечка
Упрямо тянет тень бокала*

*По скатерти. Дрожит, змеится
Дымок над фитилём чадящим.
И сердце... Сердце трусит биться
Меж будущим и настоящим.*

*Всё замерло. Всё в ожиданье.
Всё в стадии передпохмелья.
Переплавляется в страданье
Уставшее послевеселья.*

*И тает цвет, плывёт фактура
Реальности, взорвавшись болью.
Все бесы ада караулят
Мою измученную волю.*

*Я скоро сдамся — скоро, скоро...
Я ваша. Но не торопите.
Души последнего затвора
Не взламывайте, обождите.*

*Передтоска — после утраты.
После разлуки — посленежность.
И наступающей расплаты
Оправданная неизбежность.*

Эти состояния — передвечера и передутра, передпохмелья и послевеселья, передтоски и посленежности — льются в её строках чарующим волшебством изысканного блоковского воображения, изящества и объёма мысли.

В целом же мне приятно отметить, что, читая стихотворения Светланы, ощутил в ней Художника. Потому что истинный Художник, как показывает история, пишет об одном — о глубинной сути человека. Но поскольку каждый из нас по велению природы рождается сугубо индивидуальным, то и форма выражения этого глубинного у каждого Художника своя. Она и определяет — оставит ли время потомкам твоё имя или нет.

И я желаю Светлане того, что пожелала она себе:

*...Дар жизни недаром зовётся.
Что проку о нём сожалеть?
Ведь так изначально ведётся:
Прийти, победить, умереть...*

*.....
Доподлинно верю и знаю:
Нет брода в вселенском огне!
И лишь на одно уповаю,
Что вспомнит Господь обо мне.*

Судя по тому, как водит Господь её пером, он помнит о поэте Светлане Шегебаевой постоянно.

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ

«...И чутко дремлет дикий эдельвейс...»

О СТИХАХ АЛЕНА ШИПИЦЫНОЙ

В последние годы, читая сборники стихов подавляющего большинства молодых поэтов, с горечью замечаешь: Муза не соизволила посетить авторов в момент их поэтических исканий. Закончен труд. Жаждающие признания читатели авторы счастливы и довольны. Вроде бы всё на месте. И ритмика кое-где не нарушена, и рифма какая-никакая всё же присутствует. Не хватает таланта. Где удивляющие эпитеты, яркие метафоры, запоминающиеся образы? Где опозтезированные чувства автора? Нетути!.. Одним словом — непонятки. Но скрипят, скрипят перьями стихотворцы, не задумываясь о тех, кто будет читать их творения, оценивать по достоинству. А ведь, в конечном счёте, от них зависит творческое будущее автора.

Да простит меня читатель за грустные мысли! Есть и обнадеживающая новость. Не так давно я получил большую подборку стихотворений от иркутянки Алёны Шипицыной. Просьба была необычной — автор просил критическую оценку работ. Следовательно, автор серьёзный. Только графоманы не воспринимают критику. Любое замечание ими принимается «в штывики», и всегда находят несерьёзные обоснования. Стихи Алёны Шипицыной предельно понятны. Не скрою, в предложенной подборке встречаются неудачные строки. (В отдельном письме автору указано.) Но, в подавляющем большинстве, в целом, работы состоялись. Чтобы не быть голословным, курсивом комментирую наиболее интересные фрагменты отдельных стихотворений. Значимые строки — полужирным шрифтом.

Бабушка заводит пирожки

Памяти причудливый узор: — Эпитет.

У печи так жарко мне и сладко.

На стене раскинулся ковёр, — Метафора.

В золотистом фантике помадка.

Бабушка заводит пирожки,

Действия размеренны и чинны. — Священнодействие!..

Бабушка, немного подожди,

Я сама придумаю начинки.

Тесто дышит, вширь растёт и ввысь,

Ноздревато, пышно, ароматно. — Ярко зримая метафора.

Годы друг за другом пронеслись,

Детство упорхнуло безвозвратно. — В этой метафоре основная мысль поэта.

Вот бы кто затеял пирожки. —

Бабушка!!! — Да, кто теперь услышит...

За окном сентябрьские дожди

И тихонько опадают вишни.

Поэт с печалью осознаёт неизбежность жизненных утрат.

Нежная грусть взрослого человека об «упорхнувшем детстве» с любовью показана в стихотворении с незатейливым названием «БАБУШКА ЗАВОДИТ ПИ-

РОЖКИ». Автор с первой фразы приглашает вспомнить родную бабушку читателя или читательницы, утверждая неразрывную кровную связь поколений.

Аларь

Здесь веков не потревоженная пыль, — *Эпитет*

Вдоль дороги подорожник и ковыль: — *Фрагмент степного пейзажа.*

К небесам восходят маковки Саян, — *Зримая метафора.*

Укрывает солонцы трава-буян. — *Эпитет.*

Ламский сад, улзетской рощи полоса,

Звонких скворушек родные голоса. — *Метафора из двух эпитетов.*

Вдалеке узор загадочной тайги. — *Эпитет.*

За Аларкой кружевные тальники. — *Эпитет.*

Детский смех и осторожный детский след. — *Эпитет.*

Неуверенный вопрос, простой ответ.

Мы невольно сердцем тянемся домой,

Где для нас ещё горит огонь живой.

Эффектным окончанием стихотворения поэт с любовью говорит о своей Малой родине. Его поэтическое видение передаёт читателю зримую зарисовку родных мест автора. Почти каждая строка снабжена эпитетом.

В следующем стихотворении развёрнутая метафора в каждой строфе:

Прибайкалье

Земля рождает дерево без мук,
Из вод на свет выходит голомянка,
Прозрачна телом трепетным и мягким,
Протяжный в горле сдерживая звук.

Гора с горой намерена сойтись,
Устроить в поздний час прощальный сейшен,
Долины красоту принять неспешно
И, наконец, потолковать «за жизнь».

И ты живёшь — эндемик здешних мест,
Пьёшь жадно этот воздух заповедный,
В руках синица, в небе плод запретный...
Здесь духи снов соседствуют окрест,

И духи исполнения желаний,
И чутко дремлет дикий эдельвейс,
Окутанный теплом воспоминаний.

В следующей работе — целостный поэтический образ. Начинающим поэтам крайне редко случается создать его. Алёне Шипициной удалось.

Город мой

Город мой градов и затяжных дождей.
Город — отрада панков и ворожей.
Город — награда гордых и молодых.

Город мой — дар мой, стих.
Город — виновник, совесть и стыд, и страх.
Город — любовник в шёлковых простынях.
Город болезных, город плохих больниц.
Город любезных и странных лиц.
Весь от вокзала и по трамвайной линии вверх.
Город базарный, пёстрый — и смех, и грех.
Город, куда я сбежала от всех «домой».
Город до боли... мой: — *Эта рифма — находка автора.*

Читатель, знающий Иркутск не понаслышке, по выделенной строке без труда узнает, образ какого города создал поэт.

Замечу, в отзыв не вошло много стихотворений, достойных публикации. Большой объём каждого не позволяет рассмотреть их в данной работе. Перечислю лишь особо значимые: *Девять кругов, Как живёшь, брат? Поезд Владивосток — Новокузнецк.*

Немало в творчестве Алёны Шипицыной поэтических строк, особо впечатляющих: «...*Дед вяжет сети, // ельчиком челнок // ныряет в полноводье нитей белых*», — «Нить прошлого», «... *Прощальная песня птицы // оставляет долгое эхо на дне колодца*» — «Жизнь не сказка», «...*Не к добру потемнела долина // ошалелые ласточки низко рисуют круги*» — «Какая всеохватная грусть...» В стихотворении «Триединое» пронзает сознание равнодушного читателя крик души автора: «...*Девочки, девушки, что с вами сделали, // взрослости чашу налив?*»

Даже без более углублённого анализа, у Алёны Шипицыной, несомненно, есть поэтический дар из родника жизни. Желаю ей новых творческих успехов!

ЕЛЕНА ЧУБЕНКО

Журнал «Сибирь»: обращаться со словом нужно честно

Дорогие читатели, хотим познакомить вас с интересным изданием, которое есть в фонде Улётовской районной библиотеки. В эпоху недостаточности финансирования на периодику остаётся только сожалеть, что далеко не всё, что считаем нужным, выписывается для наших книжных и журнальных полок. Всегда грустно, что хороших журналов до обидного мало, поэтому радуется, что фонд пополняется порой за счёт подарков наших читателей. Вот и этот журнал «приехал» к нам прямо из Иркутска, с презентации.

Журнал «Сибирь» — это литературно-художественный и культурно-просветительский журнал писателей Восточной Сибири, родившийся в 1930 году. Сдержанный, аккуратный и грамотно продуманный дизайн сразу привлекает своей серьёзностью, в нём нет места рекламе или лишней информации. Он творчески ярок и многогранен, в нём интересным образом сочетаются такие рубрики, как поэзия, проза, публицистика, хрестоматия, скрижали истории, события, критика, вернисаж и многое другое.

Этот журнал — настоящая находка не только для читателя, но и для библиотекаря, учителя литературы, а также учащихся различных учебных заведений.

Гордимся, что в таком замечательном издании печатаются произведения забайкальских авторов, в том числе нашей землячки Е.И. Чубенко. Приглашаем всех, кого заинтересовало данное издание, посетить районную библиотеку и познакомиться с ним поближе.

**Е. Мурзина,
заведующая отделом обслуживания Улётовской районной библиотеки**

* * *

По великому счастью, случившееся в пору «Забайкальской осени» 2018 года знакомство с писателем Анатолием Григорьевичем Байбородиным дало мне настоящую энергетическую подпитку, какую могла дать, наверное, только стремительная ангарская вода.

Общение с ним наконец-то дало мне то, чего я никак не могла ухватить здесь у себя, в Забайкалье, в недрах нашей писательской организации. Это — убеждение, что я иду по правильному пути. Слишком уж часто пеняли мне на то, что нельзя все время сидеть на теме деревни, нужно развиваться. Как будто можно одним махом снять с себя кожу, надеть новенькую голову и стать вдруг другой. Как будто можно выбирать и выдумывать темы, когда они во мне в силу рождения, и так много их еще, ненаписанных.

Почитав «Деревенский бунт» и «Озерное чудо» Байбородина (к стыду своему, не читала раньше ничего у этого автора), стала искать и читать ещё и ещё, радуясь и встрече с детством, деревенским бытом, нашими родными деревенскими словечками...

И мудростью. Потрясающей мудростью строк, поскольку на каждой странице — бесчисленное количество пословиц, поговорок. Книги Анатолия Гри-

горьевича оказались для меня спасительным плотом в бурных водах современной литературы.

Познавательным показался очерк «Русский обычай», найденный мною в Интернете. О православии, об отзвуках язычества, о суевериях и происхождении всего этого и глубоких корнях, которые таятся еще в дохристианской эпохе.

Сейчас мощные информационные потоки со страниц многочисленных интернет-изданий и порталов, рассуждения на эту тему, как мне кажется, могут запутать кого угодно: историки, исследователи, политологи раскрывают свои точки зрения на те или иные явления и события, в том числе и об этом.

А здесь анализ, который подкупает и поражает тем, что чуть ли не в каждом абзаце — ссылки на литературу, в т. ч. и древнейшую. То есть не рассуждения «по поводу» и чьи-то поверхностные суждения, а глубочайший анализ первоисточников, от Библии, Жития Святых, Матфея до Карамзина, Шукшина и Рубцова — фактически полноценный научный труд.

За великое счастье приняла предложение Анатолия Григорьевича прислать в журнал «Сибирь», главным редактором которого он и является, несколько своих рассказов.

Самым теплым воспоминанием моего детства были именно литературные журналы: «Сибирские огни», «Роман-газета», «Нева», где можно было найти интересные повести, рассказы, стихи, публицистику. К сожалению, в последнее время со словом «журнал» ассоциируются полные рекламных проспектов гляцевые журналы, пропагандирующие какой-то иной мир — мир потребления, роскоши. В котором, что уж и говорить, далеко не все чувствуют себя как дома. Журналы переродились, и я просто боюсь брать их в руки — неузнаваемо яркие, не те. С трепетом держала в руках номер первый и второй «Сибири».

Журнал, как добротный шкаф у рачительного хозяина: тут тебе и хрестоматия с Бажовым и Иваном Крыловым, Тарасом Шевченко, и «Обращаться со словом нужно честно» — выбранные места из переписки Гоголя, которые я не встречала ранее нигде.

Поэзия и проза, в числе авторов и знаменитый Владимир Петрович Скиф! Публицистика и критика. А чего стоила подборка «Вы снова здесь, изменчивые тени» — воспоминания о писателях Иркутской стенки?! На презентации я увидела лично автора строк о знаменитых иркутских писателях — Тамару Бусаргину. Увидеть эту женщину, послушать ее... Подобная подборка стоит больше цикла лекций об этих авторах — настолько живыми, не бронзовыми и заретушированными до неузнаваемости представляли они в ее воспоминаниях.

Дискуссия о Солженицыне — личности сложной, неоднозначной, в журнале проливает свет на многие оговорки и недомолвки, о которых ранее мне приходилось читать.

Мало того, что журнал существует как некое уникальное явление, позволяющее собирать в свою сокровищницу творения умов писательских, так еще и продумана процедура презентации каждого номера, которая становится каждый раз праздником.

Согласитесь, это же праздник, когда тебя, молодого, или не молодого, но начинающего автора, опубликовали и пригласили на презентацию номера? Какие теплые слова находят для каждого выступающего ведущие презентации журнала, подбадривают именитые мастера, а порой кто-то получает и советы, нередко ироничные, но толковые.

На нынешней «Забайкальской осени» — традиционной, 54-й по счету, уже второй раз присутствовал А.Г. Байбородин. С каким вниманием прислушивались к его словам о роли литературы слушатели в зале. Публика была довольно разношёрстная: и студенты, и подлинные любители книги, которые стараются не пропускать подобных встреч, и забайкальские авторы. Мнение А.Г. Байбородина о предназначении литературы было таким живым и простым, без зауми, что даже вызвало в зале живую полемику.

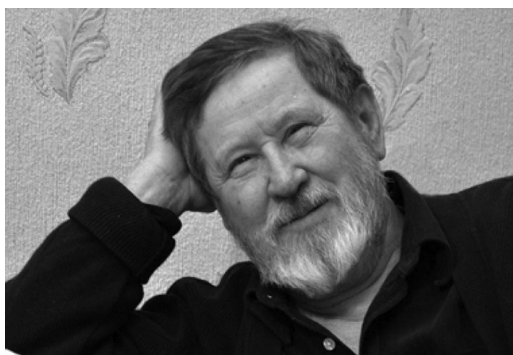
Литература, да и не только литература, а любое произведение искусства — оно или от Бога, или от дьявола. Каждый автор принимает решение, каким силам служить. А как определить — от кого? Вот если вам после прочтения хочется жить — значит, от Бога.

Как все просто... Почитайте журнал, уникальное пособие для любого человека, любящего литературу, в журнале есть все, на самый изысканный вкус.

Очевидно, что журнал под редакцией Анатолия Григорьевича — это духовный посыл нам, каждому читателю, для того, чтобы мы не забыли, какая душа смолоду ютилась, какую Бог даровал.



ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН



Русская песня

Сказы из книги переживаний «Сон золотой»

Писатели — народ странный, ну прямо дети; жить с ними трудно, ибо в каждую щель лезут со своей указкою, но и без них нельзя. Свою внутреннюю язву «дражнят» в упоении и невольно этой чесоткой заражают многих. Знать, для какой-то цели Бог наслал их на землю вместе с грехами, слабостями, шалостями и весьма сомнительными достоинствами, которые, однако, перевешивают все их недостатки. Вот, вроде бы, и не сеют они, и не пахнут, балуются со словами и буквами, бессмысленно истрачивая драгоценную жизнь, но эта хитрая умственная игра с Богом и дьяволом исполнена такого непонятого вещего смысла и такого притягательного, обавного чувства, что за литераторами, как слепые за

ЛИЧУТИН Владимир родился 13 марта 1940 года в городе Мезень Архангельской области. В 1959 году окончил лесотехнический техникум, в 1963–1969 году — факультет журналистики ЛГУ имени А.А. Жданова, в 1975–1978 году — Высшие литературные курсы при СП СССР. Автор повестей: «Белая горница» (1972), «Иона и Александра» (1973), «Долгий отдых» (1974), «Вдова Нюра» (1973), «Душа горит» (1976), «Бабушки и дядюшки» (1976), «Золотое дно» (1978), «Крылатая Серафима» (1976), «Последний колдун» (1977), «Домашний философ» (1979), «Река любви»; автобиографические повести: «Сон золотой», «Путешествие в Париж», «Анархист», «Год девяносто третий, вид из деревенского окна», «Вышли мы все из народа». Романы: «Фармазон» (1979), «Любостай» (1983), трилогия «Раскол» (2000), «Миледи Ротман» (2001), «Беглец из рая» (2005), «В ожидании Бога» (2017). Личутин В.В. Собрание сочинений в 14 томах. М.: Вече, 2018. Художественная публицистика: «Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе» (1989), (Д.Н. с дополнениями (2000 г., 2012), «По морю жизни на русском челне» (2016), «Уроки русского», 2014 г. «Большая литературная премия России» (2006) за роман «Беглец из рая». Награды: Литературная премия «Ясная Поляна» (2009) за роман «Раскол», Литературная Бунинская премия (2011) — за повесть «Река любви», премия Правительства Российской Федерации (26.12.2011) в области культуры — за книгу «Раскол», премия «Золотой Дельвиг» — Всероссийская премия им. А. Дельвига (2012) — за исследования национального характера и духовной природы русского человека в книге «Душа неизъяснимая», премия им. Ф. Абрамова за роман «В ожидании Бога» (2020)

поводырями, мы охотно тащимся, словно зачумленные или опоенные «мухомором», и в этом наваждении порою готовы свалиться в яму... Но ведь писатели и сами-то походят на нищую братию, на калик перехожих и, уцепившись за идею учительства и за чувство превосходства своего, как за «вервь непроторженную», готовы в любую минуту, поддавшись человеческой беспомощности и унынию, с повязкою на глазах взмолятся к Господу: «И кто нас оденет, обует, и кто нас теплом обогреет...» Баюнки и обавники, спасители человечества и искусители, учителя и духовники, страдальцы и чревоушатели, дети Христа и спосыланники «не наших», — сколько всего густо и неразборчиво понамешано в этой породе... К ней по завещательной и неисповедимой судьбе принадлежу и я...

А по складу письма сразу виден сочинитель: или гордец он, или простец, или на дуде игрец, самовлюбленный он, или Богом удивленный, кто всякий смысл на небесах прочитывает.

Одни пишут трудно, измощая себя по ночам, изнуряясь кофею, вытягивая из головы строки, как собственные мозговые извилины, свою судьбу они видят как жертвенную, необыкновенную и тем невольно гордятся собою, как Божии посланники... (Федор Достоевский). Другие же сочиняют, как на дудке поют, будто в горле завелась серебряная горошинка, и вот, запрокинув голову, они словно бы считывают стихиры с неведомых нот, что развешаны меж облак... (Сергей Есенин).

Сергей Залыгин, например, писал роман кусками, не зная, куда выведут они, в какие дебри, после раскладывал исписанные страницы на полу, как игральные карты для пасьянса, и, ползая на коленях, наводил в этой путанице сюжетные концы. Залыгин был инженерного ума, рационального склада, вот и строил роман, как натуралист-дарвинист, вырешивая людские судьбы через математическую задачу.

Одни всю жизнь переписывают уже однажды сотворенное, в этой переделке находят болезненное удовольствие, похожее на мазохизм, пытаются дважды войти в одну реку, повторить пережитые чувства (Леонид Леонов).

Другие пишут сразу набело, вытягивают строку, как шелковую нить шелкопряда, и уже никогда не возвращаются к тексту, то ли стыдясь его, то ли боясь повториться.

Виктор Астафьев порою писал в день по пятьдесят страниц и более, как бы освобождаясь от тяжелой сердечной гнетей, а разрешившись от бремени, годами переплавлял словесный хаос, просеивал от шелухи через частые решета. Шутник и балагур, порою матерщинник, пересмешник и злоязычник, с какой-то однобокой желчной памятью, — на письме Виктор Петрович был необыкновенно нежен, чист и романтичен. Он прирос к каждой истинно русской душе своей простонародностью, ароматностью, полнозвучностью слова...

Лев Толстой переделывал тексты по десятку раз, его корявую руку не мог понять никто, кроме супруги. Само писание, чувство слова, течение мысли на бумаге доставляли ему наслаждение, похожее на любовь к женщине, лошадям, вину и картам. Плодовитость графа во всем была необыкновенна (уже сто лет черновые варианты Толстого — хлеб для вечно несытых литературоведов).

Девиз Олеси — «Ни дня без строчки». Но накуковал лишь два тома.

Василий Белов (по его признанию) садится за письменный стол с чувством неизъяснимой радости.

Александра Куприна жена привязывала к стулу, чтобы он исполнил свой дневной урок.

Кто-то сочинял на ресторанной салфетке, кто-то на лядвии любовницы, кто-то с кокоткой на коленях, в вагонном купе, в горячей ванне, на дружеской попойке, в землянке, перед терактом, на пересылке по этапу, в тюремной камере, в ссылке, «на шарашке», в эмиграции, в шалаше, в Кремле, на супружеском ложе с чашкою крепкого кофею... Магнат и табачный король Александр Потемкин для литературных трудов выстроил дом.

Кто-то пишет лишь перьевой ручкой, полагая, что все душевное и духовное из груди переливается на бумагу лишь через мозолистые подушечки пальцев. Это наивное заблуждение дает им право смотреть с чувством превосходства на тех, кто работает на машинке или компьютере. Для них это «поврежденные», неистинные литераторы, — всего лишь ремесленники (в том числе и «аз» грешный).

Валентин Распутин пишет тонко зачиленным карандашом и настолько мелко, что буквы-блошки его надо прочитывать через мелкоскоп. Они смиренны и покорны авторской воле, не скажут, и не городят огорожи. Такая манера позволяет, наверное, постоянно держать ум в напряжении, а сердце в узде.

Строка Александра Проханова похожа на кардиограмму и европейские готические башенки.

Мой отец оставил в школьной тетради всего лишь три странички фантастического романа. Почерк каллиграфически-изысканный, этакое писарское летучее гусарство с хвостиками и прочерками. Так зачастую пишет очень страстный, чувственный человек, сознательно утесняющий в себе всякую распущенность и несдержанность. Для него превыше всего «орднунг», долг и честь.

Многие советские литераторы, не имея приличного жилья, писали на кухне, на подоконнике, в ванной, порою и в туалете. Такая прижимала нужда и коммунальная стесненность.

Иные писатели, начиная произведение, знают, чем закончится оно. Вся интрига продумана, отступления от плана незначительны.

Другие же, подхвативши первую строчку, настроившись на небесную музыку, пишут, как Господь Бог направит, и каждое слово у них в лыко, нет никакой промешки и унылых длиннот, а рука спотыкается лишь тогда, когда все сказано, и любой звук будет уже лишним, разрушит симфонию текста. Для этого нужен особый редкий талант, когда ничего не убавить и не прибавить, когда литератор пишет, как дышит, он сродни изустному народному творчеству и обладает природной мерой.

...Я знал одну мастерицу из Вологодской области (к сожалению, запамятовал фамилию), что на кроснах (ткацком стане) ткала из тряпок не половики и дорожки, но художественные картины, и, держа в голове весь сюжет, тянула месяцами это полотно длиной метров пять, и ей нельзя было ошибиться, что-то подправить, но надо было постоянно держать в голове в мельчайших подробностях не только перспективу, содержание работы, десятки баб и мужиков, деревенскую гулевую среду, в которой идет праздник, но и блюсти природную меру, характеры, поведение, выстраивать уличную сцену, — а это ох как трудно, если голова гармониста (к примеру) состоит из одного тряпошного кукиша, на который надвинут картуз, но этот кляп из цветной покровки иль лоскута удивительно точно выражал не только физиономию гуляки, но и его нрав и норы, то сосредоточенное самохвальство и достоинство, кое присуще лишь сельскому музыканту, которого по принятому на деревне обычаю обхаживают все девицы — хваленки. Старушка, бывшая больничная сиделка, стала ткать картины, выйдя на пенсию, в семьдесят лет, и

скоро так преуспела в своем необычном таланте, что все ее работы разъехались по музеям страны... Помнится, я спросил ее, дескать, как это делается? И она ответила: «Не знаю... Все как-то само собой идет».

Русская песня

Мне думается, сначала появилась музыка природы: посвист осеннего ветра, шорох листвы под дождем, скрип деревьев, грохот камнепада, разгул грозы, трубный зов мамонта, вой волков. Это же симфония многоголосья и в каждую пору год особенного звучания... В стремлении к небесам, где меж гневных туч метались птицы, древний человек однажды потянулся вверх всем телом, чтобы вернуть утраченные крылья, и, выпрямившись, извлек из груди и выпел первые неверные слова.

Так появилась молитва-песня.

По русским песням можно понять, как взрослела, наполнилась чувствами душа человеческая, как вызревала нация. «Сказка-вралья, песня-правда», — говорят в Поморье. Их многие тысячи на Руси, целые необъятные своды исторического знания, потиху тускнеющие, опадающие в неги под гнетом ростовщического города, поклонившего под себя деревню. «Чтобы петь, нужна глубокая память: на беседке — беседошны, на вечерке — вечерошны, на лугу — луговые, в хороводе — плясальные». А еще были песни величальные и свадебные, солдатские и шутошные, винограде и песни духовные. А после к ним согласно пристали и застольные-советские: песенники, заведенные девичьей рукою, обычно были в каждой русской избе. Это были зачастую самосшитые толстые тетради с рисованными розочками, целующимися голубками, сердцами, безжалостно пронзенными стрелой Амура, засушенными луговыми цветами, короткими выдержками из мировой философской мысли, где речь обычно шла о любви и семье. И у сестры Риты тоже был такой пухлый альбом, и когда в разгоряченном застолье одна песня сходу поджигала другую, как скворчащее в печи бересто, а память гостей иссякала, тут-то и раскрывался в помощь верный помощник-песенник; помню, как я, недоросток, притулялся к сестриному боку, чтобы подглядеть забытую строку.

Один старик в Поморье признался мне: «Последние годы доживаю, а куль песен ещё не развязан».

И прежде тяжельно жилось на Руси, а пелось; песня — это праздник сердца, это просьба — молитва души, это торжественный поклон Господу, это горестный поминный плач по ушедшим, это страх перед забвением, предупреждение и остережение живущим. Песня духу дает здоровья, она крепит утробу и полирует кровь, очищает слух, возбуждает сердце и ярит плоть, побуждая к чувствам. И какие бы горя русские люди ни претерпевали, но песню тешили. Я еще сам застал ту пору, когда на сенокос бабы едут — поют, домой возвращаются — поют, на жатве — поют и у реки; цветисто сплетали голоса в полдник под копною и в праздничном застолье, на околице в хороводе и на посиделках; а я особенно любил выкричатся наодинку в лесу или на лугу, когда снежок щекотный сыплется с небес, иль метель подбивает в спину, чтобы заглушить тревогу или выплеснуть щенячью радость. Запеть в полный голос в одиночестве под родимыми небесами, когда ты один на весь белый свет — это испытать особенное наслаждение.

Песельница с Мезени Параскева Масленникова рассказывала мне: «Бывало

работаем с мамкой в кузне — поем, молота не слышно. Или когда избу ставили, сижу на срубе, топором тюкаю и песню пою о бабьей доле тяжелой. Тоска по сердцу так и перекатывается. Стонет, бывало, какой-нибудь мужик, помирать собрался, а я песню и заведу. Да не простую, игровую. Смотрю, — стонать перестал, а немного погода уже плечами в лад мне заподергивал. Потом баб сбила петь. С работы и в клуб, поесть не успею. Жонки идут на спевку, одна шаньгу по дороге доедает, другая кулебяку в рот доталкивает, а Нюрка-водовозка на ходу песни учит. У меня ухо остро. Услышу, не туда повела: ну-кось, выйди, подружка, из хора, посиди, послушай. Сама врешь, дак других не смущай. Бывало, кто помоложе, губу на сторону и слезы в кулак; таких быстро домой выпровожу, чтобы не мешали».

В Поморье поют наособинку, не как в срединной Руси. Поют, как вяжут тончайшие кружева, цветисто, с протягом, с выносом, на самых верхах. Так зимняя вьюга пристанывает в дымнице, пробираясь коленами печи в теплый кут. Слушаешь поморок, — и обжигает всего, и на слезу невольно запозывает, и не знаешь куда глаза спрятать. Наверное, простор этот, безбрежность земли, моря и неба, долгие зимы, ненастье, частые неизбежные тягости и породили этот орнамент, незримой цепью соединяющий нас с утекшей за тысячи лет русской родовой. Поют женочки так высоко, так пронзительно, что выше и не взяться; кажется, сердце сейчас от натуги лопнет, и голос вот-вот сорвется, как перетянутая струна.

Поют поморки, чтобы слово с губ вспархивало и летело, не присыхало к зубам, как коровья жвачка, без невнятицы и гугни, ибо правда песни, ее искреннее чувство живут лишь в образном слове; только слово дает песне родового и исторического смысла, без чего она становится первобытной и скатывается в пещерные дикие времена. Надо понимать, что прежде пели песни на людях, на кругу или на вечерке лишь девицы-хваленки, хороводницы, что на выданье, девицы, княгинюшки, у кого в груди не сохлось от забот, и зубы, как ядрышки. Женщины-матери пели в избе колыбельные или на покосе в гурту. Мужики пели на промысле или на лошади едучи: «Ямщик, песенку запевши, сам гонит тройку лошадей». Но я уже того хороводного девичьего пения не застал; чаще всего тянули песню крестьянки изжитые, изработанные, беззубые, но и эти бабени старались любовное слово донести, как предание, как воспоминание о минувшей жизни.

Хранительнице народной песни, профессору Нине Константиновне Мешко уже под девяносто; она не просто сторож, ключница при кованом сундуке с сокровищами, но научительница и учительница русской музыкальной эстетики. Из последних сил вроде бы упирается, старенькая, но не сгибается, духу не теряет, упорно стоит на страже, не дает обрушить народный строй песни, ее душу, пестует, выпускает своих птенцов по уголкам России, чтобы оборонить песню от шутовских ряженных одежд, ибо народной песне были свойственны строгость, порядок, выход, торжественность, благопристойность, скромность, душевный покой, сердечная радость. Профессор Мешко подхватила школу народного пения и, несмотря на искусства, держит ее в верности преданию; легко все изветрить, пустить в пыль и труху, но так трудно сохранить в прежнем чине, не подрезать песне крыльев. Вот она своим ученицам и внушает: «Народный звук — звук открытый. Как из кудели ниточку тяни. У хорошей пряжи нитка тонкая, ровная, а у плохой вся в узлах. Головой думать надо, — и показала на голову. — Есть закон, — думай всё наперед. Не когда запела, а прежде, чем голос подашь. Голос должен звучать на губах, там, где у тебя слово. Если весло глубоко в воде, лодка едва плетется, а

если поверху пускать — то она летит. Так и голос не надо прятать в горле. Надо научиться как бы стоять в стороне от собственного голоса и слушать его, и думать о нём, и руководить. Важно знать, тот ли это звук, от которого голос начнет развиваться, или сразу замрет. Прислушайся, чтобы песня запела внутри тебя. Северное пение самое трудное, текучее, звонкое, плавное, тонкое, проголосное, всё в изгибах и коленах, как тундровая река, переливах; голос вяжется, льется, прядется, но только не толкается, не бросается вон».

Для русской песни нужен особенный настрой, зажиг, напряг; песня ждет своей поры, подпирает человека изнутри, она рвется наружу из подвздошья, как из клетки, ей, как и человеку, нестерпимо хочется воли. И чем меньше воли в России, тем скуднее чувства; как редко нынче запоют в застольях, уже за чудо услышать песню на лугу или в поле, на околице у деревни, у реки. Это замирает, скукоживается, как шагреновая кожа, мертвоет наша национальная сущность. Вот будто властный и злой чуженин пришел на Русь со своим уставом и иначит, кроит народ без устали на свой лад, опошляет всё, к чему бы ни прикоснулись его руки.

Духовная, эстетическая сторона дела необъяснима и непонятна даже мастерице... Я гладил эту картину из тряпок и поражался неисследимой глубине русской души.

Долго можно толковать о писательском ремесле, той самой таинственной кухне, на которой в алюминиевых кастрюлях и чугуниках варятся «шедевры», о которой так любят сплетничать из «передней» литературы, подглядывая в замочную скважину минувшего, перетряхивать семейный быт, попойки, любовниц и любовников, болезни, недостатки, скверность характера, поступки, замысловатые колена отношений, — судачить о всем том глубоко личном, интимном, что вроде бы близко к писательству, может и прилегает каким-то боком к нему, опосредованно намекая на изюминку в человеке, но, оказывается, никак не раскрывает секрета, происходящего на писательской кухне, всех приправ, качества и аромата «художественного варева». Ибо все это только плотское, телесное, физиологическое, — о чем подглядывают, а духовное, душевное объяснению и толкованию не поддаются, ибо в них мало земного, но много небесного, что связано с Богом. Все вроде бы понятно: вот взял беллетрист стило, писало, гусиное перо, шариковую ручку, или окунул стальную «лягушку» в непроливашку, нажал клавишу печатной машинки или компьютера, и чувство, мысль писателя, возникнув в глубине сознания, разродились в виде бегучей строки. Ну и что? Суть так глубоко зарыта, что не докопаться до нее, ибо мы не знаем, что такое мысль, где ее жилище, каким образом она одевается в личину, наряжается в словесные образы. И вообще, в голове человека она обитает, или считывается с невидимого экрана, или нашептывается на ухо? ...А что такое слово?.. Откуда оно берется, где хранится его энергия и куда девается, а может в небесных «облаках» и озерцах скапливается до времени? ...Все ремесло лежит на поверхности, орудия его крайне просты (если нет рук, можно писать и зубами), но и все, слава Богу, необъяснимо, и оттого притягливо, завораживающе, словно блуждаем мы в густом непроницаемом тумане, похожем на свинцовую стену, сквозь которую не проткнуться никогда. Как бы мы ни бились лбом... Мы верно знаем, как зачинается и рождается дитя, но как его судьба запечатана в крохотном семени, каким образом сгущена вся история его вместе с чередой предков, — вот этого нам не поверит никто. И во всем том, что я припомнил о писателях, конечно больше мистики, суеверий, досужих причуд и старинных примет, — ибо все это лишь крутится вокруг необычных способно-

стей добывать «хлеб духовный», прилежит к ним, принадлежит им, но никак не объясняет их. Случается порою, что талант, этот дар Божий, бывает ниспослан человеку невероятно скучному, невыразительному во всех отношениях — в судьбе и облике, и в поведении, и в качествах натуры — этакому пресному «человеку в футляре», и как бы ты ни крутил его судьбу, как бы ни выминал из «глины его жизни» интригующий образ, а получается лишь обычный кухонный человек, приодетый в чужое нарядное платье... Область духа не подвластна нашему пониманию. Где плоть сопрягается с духом — там все неясно, все загадочно. Там религиозная мистика. А мистика — основа правды и сама правда.

Иной литератор напишет одну работу, порою чрезвычайно интересную, как бы вскрикнет, изумясь красоте матери-сырой земли, удивясь своему неожиданному таланту, а после и замолкнет, будто захлебнется горлом от переизбытка напоенного луговыми травами воздуха, и больше никогда не раскроет рта, прозябая длинную жизнь, и тайно презирая тех, кто упорно сидит за чернилкой (Андрей Скалон, «Живые деньги»).

...Другой же пишет и пишет, страдает непонятный урок, словно бы впрягшись в ломовую телегу, сам себя изнуряет в тесном хомуте, натирает холку, не видя белого света, заключив себя в добровольную темничку. Борис Бондаренко, уже тяжело больной, затворился в глухой деревнюшке в старую изобку в три окна, и, глядя в заиленное от дождя иль занесенное пургою стеколко, упорно вершил роман в сто печатных листов, и умер за столом от рака за последними его страницами. Что за неволя заставляла спешить, изнурять себя, что за наваждение царевало над ним, кто пригнетал на работу, какая невидимая рука вела и поддерживала его дух в мучительные минуты, когда от боли ссыхалась, изнемогала его утробушка. Такая судьба была прописана Бондаренко от рождения, и он исполнил ее беззаветно, а другого объяснения не сыскать. Дух и плоть боролись за человека и нечем, кто кого оборол в этом трагическом поединке... Какое-то роковое, тяжелое, но и победительное заключение жизни...

Пятилетняя девочка Даша, дочь нашей приятельницы, однажды спросила у церковного старосты: «Бог придет?» — «Обязательно придет», — ответил он. «Когда Бог придет, то позвоните, пожалуйста, моей маме». — «Обязательно позвоню», — пообещал церковный староста.

Мне думается, что Борис Бондаренко и писал в терпеливом ожидании Бога, может и чувствовал его присутствие за окнами, на сиротской улице, заросшей топтун-травой, ожидая всем сердцем, когда скрипнет похилившееся крылечко, отпахнется дверь, и в пустынное невзрачное жило войдет Он. Затворник опустится перед Ним на колени и скажет: «Господь, я исполнил Твой урок...»

И действительно вдруг захрустит снег под закуржавленным оконцем, протяжливо вскрикнет набрякшая дверь, и вместе с облаком морозного пара появляется на пороге жена Надежда с авоськами и сумками, его верный охранитель, ангел спасения...

70-летие Олега Анатольевича Платонова

ОЛЕГ ПЛАТОНОВ

главный редактор «Большой русской энциклопедии»



Триумф национальной мудрости

Совесть русской цивилизации

Выдающийся просветитель, ученый, писатель, общественный деятель, доктор экономических наук, главный редактор православно-монархической газеты «Русский Вестник», директор Института русской цивилизации Олег Анатольевич Платонов родился 11 января 1950 года в Екатеринбурге (что, на мой взгляд, промыслительно) в семье директора завода с твердой патриотической позицией. Его прадед владел небольшой фабрикой в Вязниках. Бабушка привила ему веру в Бога. Семья часто переезжала с места на место и вернулась в Москву в 1957 году. После окончания экономического факультета Московского кооперативного института работал в ЦСУ СССР, а после защиты кандидатской диссертации — в Институте Труда. В начале 70-х годов Олег Анатольевич решил взять быка за рога — написать капитальный труд по духовной истории Отечества «Россия во времени и пространстве». Не покладая рук много лет собирал материалы. С этой целью в 1974–1989 годах регулярно путешествовал по России. В результате этих исследований и поездок написал и опубликовал книги: «Воспоминания о народном хозяйстве» (1990 г.), «Русский труд» (1991 г.), «Русская цивилизация» (1992 г.), «История русского народа в 20 веке» (1996 г.), «Святая Русь. Открытие русской цивилизации» (2001 г.). Одновременно он издает труды русских национальных мыслителей, в том числе совершенно забытых при богоборческом большевистском режиме. Им издано более 500 книг по русской культуре и русскому миру. Платонов — настоящий титан русского национального просвещения. Не того вредительского «Просвещения» Дидро и Вольтеров, подготовивших кровавую французскую революцию с гильотиной 1789–1794 годов, а подлинного христианского Просвещения со знаком плюс. Платонов впервые в отечественной науке ввел понятие «русская цивилизация» и обстоятельно раскрыл его содержание: «Святая Русь является высочайшей вершиной духовно-нравственных достижений человечества, апогеем христианской веры». И далее: «В войнах и революциях, навязанных нашему Отечеству, сталкивались не просто стороны и армии, а две противоположные цивилизации — русская, духовная,

христианская, основанная на евангельских принципах добра, правды, справедливости, нестяжательства, и западная, антихристианская, иудейско-масонская, потребительская, ориентированная на жадное стяжание материальных благ за счет эксплуатации большей части человечества, упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия. Ценой огромных потерь воплощавший Святую Русь Русский Народ стал главной преградой на пути установления мирового господства иудейско-масонской цивилизации Запада». Платонов считает глобализацию формой войны, которую ведут США по установлению господства в мире.

Вызывает восхищение интеллектуальное мужество подвижника Святой Руси. Что касается его громадной просветительской деятельности на ниве оздоровления современного общества со светочами русской идеи, то я не вижу равных ему в этой сфере. Помнится, кто-то в разгар перестройки взялся было за создание «Русской энциклопедии», мы даже торжественно сфотографировались тогда на фоне Центрального Дома литераторов, но та энергия ушла в песок, ни одного тома не появилось. А Олег Анатольевич бесшумно и скромно взялся за гуж, за тяжкий труд создания энциклопедии «Святая Русь», и том за томом выходили с его сквородки под его редакцией. С осени 1998 года он приступил к изданию энциклопедии «Святая Русь. Большая энциклопедия Русского Народа», в которой предполагалось издать более 20 томов. Выпущено на сегодня 10 томов. Как православный христианин он взял благословение на свою деятельность у Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) (1927–1995), верного и стойкого борца за каноническую чистоту Православия. В середине 80-х годов Платонов — инициатор движения за восстановление Храма Христа Спасителя. Одновременно он активно участвует в работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое действительно было в тот период центром русского национального движения. Помнится, 20 сентября 1987 года — в канун 607-й годовщины Куликовской битвы и Рождества Пресвятой Богородицы — большая группа (около 500 человек) членов общества «Память» и ВООПИиКа (включая Облоухова, Сычева, Платонова, Д.Жукова, В.Брюсовой, Бурляева, Литвиновой, Онегова) пыталась установить в селе Городок (Радонеж), что по Ярославской дороге, памятник незабвенному Игумену Земли Русской Сергию Радонежскому работы В.М. Клыкова. Накануне по телевидению было официально сообщено отрицательное отношение Политбюро ЦК КПСС во главе с Горбачевым к этому патриотическому деянию. Лакействуя перед Америкой и мировой закулисой, хамелеоны из Политбюро осудили русский патриотизм. Как раз в это время Евросоюз тоже громогласно «осудил» общество «Память», а по сути — возрождение русского православного духа. Участникам акции пришлось пробиваться через кордоны КГБ и милиции, стоявшие между станцией Абрамцево и селом Городок. Власти арестовали памятник Святому Сергию и воспрепятствовали его установлению. Но «этот поход стал одной из героических страниц становления русского патриотического движения» («Святая Русь. Большая энциклопедия Русского Народа», том «Русский патриотизм», Москва, 2003, стр. 541–542).

В 1989 году на выборах в Верховный Совет РСФСР Платонов выступил с инициативой создания Патриотического клуба избирателей при Московском отделении ВООПИиК и стал сопредседателем этого клуба. За краткий срок Патриотический клуб выдвинул и поддержал более 30 русских почвенников. В конце 80 —

начале 90-х годов Платонов получил доступ в ранее секретные государственные архивы (ведь была провозглашена гласность!) и прежде всего в Особый архив КГБ СССР. Как известно, основу Особого архива составили трофеи Советской Армии в виде важнейших документов масонских лож и спецслужб противника, представлявших огромную ценность для Русского государства. Хамелеон Ельцин решил подарить своим дорогим французским каменщикам огромный пласт документов. Я видел тогда целый трейлер, загруженный секретными бумагами. В час ночи звоню депутату С.Н. Бабурину: «Простите за поздний звонок, но увозят или воруют архивы». Наутро Сергей Николаевич уже добился на заседании Думы прекращения вывоза Особого архива. В Особом архиве О.А. Платонов разыскал сотни уникальных документов, позволивших по-новому оценить многие события русской истории. На основе изучения найденных документов Платоновым была издана серия историко-архивных исследований «Терновый венец России». Благословил публикацию владыка Иоанн, который и дал название этой серии. За 1995–2001 годы в серии вышло 14 книг (включая переиздания), посвященные изучению тайной войны иудаизма и масонства против христианства. Специальные исследования серии были посвящены и тайной войне супостатов против христианских монархий, а также православных святых и подвижников. Особо исследовались ритуальные убийства Николая Второго и друга царской семьи Григория Распутина (которых сегодня бесстыдно и нагло хулит «Содружество актеров Таганки», худрук Губенко).

С 1995 года Платонов совершил 14 поездок в разные страны мира, около 7 месяцев жил в США. Собранный за рубежом материал лег в основу исследований, посвященных изучению корней и истории развития западной цивилизации, ее разрушительного влияния на общечеловеческую культуру. В своих работах Платонов доказывает, что современная западная цивилизация основывается на ценностях иудейского Талмуда и является антиподом христианской цивилизации. Его книга «Почему погибнет Америка» выдержала 8 изданий в России и за рубежом. Эта работа должна стать настольной книгой каждого русского патриота, особенно в наше тревожное время.

Интеллектуальное бесстрашие Олега Анатольевича проявилось и в оценке ритуального убийства Божьего помазанника царя Николая Второго и его венценосной семьи. В книге «Терновый венец России. История царубийства» (Москва, 2001 г.) он пишет: «Убийство царя Николая Второго и его семьи — самое тяжчайшее преступление во всемирной христианской истории. Силы, которые замыслили и осуществили его, покушались не просто на личную жизнь русского царя, его супруги и детей, а на мировой порядок, заповеданный человечеству Иисусом Христом. ...Мистический смысл преступления, совершившегося в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, состоял в том, что был убит не просто носитель верховной русской власти, а Удерживающий Христианской цивилизации, противостоящей тайне беззакония, воплотившейся в западной иудейско-масонской цивилизации, ядром которой сегодня являются Соединенные Штаты Америки» (указ. соч., стр.3). Лично я горжусь, что на первом, учредительном съезде православно-монархической организации Союз «Христианское Возрождение» (на частной квартире по улице Лескова) 17 декабря 1988 года присутствовал наш единомышленник Олег Анатольевич Платонов.

Сегодняшняя ненависть тамплиеров и Мирового правительства к защитнику православной русской цивилизации, державнику и монархисту Платонову в лице

пятой колонны, проникшей в правоохранительные органы, затеявшей пустопорожнее липовое «дело» против русского почвенника и вождя международного славянского движения, вполне объяснимо. Попирая Конституцию, российское законодательство, игнорируя даже отказ в иске инициатора возбуждения дела Прошечкина, глобалисты-западнцы продолжают в третий раз кочегарить фальшивое обвинение. И Страшного Суда не боятся. Судебное преследование выдающегося ученого и патриота России — это вызов всем русским, всем православным. Это вызов Родине.

Владимир ОСИПОВ
глава Союза «Христианское Возрождение»



Институтом русской цивилизации, с привлечением к сотрудничеству большого числа ученых и специалистов из целого ряда научных организаций, готовится к изданию Большая русская энциклопедия. Основная

цель Энциклопедии — подведение итогов развития русских общества и государства с древнейших времен до наших дней. Создаваемая энциклопедия представляет собой свод основополагающих сведений о духовно-нравственной и религиозной жизни русского народа, его святынях, обычаях, традициях, устоявшихся представлениях, государственных и общественных понятиях, географии, этнографии, геополитике и истории, экономике и бытовом укладе, культуре, литературе и искусстве, науке и технике, святых и подвижниках, царях и правителях, героях и выдающихся деятелях, создавших Великую Россию.

Русская энциклопедия призвана помогать всем гражданам нашей страны ориентироваться в понятиях, святынях, событиях и людях русского государства и общества. Она раскрывает не только духовно-нравственное богатство русского народа, но и его высокую способность решать духовно-нравственные, научные, технические, экономические и военные проблемы в условиях агрессивного натиска Запада. В соответствии с утвержденным словником и структурой Большая русская энциклопедия будет состоять из 30 томов объемом 150 печатных листов каждый и во всех томах включать и содержать не менее 45 тысяч иллюстраций.

Любая идеология (на то она и идеология) рассматривает мир с определенных позиций. Наша идеология — Православие и Святая Русь. В нашей энциклопедии мы всё и всех оцениваем с православно-национальных позиций, выражаемых в понятии «Святая Русь — русская цивилизация».

Создание энциклопедии подчинено логике православной мысли, высказанной владыкой Иоанном. Нами были систематизированы сведения о русской цивилизации, государственности, патриотизме, православном мировоззрении, истории и географии. «Русская цивилизация» — понятие, диаметрально противоположное понятию цивилизации западной.

Без понимания Православия невозможно оценить значение русской цивили-

зации, Святой Руси, хотя следует помнить, что оно не сводится к чистой церковности и образцам древней русской святости. Православие гораздо шире и глубже, так как включает в себя всю духовно-нравственную сферу русского человека, многие элементы которой возникли еще до принятия христианства. Православие увенчало и упрочило древнее мировоззрение русского народа, придав ему утонченный, возвышенный и всеобъемлющий характер. Для русского человека вера была главным элементом бытия, а для западного — «надстройкой» над материальным базисом. Отсюда — извечное противостояние русской и западной цивилизаций, особенно обострившееся в XX веке.

В энциклопедии рассматриваются история, идеология и практика Русского Православия, его основные понятия, явления и события. Сведения о русских святых и подвижниках благочестия, чудотворных и почитаемых иконах, православных святынях. Описание русских монастырей и храмов, как существующих ныне, так и давно закрытых и утраченных в эпоху богоборчества. Приводятся данные о епархиях, иерархах и священнослужителях.

Статьи, посвященные русскому государству, рассматривают русский государственный порядок, учение о православной монархии, самодержавном Российском царстве. История, идеология и практика державного строительства. Вселенский характер русской государственности. Избранничество в борьбе с мировым злом. Верноподданничество и гражданственность. Священные основы власти великих князей и царей. Жизнь и деятельность царствующих особ и государственных деятелей. Устройство государственного аппарата, его отдельных ветвей и учреждений. Законодательство и суд. Органы самоуправления. Сословия и государственные территории Великой России.

Наряду с верой в Бога патриотизм — высшее выражение духовности человека. Православие и патриотизм составляли духовно-нравственное ядро Святой Руси, русской цивилизации. Под знаменами «За Веру, Царя и Отечество» русские патриоты построили Великую Россию, сплотили вокруг себя и спасли от гибели десятки малых народов.

Начиная с XV века русский патриотизм был главной духовной крепостью на пути экспансии Запада, мечтавшего поработить и расчленив Россию. Русские патриоты принимали на себя главный удар внешних и внутренних врагов Отечества. Патриотическое движение объединяло любовью к Родине лучших сынов нашей страны — святых и подвижников, царей и героев, военных и штатских, выдающихся деятелей и простых людей, ставших гордостью и душой России.

В нашей энциклопедии впервые в отечественной энциклопедической литературе будут собраны самые полные сведения по истории, идеологии и философии русского патриотического движения. Раскрыты основные духовно-нравственные понятия, которыми жили русские патриоты. Собраны сведения о патриотических организациях, обществах, партиях, книгах, газетах и журналах. Даны биографии национальных героев и видных деятелей русского патриотического движения, внесших вклад в развитие России на основе отечественных обычаев, традиций и идеалов. Будут подробно рассмотрены особенности русского мировоззрения и философии, показан духовный склад ума русского человека. Мысли, идеи, духовно-нравственные представления Святой Руси, русской цивилизации. Учения и взгляды русских мыслителей, философов, проповедников идей русской цивилизации. Круг духовно-нравственных понятий русского народа с древнейших языческих времен через христианство и расцвет Святой Руси до XXI века. Мировоз-

зрение и образ мысли коренного русского человека. Величие русской духовной мысли от Феодосия Печерского до митрополита Иоанна (Снычёва).

Значительное место в нашей энциклопедии займут статьи, посвященные русской литературе, выражающей идеи Святой Руси, христианскую духовность и патриотизм. С древнейших времен до наших дней главная тема русской литературы — православная. Она создавалась людьми, «вскормленными духом Православия».

Образы и сюжеты русской литературы — отражение духовной схватки добра и зла, преодоление греховности падшего человека, стремление к его преображению на основе Нового Завета. Для русской литературы характерна оптимистическая вера в победу Божественных начал Добра и Справедливости, в особую миссию русского человека в борьбе с силами зла.

Мировое значение великой русской литературы, одной из высочайших вершин духовного развития человечества, состоит в том, что она указывает людям путь выхода из мрачного тупика, в который завела мир западная цивилизация.

В статьях, посвященных русской экономике и хозяйству с древнейших времен до XX века, исследуются идеи, учения русских экономистов, предпринимателей, купцов, сельских хозяев, создавших в России мощную, эффективную, конкурентоспособную экономику, независимую от других стран и вместе с тем ставшую одной из главных составляющих успешного роста мировой экономики.

Статистические и общеэкономические данные о развитии всех отраслей отечественного хозяйства и основных видов хозяйственной деятельности. Итоги экономической динамики народонаселения, трудовых ресурсов, эффективности производства, производительности труда, народного дохода и богатства.

Особое внимание уделяется рассмотрению русской общины и артели и связанных с ними народных форм организации труда и производства, а также уникального хозяйственного календаря. Значительное место занимают ранее замалчиваемые сведения об экономических взглядах и учениях славянофилов, создавших русскую школу экономики, основанную на духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличную от западных доктрин, базирующихся на антихристианских принципах эгоизма и погони за наживой.

Большой блок статей нашей энциклопедии посвящен русской этнографии с древнейших времен до XX века. Быт, жилище, одежда, обычаи, понятия и традиции русского народа, создавшего одну из величайших духовных цивилизаций мировой истории. В энциклопедии систематизировано более 500 этнографических источников, использованы материалы о народной жизни, собранные лучшими русскими этнографами и знатоками народного быта: М. Громько, В. Далем, И. Забелиным, М. Забелиным, Д. Зелениным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, И. Шангиной и др.

Особое внимание в Большой русской энциклопедии уделено статьям по русскому изобразительному искусству, музыке, театру. Составлены статьи по всем основным памятникам русского зодчества, церквям и монастырям, деревянным храмам, усадебным постройкам, дворцам. Значительное место в Большой русской энциклопедии уделено иконе и религиозной живописи. Русская икона превозмогла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно сверхъестественную возможность приближения к Богу. Иконописание стало священной формой русского искусства, главным его направлением, отражающим духовное величие русской цивилизации.



В энциклопедии собраны сведения обо всех самых значительных русских иконописцах, иконах, фресках, картинах религиозного жанра, отражены вопросы богословия, истории и техники иконы. Особое внимание уделено изучению иконографии Иисуса Христа, чудотворных икон Божией Матери и русских святых.

Наряду со статьями современных авторов в энциклопедию включены систематизированные материалы об иконе, собранные лучшими русскими исследователями и знатоками иконы: И. Сахаровым, Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, А. Успенским, Н. Покровским, Н. Кондаковым, Н. Лихачевым, И. Грабарем, В. Лазаревым, П. Муратовым, М. Алпатовым, Л. Успенским и многими другими.

В энциклопедии рассмотрены национальные особенности развития скульптуры русской цивилизации. Показаны самобытные черты русской скульптуры, отличающие ее от пластического искусства других цивилизаций. Любовь к Богу, Царю и Отечеству, почитание памяти ушедших народных героев, святых и подвижников, деятелей отечественной культуры и искусства создали в России особый вид скульптуры, устремленный ввысь, к Богу, ориентированный на служение Родине и государству.

Особой частью Большой русской энциклопедии являются статьи, относящиеся к географии, истории, этнографии и культуре славянских народов, а также народов, некогда объединенных Византийской империей, чьи исторические судьбы с глубокой древности переплетались с жизнью русского народа, так или иначе оказывая на него определенное, а нередко и судьбоносное влияние. С этой же целью в энциклопедию включены статьи обо всех народах Российской империи, чьи судьбы навечно слились с жизнью русского народа, составив мощный фундамент Российского государства.

В настоящее время словник Большой русской энциклопедии составляет более 30 тысяч статей. Мы рассчитываем, что в процессе работы над энциклопедией общее количество статей увеличится до 45–50 тысяч. Их дополнит не менее 45 тысяч иллюстраций.

За более чем четверть века работы Института русской цивилизации нами было подготовлено 25 энциклопедических изданий, большая часть статей из которых войдет в состав Большой русской энциклопедии. Кроме того, в процессе работы Института велась подготовка статей и по таким направлениям, как внешняя политика, отношения с зарубежными странами и национальные отношения. Статьи на эту тему относились к соответствующим тематическим досье.

По состоянию на конец января 2019 года Институт располагает более чем тремя четвертями готовых статей от общего количества включенных в настоящий словник названий статей. Эти статьи — результат работы Института в течение более чем 25 лет.

70 лет со дня рождения

НАТАЛЬЯ КОЛОБОВА



Пересохший колодец

СЕЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

Поездка к сыну

Анна Фоминична уезжала из деревни рано утром на машине, которую дал председатель колхоза. Уезжала, заколотив окна в избе крест-накрест досками, а на дверь повесила большой амбарный замок.

Изба была хорошая, с доброй русской печкой, которой Анна Фоминична особенно гордилась: топились не дымно, дров брала мало, но тепла давала много и подолгу не остывала. Испечёт, бывало, Анна Фоминична караваи, на стол выложит, сверху холстиной накроет, так даже с улицы соседки заглядывают на хлебный дух. Знатные хлебы выпекала Анна Фоминична в своей печи.

КОЛОБОВА Наталья Васильевна родилась 11 марта 1950 года в селе Улёты Читинской области. После окончания школы два года работала в улётовской районной газете «Ленинское знамя». В 1975 году окончила дневное отделение журналистики филфака Иркутского госуниверситета. Работала на Читинском радио, в газетах «Забайкальский рабочий», «Читинское обозрение» (первый редактор), «Набат». Последнее место работы — газета «Экстра». В начале 80-х награждена правлением областной организации Союза журналистов СССР первой премией имени Курнатовского за цикл очерков и статей о людях и проблемах забайкальского села. В 1987 году (первой и единственной в истории забайкальской печати) стала лауреатом премии Союза журналистов СССР за публикации о становлении семейного подряда и коллективов интенсивного труда в сельском хозяйстве. Весной 2000 года Наталье Колобовой присуждена премия газеты «Советская Россия» за лучшую работу года. 17 октября 2000 года раба Божия Наталья предала Богу душу.

И сама изба была ладной и уютной: в переднем углу комод стоял, а на нём трёхстворчатое зеркало. Сверху на стене висела картина Крамского «Незнакомка». Кровать занавеской отделена, а кухня от комнаты — деревянной перегородкой. По бокам у обеденного стола — фотографии. Родителей Анны Фоминичны, её самой, мужа покойного, сына Алексея. Последних было особенно много. Вот он в шестом классе. Галстук набок сбился, вихры торчат... А это — в армии у машины стоит: гимнастерка нараспашку, с волос ещё вода стекает... Рассказывал потом, что в тех местах, где служил, жара большая стоит, вот и освежился на бегу, а тут его дружок и сфотографировал.

Ещё фотография — Алёша с молодой женой. На одной они кольца друг другу надевают, на другой — целуются, на третьей — в книге расписываются. Ниной его жену зовут. Девушка ему досталась красивая и образованная. С дипломом. Вот этот диплом-то и сыграл свою роль в том, что молодые переехали в город. Не было Нине работы здесь по специальности. Как ни жалко было, но проводила Анна Фоминична молодых в Читу.

А сама стала одна жить. Поначалу сильно скучала по сыну, пожалуй, сильнее, чем когда он был в армии. А потом свыклась, притерпелась как-то. Да скучать-горевать сама жизнь не давала. В стайке корова, свинья с поросятами, куры да собака с кошкой. Пока всех накормишь, в избе приберёшь, чаю напьёшься да обед и ужин сготовишь, корову подоишь — глядишь уже вечер на дворе.

Так дни и шли...

От Алексея все больше открытки приходили. Он писал коротко и бодро, словно начальству рапортовал: «Живы, здоровы, получили квартиру с подселением».

Что такое «с подселением», Анна Фоминична не представляла, но думалось ей, что это лучше, чем в общежитии. Ведь не дадут её ударнику Алексею жильё какое попало. Опять же, Нина в ГПТУ преподаёт, готовится к урокам надо, книжки читать, записи делать. Наверное, и стол купили, и шкаф книжный.

О шкафе и столе Анна Фоминична узнала из последнего письма Нины. Та писала редко, но обстоятельно: сколько зарабатывают, сколько тратят, что купили, а что намечают купить, какой цвет у рубашки, которую она подарила Алёше на 23 Февраля, и какие духи он ей подарил на 8 Марта.

Почти два года жили молодые в городе. За всё время Алексей приезжал два раза. Картошку помогал сажать, а потом — уже осенью, в октябре. Заехал на машине с товарищем, покидали в кузов десять кулей картошки, мяса, что накопила Анна Фоминична, и умчались, даже ночевать не остались.

А потом снова пришла открытка: «Живы, здоровы, дали двухкомнатную квартиру. Комнаты раздельно, санузел тоже, газ, горячая и холодная вода».

Анна Фоминична первым делом рассказала об этом Капке Мироновой. Никудышной старушонкой считалась Капка в их деревне. До семидесяти дожила, а её и ребягня Капкой зовут. А имя ей другое и не шло: малюсенькая, зимой в плюшевой кацавейке и широченной юбке, которая хлесталась вокруг её тощих ног, летом — в мышинного цвета платье и переднике, — она целыми днями шастала по дворам и носила из одного дома в другой новости. Да хоть бы правду сказывала, а то прибавит с пару коробов, и притом глаза делает честные.

Капка зашла, как всегда, не снимая валенок, на что чистоплотная Анна Фоминична глянула неодобрительно, но Капка, нимало не смущаясь, прошелестела к столу, умостила на табуретке и затараторила, как сорока, обо всех и всём.

— Иван-то Поддубов вчерась трактор опрокинул. Залил зенки-то винищем и в

Мангут попёр. Мало, вишь, ему показалось. Ну и кувыркнулся у большой берёзы на стрелке... Аж протрезвел со страха, когда вылез из кабины-то...

— Живой али как? — забеспокоилась Анна Фоминична.

— Живой-живой, что ему делается! Дуракам да пьяницам сроду везёт.

Капка тарыхтела, а сама зорко следила, что ставит Анна Фоминична на стол. Убедившись, что чай заварен не со щепотки, а с доброй горсти и сахару не два кусочка лежит, да сметана не на доньшке миски размазана, удовлетворённо передохнула и завелась пуще.

— Сонька вчерась снова выгнала своего с дому-то... Все вещи повыбрасывала за порог и даже кожанку...

— Опять разводятся? — нахмурилась Анна Фоминична, разливая чай.

— Опять-опять... да милые ругаются — только тешатся... Через неделю придёт, и встарь жить будут.

Она рассказывала и успевала наливать третью чашку, намазывать на хлеб сметану, смачно откусывать сахар (седьмой десяток, а зубы, как у семнадцатилетней), и Анна Фоминична еле уловила щёлочку, чтобы просунуться со своим разговором.

— Мне-то Алёшка открытку прислал. Пишет, что двухкомнатную квартиру получили: всё отдельно — и кухня, и эти... санузел, и комнаты. И вода всякая бежит...

— Ой, — счастливо всплеснула руками Капка. — Вот радость-то! Теперь их сюда и калачом не заманишь. Ты хоть в гости съезди, погляди...

— Да я бы надумала, но куда бросить животину-то. Да и топить надо...

— Печаль нашла! Истоплю и Зорьку подою. За неделю управишься?

— За неделю-то управлюсь. Да я ещё подумаю...

Капка умчалась, оставив на полу следы от валенок, и Анна Фоминична, подтирая их тряпкой, мысленно представила, как она уже сидит у кого-нибудь из старух и хвастает, что её, Капку, Анна Фоминична попросила подомовничать, потому что она едет в Читу к сыну в гости.

Одного не сказала Анна Фоминична Капке: в открытке о приглашении не было ни строчки. А ехать так просто было не то что неудобно, а гордость не позволяла: не зовут, кланяться не будем, а вот если кликнут...

И словно подслушали её мысли. Через неделю пришло письмо от невестки. Как всегда, она обстоятельно описывала свою жизнь и вроде между прочим заметила, что скоро будет рожать, а поскольку её мать живёт на Урале, то хорошо бы Анне Фоминичне переехать к ним насовсем.

Такого поворота Анна Фоминична не ожидала. Одно дело поехать на недельку, а тут... Она разволновалась так, что не стала смотреть в тот вечер любимую программу «Время», а села у окна думать.

Из дум выходило одно: невестка ей не чужой человек, она хоть и образованная, но пелёнки и грудных младенцев издалека видела. От мужика проку мало, они по большей части только мешаются. Значит, ей надо ехать.

Анна Фоминична многое умела в этой жизни. Сына, считай, одна вырастила, на ферме тридцать лет работала так, что её портрет с районной Доски почета не убирали, и орден за молоко в заветной коробочке лежит. В деревне её уважали и прислушивались.

Любое решение Анна Фоминична принимала так: если совесть не против, значит, делает она верно. Вот и сейчас что-то говорило ей: надо ехать. Нынешние молодые хоть и самостоятельные и деловые, а в чём-то более беспомощные, чем они в пору своей молодости.

Осмыслив всё, Анна Фоминична села за ответное письмо. Она была грамотной, в своё время окончила семилетку, но в те годы (Анна Фоминична в этом уверена) учили лучше, и она до сих пор помнит многие правила. К ней вот и Капка письма писать бегаёт своему беспутному племяннику, что в Южно-Сахалинске какой год рыбу ловит и глаз не кажет к любимой тёте...

Надев очки, Анна Фоминична шершавой ладонью разгладила тетрадный листок и вывела первую строчку. Сначала она передала бесчисленные поклоны от родни и знакомых, потом описала погоду и деревенские новости, а уж потом приступила к главному.

«Придётся мне, — писала Анна Фоминична, — продать Зорьку, чушку, а кур соседям раздать. А с избыю не знаю, что делать. Квартирантов у нас не имеется, значит, заколочу её, и пусть стоит». И уговорилась Анна Фоминична дать ей время на сборы, потому что быстро такие дела не решаются. И пусть за ней придет Алексей, так как одной уезжать тоскливо и боязно.

Трудно ей было расставаться с деревней, людьми, которых она знала, и которые знали её. Расставаться с привычным укладом жизни, огородом, коровой Зорькой. Но при разговорах с соседями, а особенно с Капкой, Анна Фоминична держалась твердо, хотя наедине с собой частенько смахивала слезу. Капке она пообещала отдать комод и картину «Незнакомка», прочие вещи продать.

Зорьку купили быстро, не рядясь. Корова она была удоистая, смиренная, молока давала в хорошее время больше ведра, да такой жирности, что один городской гость уверял, что у них такие сливки продают. Поэтому, выложив три сотни, Сергей Банщиков со своей женой быстренько погнали Зорьку со двора, от верной удачи забыв попрощаться с Анной Фоминичной.

Зорька пошла, не противясь, тем более что Анна Фоминична прикрикнула на неё и зачем-то толкнула в бок. Но уже за воротами Зорька, натянув веревку, повернула голову и негромко мыкнула, словно недоумевая, почему она должна куда-то уходить.

С этого момента Анна Фоминична уже с каким-то остервенением расправилась с остатками своего хозяйства, потому что после коровы ей ничего не было жалко.

До намеченного срока остался день, когда вечером к ней в пустую почти избу зашёл председатель колхоза. Был он молодой, но уважительный, дело делал, по мнению Анны Фоминичны, толково. И хотя не местный, но, зная всех и всякого хорошо, правил колхозом толково.

— Значит, уезжаете, Анна Фоминична, — поприветствовав хозяйку, сказал он. — Мы тут говорили, — продолжил председатель. — Жалко вас отпускать.

— А что жалко-то? Я теперь не работница в колхозе, толку-то от меня, пенсионерки...

— Не скажите, Анна Фоминична, не к вам ли на днях бегали, когда Сима Бахарева в больницу уехала. Других молодых не допросишься подменить доярку, а вы — всегда пожалуйста. Да и вообще... Я вчера Платонова читал, писатель такой, у него фраза есть: «А без меня народ неполный». Герой один так говорит. Вроде как незаметный человек, а уедет, и не хватает его... Вон, представьте, например, что Капитолина Григорьевна сейчас бы исчезла, право, скучнее сделалось бы в деревне...

При упоминании о Капке Анна Фоминична даже улыбнулась.

— Ну, ничего, внука или внучку поднимете и вернётеся...

— Не знаю, Георгий Сергеевич, может, и насовсем. Вон и распродала все поч-

ти. Да и вообще, года-то на убыль идут, надо к молодым прибиваться, а то и воды будет подать некому...

— Ну, вещи — дело наживное, а воды... воды, бывает, не подадут, даже если кран рядом... Я это не про ваших, конечно. Алексея хорошо знаю, сын заботливый, но проблема отцов и детей не исчезла, — туманно закончил он.

Уже уходя, нерешительно предложил:

— Может, продадите колхозу дом-то. К нам зоотехника обещают прислать...

— Нет, Георгий Сергеевич, рука не поднимается...

— Ну, тогда счастливо вам. Машина, как и обещал, будет в девять.

Город понравился Анне Фоминичне. В последний раз она была здесь семь лет назад, да и то проездом с курорта, и кроме вокзала ничего не запомнила. Поэтому в ближайший выходной день Алексей взялся ей показать Читу, и они долго ходили по городу, потом приехали на Мемориал, и Анна Фоминична, читая длинные списки, нашла несколько Беспровзванных, только с разными инициалами, тихо заплакала, представив мужа, который умер-то ещё не старым, а скорее от ран.

Больше они уже никуда не пошли, и до самого дома обоим не покидало грустное настроение, которое ни Алексей, ни Анна Фоминична не пытались сбить.

Нина родила мальчика, которого в честь деда назвали Степаном, и вся жизнь в квартире завертелась вокруг этого беспокойного существа...

Спала Анна Фоминична в комнате с внуком, по ночам большей частью вскакивала к нему сама, постепенно совсем отучив Нину. Быть бабушкой было ново и приятно, внук рос и, казалось, больше тянулся к Анне Фоминичне, чем к Нине.

Но бывали ночи, когда Анне Фоминичне никак не спалось. И тогда она до утра глядела в тёмный проём окна, слушала редкое шуршание проходивших машин и думала, думала. Даже самой себе не признавалась, что одинока рядом с сыном и невесткой, что тоскует, и лишь внук скрашивает тоску.

С Ниной отношения у них не заладились. Однажды, усыпив Степку, сели пить чай. Алексей рассказывал что-то смешное, и Анна Фоминична пробовала изобразить Капку. Вышло похоже, Алексей засмеялся, а Нина, скучно пожав плечами, вдруг заявила: «А зря вы, мама, ей комод отдали. Он скоро опять в моду войдёт, сейчас мебель в стиле ретро в ходу»... Анна Фоминична обиделась на это, замолчала и больше не пыталась вспоминать о своих деревенских знакомых.

...В их подъезде жили ещё несколько старух, с которыми она познакомилась, катая, как и они, колясочку по двору. Но бабки были все городские и, как ей казалось, неинтересные. Они ловко сплетничали, сидя на лавочке рядком, но сплетничали не как Капка, по-свойски и безвредно, а как-то тяжело и зло. Анна Фоминична стала их сторониться, бабки посчитали её гордячкой. И Анна Фоминична чувствовала спиной, как неодобрительно глядят они ей вслед.

Главная ссора с невесткой произошла из-за пустяка. Под вечер Нина собрала маленькую постирушку, включив в ванной воду, но тут раздался звонок, к ней пришла соседка, такая же молодая мамаша. Нина пригласила её в комнату, и они оживленно защебетали. А в то время вода мощной струёй продолжала бить из крана.

Анна Фоминична завернула кран и, заглянув в комнату, проговорила:

— Я воду выключила, чего зря хлещет...

Нина встрепенулась:

— Я вам, мама, не указываю, когда вы тарелки вытираете вместо того, чтобы на сушилку класть. И вы мне не указывайте! У нас не деревня, воды много, пусть течёт, за неё плачено...

Она вдруг припомнила, что Анна Фоминична хлеб режет кусками — гостям

стыдно подать, что кашу Степке варит неправильно, и одевает внука легко, хотя на улице минус десять.

Оказывается, за год совместного житья Анна Фоминична делала всё не так и чуть ли не назло невестке...

Когда Алексей пришёл с работы, в доме стояла гнетущая тишина. Даже внук, словно что-то понимая, притих и безропотно лёг спать.

Анна Фоминична, накладывая сыну котлеты и подогревая чай, глазами указала на плотно закрытую дверь в комнату молодых.

— Сурьёзно поговорили мы с невестушкой-то... Я так поняла, что дело я своё сделала и теперь можно убираться восвояси.

— Ну что ты, мама, как можешь так говорить?!

— А так, сынок, прямо было сказано, мешаю я вам...

— Ну, перестань, мама, чего между женщинами не бывает...

— Воды ей, понимаешь, не жалко, — продолжала Анна Фоминична. — А я не люблю, когда вода зря бежит. Потаскала бы она, как я в своё время, ведёр этак сто на коромыслах, так каплю берегла бы... Да что вода, не в ней дело, — устало махнула она рукой. — Уеду я, Алёша, домой уеду.

— Ну, мама... — начал было Алексей, но, глянув на её лицо, уткнулся в тарелку.

Анна Фоминична вернулась в деревню в ту же пору, что и уезжала. Дул ещё не зимний, но крепкий ветер, день был серенький, серой показалась и деревня. Машина остановилась у её дома, и у Анны Фоминичны вздрогнуло сердце. Из трубы струился легкий дымок. Амбарного замка на двери не было, а сама дверь была распахнута, и в проёме стояла Капка с веником в руке. Увидев Анну Фоминичну, Капка кинулась к ней и по обыкновению зачастила:

— Ты уж, Анна, извиняй, что без тебя хозяйничаю. Я ведь всю ту зиму топила и нынче не бросаю. Чуюла, что вернёшься.

Алексей помог занести в избу вещи, не глядя на мать, проговорил:

— Мне пора ехать. Завтра на работу, не могу день терять. Зря ты это всё, мама, затеяла...

Анна Фоминична, оглядывая избу, словно не слышала его слов, удивлённо воскликнула:

— Ты чего же, Капка, комод-то не взяла и картину оставила?

— А на кой ляд мне они. Это же я так болтала, что возьму, для твоего успокоения, что вещи в руках... Мне вот письмо писать некому, никого не допросишься...

Повернувшись к сыну, Анна Фоминична спросила:

— Чай-то попьёшь или так поедешь?

— Нет, мама, не до чая. Ехать надо.

— Ну, с Богом, поезжай, сынок, я теперь дома... Стёпку поцелуй. Летом приезжайте в гости. Все приезжайте...

Алексей кивнул, шагнул в сени. И Анне Фоминичне показалось, что он вздохнул с облегчением.

1981 год

Дорогие мои старики

Я сидела на крыльце совхозной конторы, ждала автобус. Из-за угла палисадника появилась старуха, одуванчиком прилепилась рядом.

— Ты, девка, до Дурбачей?

Я кивнула.

Старуха похлопала по карманам необъятной кофты, вытащила смятую пачку крепчайших сигарет.

...С некоторых пор я всё пристальнее приглядываюсь к старым людям. А ведь этого интереса не было ещё лет десять назад. Что тому причина? Собственное мудрение, попытка разгадать никогда и никем не разгаданный смысл жизни, или предчувствие того, что и меня ждёт на горизонте бытия? Не знаю, не знаю... Но старики притягивают, оведают тайной. Что так крепко держит их на земле, почему среди них (за редким исключением) нет нытиков, жестоких, нравственных уродов?..

Старуха докурила сигарету, по-мужски поплевала на окурочек, втоптала в пыль. Ещё раз пошарила в карманах кофты, достала две помидорины:

— На, попробуй, с моего огорода.

Убедившись, что я дожевала последний кусочек, удовлетворённо вздохнула:

— Что, вкусно?

Я кивнула.

— Вот интересно: рассада одна была, а одни помидорки маленькие, с кислинкой, другие — большие и сладкие.

— Сорта разные, наверное.

— Не, с одного пакетика сыпала... А ты зачем в Дурбачи?

Объяснила.

— А я за дроблёнкой. Директор девять мешков разрешил купить. Одна живу, пенсия пятьдесят рублей, леший его знает, зачем хозяйство держу. Опять же без него скучно.

Мимо к магазину, ноги колесом, катит старая бурятка. Моя старуха весело окликает:

— Данга, ты, чай, за хлебом? Не шустри, ещё не подвозили.

Та останавливается, подслеповато щурится.

— Что, не узнаешь? — веселится старуха.

— Степанида, что ли? — неспешно роняет бурятка.

— Я самая.

— Куда наострилась?

— А в Дурбачи, какого-нибудь пенсионера завлекать.

— Куды тебе, завлекалка, борода вон седая растёт.

У старухи точно — три седых волоса воинственно топорщатся на остром подбородке.

— И не скажи, — пуще веселится она. — Подчепурюсь, губы накрашу, ишо за молодую сойду.

Бурятка качает головой и направляется дальше.

— А на чём обратно дроблёнку-то повезёте? — спрашиваю бабушку Степаниду (теперь знаю, как ее зовут).

— Вот печаль! На току кака-нибудь машина будет, сговорюсь с шофёром, рублика три дам, ничё, справлюсь.

Всю дорогу до Дурбачей она кричала мне в ухо про пьяницу-зятя, тыкала пальцем в окно и критиковала плохо завершённые зароды, под конец, всучив ещё пару помидоров, соскочила с высокой автобусной подножки.

Ток был закрыт, его заведующий (я его знала), суетливый, хитрый Мируныч,

наверно, распивал чай, и выгнать его на работу могли лишь большие начальники, о чём я и сказала бабке Степаниде. Но она не огорчилась, кинула мешки у ворот, почти не подмяв, пристроилась на них и приготовилась ждать.

Автобус заворчал, и мы поехали дальше. Бабка Степанида весело дымила, с удовольствием оглядывая тёплый августовский мир. Пронзила простая мысль: а ведь я больше никогда не увижу её, весёлую бабку Степаниду, угощавшую меня помидорами. Не увижу, поскольку вряд ли приеду сюда в ближайшие годы, а там много что изменится, произойдёт...

Почему им интересно жить? Почему, несмотря на хвори, болезни, каждую весну моя соседка Ковалиха, которой за семьдесят, пластается, как она говорит, на картофельном поле, а потом и на огороде всё лето. В её кладовке все стены увешаны пучками сушеных трав, она лечится их отварами. В поясицу стреляет или нога ноет — заварит чабрец, чагу, ещё что-то, глядишь, снова молотит тяпкой по сорнякам. Втайне я предполагаю, что травы — это скорее психотерапия, а от всех болезней Ковалиха лечится работой. Вот отними её, тогда точно — сляжет. А трудится она истово, без продыху, пойдёт огребать или копать картошку — не угонишься. Руки так и мелькают, седой клоч из-под платка выбьется, но не присядет.

Иной раз прибежит к нам:

— Девоньки, сѣдни како число и день-то?

Скажем.

— Ой, лешеньки, я ж баню пропустила. С этой огородиной всё забудешь!

Голова у неё трясется, спина крючком, руки в узлах и венах, а голос — тонко-звонкий и весёлый.

У хороших старух всегда такой голос. Однажды на лавочке слышала, как она о смерти рассуждала. Что, дескать, деньжонок на смерть скопила, в тягость детям не была, и в этом деле они не потратятся. В комодке всё необходимое приготовлено.

— Гурьяниху вон как браво хоронили, помнишь? - обращается она к своей соседке Самсоновне. Та соглашается.

Я помню, как хоронили Гурьяниху. Рвал душу духовой оркестр, было много венков, плакали родственники, все старики и старухи села шли за гробом. И, казалось, встань Гурьяниха, она бы с гордостью посмотрела на свои похороны.

Почему у них, стариков, нет страха, разлада в душе при упоминании о смерти? Почему в таком ладу душа и сознание? И опять я не знаю, а могу только предполагать. Той же Ковалихе выпала судьба нелёгкая, диктуемая военным временем, голодухой, безотцовщиной её семерых детей. Но всех подняла, на ноги поставила: механизаторов, врача, летчика, бухгалтера... Они трепетно любят свою мать, зовут на «вы», семидесятилетие её праздновать со всех краев страны приехали. А она весь праздник сама и подготовила: чуть ли не всерьёз обиделась, когда попытались её от печи увести. И каждому гостю вручила по куску своего «фирменно-го» пирога с капустой.

...Стоицизм, понимание жизни, мудрое принятие старости приходит, наверное, ко всем. Вспоминаю деда Кеху, как мы, дети, его называли.

Сухонький, маленького росточка, очень подвижный, он ловко, я бы даже сказала, с вкусным артистизмом вершил зароды. Только ему доверяли «дела венец».

Вот как-то к вечеру пошли за водой на ключ, чтоб сварить чай для всего табора. Светло было, тихо, даже комары куда-то исчезли. Наполнив ведро и котёл ключевой водой, присели на корягу.

Дед Кеха был молчалив от природы, а тут разговорился.

— Благодать-то...

Он обратил ко мне сухое лицо, на котором светло голубели чуть выцветшие глаза.

— Ты погляди, дали-то какие, нюхны, как трава пахнет...

Солнце закатывалось за сопку, щемяще-пронзительно чувикала какая-то пичужка, увядающая кошенина исходила ароматом.

— Семь десятков прожил, — тихо проговорил дед Кеха, — а ещё бы столько...

Он умер через год. Но до сих пор в нашем маленьком огороде, ведущем на большой, картофельный, исправно действует калитка, которую он смастерил. Узорчатая, лёгкая. Казалось, зачем украшать вещь, что призвана быть чисто утилитарной, и видеть её, кроме хозяев, некому. А вот дед Кеха выпилил затейливые балясины, под гвозди положил кусочки жести. Почти двадцать лет калитке, а служит...

Ну, ладно, эти старики при детях и внуках жили и живут, а те, что совсем одиноки? Передо мной письмо, присланное из дома престарелых. Его подписали десять человек: Кузеванов, Липягин, Голубинский, Смирнова и другие.

И вот что удивительно. Без тоски, без надрыва рассказывают они о своём житье-бытье, как помогают друг другу, как сохранили способность радоваться солнечному дню, ветке багульника, хорошей книге или кинофильму. Хотя судьбы-то горше не придумаешь. Кто действительно беспомощен и одинок, а кого сдали сюда... дети. Но не корят их, не проклинают, благодарны, что хоть весточки шлют, раз в год навещают.

Первым моим движением было — кинуться по адресам таких, с позволения сказать, детей, публично предать их анафеме, суду общественности, но, как бы предваряя этот порыв, старики на следующей странице письма попросили:

«Если будете публиковать наш рассказ, то о детях выбросьте. Мы не хотим, чтоб вся область знала, нам за них будет больно».

И ведь правы старики. До детей потом, когда-нибудь потом дойдёт весь ужас содеянного, и содрогнётся их душа, но... будет поздно.

Красива ли старость? Вы знаете, да! Великие художники эпохи возрождения писали стариков и старух с не меньшим наслаждением, чем Мону Лизу. В чём их притягательная сила? Гречушные пятна на руках, обвислые щеки, лысины, снег в волосах. Всё искупает свет, льющийся из глубины души. Умиротворённый или бойцовский, но в каждом случае пришедший к общему знаменателю — «я жил».

...Гляжу на них, стариков, у всех за плечами коллективизация, война, сорок лет мира. Всё было, всё. И начинаю понимать природу интереса к ним. Всё ведь просто. Пока они есть, пока живут, моё поколение спокойно — между нами и небытием — стена, составленная из этих хрупких, болезненных, но таких надёжных людей. Уйдут они, и мы окажемся у края. Хватит ли сил, душевной закалки, чтобы так же спокойно и мудро взирать вниз?

Не знаю! Вот этого сказать не могу. Почему и молю: живите долго, дорогие мои старики. Старость ваша — это тоже труд, это ноша, которую надо пронести с достоинством.

1985 год

Пересохший колодец

В Улётовском районе немало красивых, по-своему своеобразных сёл. Но одно из них, Улуты, я выделяла особенно. Выделяла, ибо прошло уже шесть лет, как оно перестало существовать.

В Улутах довольно часто бывала в пору его кипучей жизни. В Забайкалье никогда не существовало сёл, подобных деревням средней полосы России. То есть без света, дорог, медобслуживания, кино. В тех же Улутах до прихода в 60-х годах государственной электроэнергии бойко тархтел движок, давая свет в клуб, избы, магазин. Связь с «большой землёй» практически не прерывалась, хотя село и располагалось за рекой Ингодой в 12 километрах от центральной усадьбы колхоза имени Ленина — села Черемхово. Когда вставала река по осени или расходилась весной, то, чтобы попасть в Улуты, делали «крюк» длиною в 36 километров через мост.

Улутовцев от жителей других сёл отличали мягкость характера, несуетливость и какая-то, я бы сказала, поэтичность в общении с природой. Всегда останавливалась на постой у Александры Афанасьевны Лоскутниковой, скромной, очень душевной женщины, матери трёх здоровенных парней-механизаторов. Как-то мы пошли с ней ранним утром за голубицей. Бойко шагаем лесной тропой, торопимся — обернуться надо до обеда. Вдруг слышу, окликает меня тётя Шура:

— Глянь, словно три сестрички стоят, — кивнула она в сторону трёх тоненьких берёз, выросших из одного корня. — Вишь, как тянутся, каждая в свою сторону. Вот так и в семье бывает, — задумчиво добавила она. — Вместе растут, а потом в разные стороны.

Полюбовались берёзками, спешим дальше.

— Слышь-ка, — опять окликает тётя Шура. — Понюхай, как пахнет, правда, хорошо? — и она протягивает ветку полыни. — Я эту траву про себя вдовым цветком зову. Такая же горькая доля...

Длинными тёплыми летними вечерами после работы улутовская молодежь собиралась у клуба. Но внутрь здания не заходили, сидели на скамейках, ступеньках крыльца. Разговоров было много, общих, мирных, почти домашних. Потом шли смотреть кино. Чаще всего картины были про «шикарную жизнь», с красавицами в длинных платьях, яхтами, автомобилями. Парни хмурились, глядя, как очередной киногерой небрежно обнимает блондинку, девчонки вздыхали, украдкой потирая натруженные после дойки руки.

Но кино скоро забывалось, своя жизнь, хоть и проще, но ближе, из Улут редко-редко кто уезжал на чужую сторону. Мужчины сеяли хлеб, ухаживали за скотом, женщины работали на ферме, подростки и ребяташки промышляли в тайге, ходили в ночное, ездили на покос.

Зимой население села несколько уменьшалось. Окончив четыре класса, ребята отправлялись в Черемхово — учиться дальше. Они быстро «чужали» на стороне, хватывались незнакомых словечек, чем пугали своих матерей. Но, побывав дома, снова становились своими, улутовскими.

Большим событием в селе был уход или возвращение из армии. Гуляли все двадцать домов, слезы лили и мать, и вся родня, а в родстве, почитай, состояло всё село. И был один обычай, пожалуй, более нигде мною не подмеченный. У выхода из села, рядом со складом зерна, стоял колодец. Был он вроде ничейный, но воду из него брали все. Мужики, когда подходил срок, по очереди чистили, меняли подгнившие венцы. И колодец жил, дарил водой, необычайно холодной и вкусной. Парень, уходивший в армию, перед тем, как сесть в колхозную машину, собственноручно доставал ведро воды и прямо через край отпивал несколько глотков. Это был залог того, что он вернётся на родину.

Так оно и было. Возвращались, женились, чаще всего жили с родителями или сообща ставили дом где-нибудь неподалёку. И продолжали родительское дело: растили хлеб, выращивали скот, копали картошку, доили коров.

Со временем появились в селе телевизоры, мотоциклы, машины. Теперь выскочить в Черемхово и Улёты было вовсе пустячным делом. И всё равно, возвращаясь из шумной толчеи райцентровских магазинов, тётя Шура говорила сыновьям: «Нет, у нас лучше. Тихо, вольно и красиво».

Так бы и шла здесь жизнь — простая на первый взгляд, безыскусная, а на самом деле — сложная и мудрая. Однако всё настойчивее стал повторяться слух, что Улуты скоро расформируют (это трудное слово заменили более простым — растащат), а всех переселят в Черемхово. Люди поначалу отмахивались, не желая верить, по русскому обычаю рассуждая: «Авось, пронесёт!», пока в один из мартовских дней их не собрали в клуб на беседу.

Выступали председатель колхоза и человек, прибывший из района. Председатель не суесловил: решайтесь, делается это для вашего же блага, все переедете в Черемхово, кто хочет — со своими избами, обеспечим транспортом для перевозки, а нет — дадим квартиры на месте. И работу получают все по своему желанию.

Зал настороженно молчал. Потом встал Илья Гончаров и сказал:

— А я баню по осени отстроил. Гараж опять-таки новый недавно закончил. Что же мне — всё это бросать?

Лицо его стало злым и одновременно растерянным.

— У вас в Черемхово выгон для скота с гулькин нос, — продолжал он. — Да мы ещё свою скотину привезем, где пасти-то?! Чтоб она всё лето на подсосе ходила, тощала. Здесь вон какая благодать! Для чего вы нас с места снимаете?!

Председатель замялся, перевел взгляд на человека из района, дескать, помогай, товарищ...

Тот встал, поправил очки и, энергично рубанув ладонью воздух, начал:

— Это делается, товарищи, для вашего блага. Ну что вы здесь живёте на отшибе, без настоящей культуры?..

— Да у нас в деревне двадцать телевизоров! — перебили его из зала.

—...Без настоящей культуры, — повторил человек из района, словно не слыша этого выкрика. — Без квалифицированной медицинской помощи, без порядочной школы для ваших детей. Кроме того, идёт тенденция к переводу сельского хозяйства на промышленную основу. Что значит ваша молочно-товарная ферма? Это же тридцатые годы! В Черемхово скоро будет построен животноводческий комплекс, и всё стадо переведут туда, там всё, повторяю, всё будет механизировано. А здесь землю распашут и засеют культурами, какие надобны колхозу.

...Из клуба расходились молча, не глядя друг на друга. Тётя Шура мне потом рассказывала:

— Пришла я в избу, глянула на стены и давай плакать, заливаться слезами. Я здесь выросла, дети мои выросли, на погосте мать с отцом лежат... Да мне вон та сосновая роща у школы дороже всякой большой культуры. Как же можно всё это бросить? И зачем?

Несмотря на сопротивление улутовцев, великое переселение началось. Большая часть семей переехала в Черемхово, десять человек — в город, а несколько остались-таки в Улутах, переезжать они пока не хотят.

А теперь позвольте немного отвлечься. Второй год в улётской районной газете регулярно появляется объявление о том, что меняется двухкомнатная благоустроенная квартира в Чите на собственный дом в Улётах.

Рассказала об этом знакомой улётской пожилой женщине, обладательнице дома с садом и приусадебным участком.

— Меняйтесь, тётя Поля, у вас ведь дети в городе...

— Что ты, что ты! — замахала она руками. — Мне хоть и восьмой десяток, а из ума ещё не выжила, чтоб в город ехать. Сыны-то вон сюда появятся — я им картохи дам, сала, капустки, мяса. Вот уже, считай, шесть человек не у государственного котла стоят. Да и я пока на земле, она меня худо-бедно выручит.

...Земля никогда не предаст, если ты её не предашь — таков закон, установка бытия настоящего селянина. Вот почему не находится желающих на столь заманчивое предложение — занять благоустроенную квартиру в городе.

Теперь вернёмся к улутовцам. Помните, десять человек уехали в город.

— А собирались ли они до этого? — спросила я тётю Шуру.

— Два-три, не больше. Остальные и не помышляли, — как-то печально покачала она головой.

Уехали, потому что их подтолкнули к этому, сняли с насиженного места, оторвали, как бы высокопарно это ни звучало, от земли отцов.

«Ах, мы вам не нужны здесь, тогда вообще уедем», — так или примерно так рассудили те, кто подался (как их ни уговаривали) в Читу.

Тётя Шура вместе с сыновьями поехала в Черемхово. Как ей скучно и тоскливо было первые годы! Пусть не обижаются на меня коренные черемховцы, но село их, пожалуй, одно из сереньких и бесхозных в районе. Повалившиеся палисадники, оторванные ворота. Зелени мало, а та, что есть, загублена скотом. Многие дома стоят голые, не окружив себя черёмухой или хотя бы неприхотливыми тополями. И, конечно, попав в такую безрадостность, тётя Шура пала духом и долго молчаливо страдала тоской по своим Улутам.

Как я уже говорила, выехали из деревни не все. Остались сёстры — доярки Сергеевы, лесник Богодухов, Леонид Лоскутников, Алексей Сенотрусов. Школу здесь ликвидировали ещё раньше и с великой поспешностью. Клуб обветшал, но стоит. Часть изб — с забитыми окнами и дверьми, часть перевезена. Остался и магазин (надо же людям где-то покупать хлеб, спички, муку, папиросы). Есть нужда в рабочих руках. Как ни парадоксально, но впоследствии сюда приняли три семьи переселенцев, время от времени завозят работников, которые ходят за скотом. Поговаривают, что скоро установят устойчивую телефонную связь. Ферма продолжает работать, и на неё отпускается план, как и в былые, добрые времена.

...Когда после долгого перерыва я приехала в Улуты, уже пережившие реорганизацию, меня поразила схожесть этого села с послевоенной деревней. Хотя моё поколение, к счастью, не видело войны, память по кино и фотографиям хранит вот именно такие деревни, через которые прошло военное лихолетье: в голом поле сиротливо стоят русские печи с останками труб, а кругом — израненная земля.

Грустно было бродить меж этих печей, некогда служивших очагом для целой семьи, обогревавших в стылую забайкальскую зиму. Грустно всё это было видеть, а каково же здесь жить?

— Ничего, — храбрился Леонид Лоскутников. — Пока мы здесь — деревня будет жить, со временем, поди, вернётся кой-кто. И потом добавляет. — Я так и не понял, для чего деревню разорили?

Действительно, от того, что людей перевезли в Черемхово, дела в колхозе ощутимо не улучшились. Животноводческий комплекс строится уже семь лет, и конца этой стройке не видно. Кое-кто из улутовцев переметнулся на промышленное производство, несколько семей постарались на новом месте отделаться от подсобного хозяйства. Прав был Илья Гончаров, когда спрашивал, где пасти своих коров и сено косить. Что ни говори, а в Улутах эта проблема решалась проще.

Центральная пресса, особенно «Литературная газета», сначала осторожно, потом всё решительнее заговорила о перегибе в расформировании «неперспективных» деревень средней полосы России. Хотя для этого оснований было больше, чем в Забайкалье. Кто видел Нечерноземье осенью или весной, запомнил, конечно, непроходимые, буквально непроезжие дороги, ведущие к малым селам. С наступлением распутицы жизнь там чуть ли не затихает.

Забайкальские сёла всегда жили крепко, ладно, на века. Причин к «вымиранию» у них не было. Однако волна реорганизаций докатилась и до нас. И если в одних районах к этому пришли осторожно, то в других начали рубить с плеча. А обоснованно ли это, соразмерно ли с местными условиями — интересовало немногих. Хотя следовало бы задуматься о том, что тут в первую очередь решается судьба людей. Во всяком случае, безболезненно такие реорганизации не проходят. Возьмём, скажем, тех, кто вообще покинул Улётовский район. Или же ту тётю Шуру, которой, как она говорит, до конца жизни будет сниться её дом в Улутах, сосновая роща у школы.

«Сантименты», — подумает кто-нибудь по этому поводу. Ничего подобного! Это частица великого чувства Родины, которым издревле был силён русский человек. И это чувство тоже требует уважения.

Побывав в последний раз в Улутах, я за несколько минут обошла семь уцелевших изб. Сопровождал меня Леонид Лоскутников. Остановились мы у колодца. Ведро на цепи уже давно не было, пропала и крышка, что закрывала сруб.

— А что, — спросила Леонида. — Воду из колодца берёте?

— Нет, — покачал он горестно головой. — Кто во дворе скважины забил, у кого свои колодцы появились. Я поначалу смотрел за ним: достану воду, отопью и чувствую, что вкуса прежнего-то нет. Ведь колодец ровно человек... Чем больше отдаёт себя людям, тем чище и возвышеннее душа. Так и колодец: чем чаще из него черпашь, тем слаще и холоднее вода...

А однажды пришёл, торкнулся ведром — нет воды...

* * *

Ну и что, скажет иной читатель, зачем теперь ворошить старое, говорить о том, чего нельзя исправить, нужно ли вспоминать ошибки? В конце концов, на то они и ошибки, чтоб на них учиться.

Недавно, будучи в командировке в селе Верх-Талача Карымского района, услышала от местных жителей, что у них хотят ликвидировать начальную школу. Председатель исполкома сельского Совета подтвердил это, посетовав, что депутаты и люди — все против этого, а районо настаивает.

...В Улутах вначале тоже ликвидировали школу.

1985 год



ЮРИЙ ХАРЛАШКИН



Охота

РАССКАЗЫ

Сигналка

Мишка собирался порыбачить после школы. Половить широк на удочку да проверить морду, спущенную вчера. А что ещё делать бабьим летом? Картошку выкопали, капусту срезали, а «мятные», помороженные первыми студенными ночами ранетки остались только на макушке на радость птицам. Да и рыбалка эта — не просто развлечение, а польза — ежели рыбка крупная — можно и на сковородку её, а мелочь — так подкопить, да мама потом через мясорубку её, сала кусочек туда ж, хлебушка, яичко, если есть, конечно, — и всё, котлеты от магазинских не отличишь! А уж столовские и рядом не валялись!

ХАРЛАШКИН Юрий Станиславович. Родился в 1985 году в Иркутске. Окончил ИГУ, факультет филологии и журналистики по специальности филология; ИФИЯМ ИГУ, факультет филологии и журналистики, магистр курса «Русская литература». Печатался в журнале «Путеводная звезда» («Школьная роман-газета»), альманахах «Первоцвет», «Зелёная лампа», сборниках «Молодые голоса», «Новые писатели 2016». В 2014 году получил диплом третьей степени за участие в Областной молодёжной литературной конференции «Молодые голоса», секция «Проза». В 2015 и 2017 годах участвовал в Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Стипендиат Министерства культуры РФ по литературе 2016 года. Дипломант первой степени Областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Проза» в 2018 г. Живет Иркутске.

Нет, конечно, можно было закинуть домой пакет с тетрадками да учебниками, и айда с ребятами грязь месить по посёлку. Но чего толку-то? В казаки играть, Витька опять начнет сигаретами трясти, батю свою изображать, сплёвывать и материться. Сашка скажет: пойдём на Тракторную, а там драка опять будет, чё туда ходить-то? Там Амирадна живёт, наркотой торгует...

Уж лучше к речке, тем более, что протекает она узенько как раз за огородом: вместо забора — обрыв с торчащими сухими бадылями, отживающей резной крапивой, пахучей осыпающейся полынью. Речка Олхатка — неширокая, однако ж и не перепрыгнешь, спускается с гор, змеится по долине и в омутах даёт кров широколобкам. Вот летом, когда компанией, кто взрослей в самый омут — рыб пугать, остальные их гонят, а потом рыбки и сами в сети плывут, заранее расставленные по течению...

Но то летом...

До рыбалки надо перекусить, и Мишка отрезает два куска хлеба от купленной по дороге булки, остальное любовно заворачивает в полиэтиленовый пакет и кладёт в центр обеденного, покрытого грязной клеёнкой, стола. В морозилке за куриным супнабором притаился бумажный свёрток с... ммм... маргарином. Мишка положил на хлеб ярко-желтые тонко нарезанные пластики, посыпал их сахаром. Такой пир он не каждый день себе устраивал. Вот поест, порыбачит — и картошку пора будет чистить на семейный ужин. Но это потом, а пока, откусывая кусочек за кусочком, Мишка громко швыркал горячим трижды заваренным чаем...

Вдруг залаяла Найда. Кто-то пришёл.

Мишка вышел во двор. В приоткрытую перекошенную воротину заглядывали женщины. Одну он узнал: та уже несколько раз приходила к матери, ругалась, грозилась, допрашивала Мишку так, будто мамы рядом и не стояло:

— Был в школе сегодня? Что сегодня ел? Почему на коленке ссадина? Где сестрёнка, где братик? Тебя на Тракторной видели, с кем дружишь оттудова? — и так далее.

А Мишка всегда честно и серьёзно отвечал:

— В школе был! Ел макароны! На физре играли в футбол, вот и упал. Галька и Борька у тети Маши гостят в городе, это мамина сестра, она врачиха, а в детсаду ремонт — потолок упал, вы не слышали?

И привирал иногда:

— А на Тракторной не был!..

Сегодня знакомая женщина была в полицейской форме: пиджачок, юбочка — нарядная, одним слово. Мишка аж залюбовался.

— Собаку закрой! — донеслось хором из-за ворот.

Мишка в пару прыжков подскочил к Найде, обнял её, погладил по спине. Лохматая псина замолчала, но волны гнева продолжали перекатываться по загривку. Он с усилием развернул её, прикрикнул и запихнул головой в конуру, вставил недогрызенную доску во вбитые металлические скрепы.

— А щенок где?! — громко спросила знакомая.

Мишка только пожал плечами. Мол, знать не знаю, бегаёт где-то по улице, поди.

Озираясь по сторонам, во двор вошла комиссия: знакомая полицейская, три незнакомки в деловых костюмах, в таких ходят тётеньки в телевизоре, и один мужик в робе и с дрелью в руках. Подойдя к крыльцу, гости вдруг начали проявлять хозяйские замашки.

— Так, капусту убрали, а чего листья валяются на огороде?

— Почему забор не почините?

— Да мужика у Таньки нет.

— Ага, нет, каждую неделю с новым бухает, знаем мы, а дети все зачуханные! Чё, за бутылку никого нанять не может забор подпереть?

— Ждёт, пока старшенький подрастёт?

Смеются. А Мишка только глазами хлопает: как же! Забор новый справить — так это ж доски нужны, а не бутылка, а где их взять-то?

— Так, дрова купили? Ага, вижу... Свинья у вас ещё вроде была? Ага, слышу...

И, не спрашиваясь, пошли в дом. А Мишке стыдно вдруг стало: пол не подметён ведь, со стола-то не убрано, а тетрадки на стуле валяются.

— Обедаешь, значит? Чего тут? Ага, ниче не сварено. Сковородка немытая. Мать где?

— На работе...

— Знаем мы её работу. Младшие где?

— Так ещё в детском садике. День же, где им быть-то?

— А ты? Со школы только пришёл?

— На автобусе приехал... со школы. На школьном автобусе я, — ему вдруг показалось очень важным, что он не пришёл пешком, а именно приехал на автобусе.

— В каком классе учишься? — спросила одна из тех, кто в костюмах.

— В шестом, — тихо и растерянно ответил Мишка.

— Так, с продуктами у вас получше стало, — сказала знакомая, когда проверила холодильник и буфет, и обратилась к остальным. — Видите, летом крыша протекала, в полах — щели, под потолком — тенёты. В грязи живут, а я тут ходи их проверяй. Короче, до первого загула, а там детей отбирать будем.

— Крепить будем здесь, в спальне! — вдруг невпопад сказал мужчина в робе.

— Смотри! — сказала знакомая. — Мишка, ты взрослый уже. Это ради безопасности ваших младшеньких... В городе мы организовали благотворительный концерт, на средства, собранные от него, мы купили вот эти замечательные пожарозвещатели для таких семей, как ваша! Если вдруг начнётся пожар, он как заорёт! Спать будете — так все проснётся! Зато никто не задохнётся, не сгорит...

Мужчина привинтил плоскую коробочку к потолку. На ней замигала красная неонка.

— Запомни! — мужчина обратился к Мишке. — Она может среагировать на дым, сырость и пыль. Так что печку топите аккуратнее, крышу залатайте, чаще убирайтесь, да пылюку не поднимайте!.. В случае пожара немедленно выводите всех из дома! Если пожара нет, звук сам прекратится через пару минут. Смотри! — и поднёс зажигалку к прибору, чиркнул...

Что тут началось! Мерзкий, тонкий, отдающий звоном в ушах, но главное — невыносимо громкий — сигнал выкурил из дома абсолютно всех, и в первых рядах — тех, в костюмах.

— Вот видишь! Не пропадёте...

Мишка отошёл на середину двора, зажимая ладошками уши. Голова кружилась, сердце готово было выпрыгнуть из груди, а в голове звучал этот душераздирающий, не предназначенный для человеческого слуха писк.

— И не дай Бог открутите! — пригрозила знакомая.

Когда звук прекратился, с чувством выполненного долга благодетели покинули двор.

Мишка выпустил Найдю, обнял её за шею и молча посмотрел в огород. Рыбал-

ка отменялась. Когда утих звон в ушах, Мишка чмокнул собаку в щёку, потрепал по голове и пошёл домой.

Пульсирующая красная бусинка под потолком притягивала взгляд. Как замороженный он смотрел на неё и смущался её присутствия, словно вошёл не в свой дом. Огонёк мерцал, будто предупреждая: я здесь хозяин... И было что-то ещё в этом мигании-подмигивании: нехорошее озорство, злобное веселье, обещание хлопот.

«А как младшие услышат? — подумал Мишка. — Я кое-как очухался. А уж им-то...»

«Обязательно услышат, — подмигнула бусинка. — Вот печку вечером топить станете и услышите. Все».

«А если ночью дождь пойдёт?»

«Дождь будет обязательно. Вот увидишь», — подмигнул огонёк.

И Миша пошёл за отвёрткой...

Охота

Иван Семенович стоял как истукан и смотрел на удаляющихся девочек-восьмиклассниц. Из-за толстых стёкол глаза, и без того пребывавшие всегда навывкате, казались лягушачьими. Очки в коричневой роговой оправе, в бело-синюю полоску шапка-петушок, грязно-серый пуховик-колокол — вид, в общем, нелепый. Бывший главный инженер одного НИИ, пару лет назад отправленный на пенсию балласт...

Мужчина стоял недвижно, как вдруг резко повернулся и стрельнул сигарету у проходящего парня, закурил.

Девочки шли по аллее, в ярких полушубках, блестящих сапожках. Иван Семёнович быстро зашагал следом, нервно втягивая дым и выпуская его струйками из носа, не отводя взгляда, словно боясь потерять из виду. Девочки болтали: сегодня была оттепель, светило яркое солнце. Школьницы смеялись и размахивали руками, за спинами — фиолетово-розовые рюкзаки.

Аллея была длинная, попадался народ. Справа неслись автомобили. Слева бесподъездной стеной молчал плотный ряд пятиэтажек. С деревьев иногда падали хлопья снега. Оставшиеся мороженые ранетки клевали снегири. Иван Семёнович машинально скрутил в руке красный пакет и прибавил шаг, почти побежал. Автомобили остановились на светофоре, когда мужчина, тяжело дыша, нагнал девочек и выплюнул сигарету. По щекам от волнения потекли слёзы, взор затуманился, Иван Семёнович замер. Загорелся зелёный, девочки ступили на «зебру»... Когда переходили, даже не оглянулись на него.

Иван Семёнович побрёл обратно.

Миновав аллею, он стал прогуливаться по площади Академгородка из одного края в другой. Людей много, но одиноких девочек нет. Он постоял, стрельнул ещё сигарету, покурил, посидел на заснеженной скамейке, воровато осмотрелся, тяжело вздохнул. Может быть, завтра он успеет... Может быть, завтра осмелится... Может быть, завтра заговорит...

Как охота поговорить...

По спине пробежал предательский холодок.

А теперь успокойся, пора домой.

Он поднялся.

Надо ещё в магазин зайти: хлеба и молока взять. В угловой, там работает приветливая Катя. Она всегда улыбается и разговаривает. Ласково разговаривает, понимающе, со-чув-ствен-но.

Иван Семёнович расправил ярко-красный пакет, и мысли его уверенно повели по известному маршруту. А дома ждала больная старушка-мать.

МАКСИМ ЖИВЕТЬЕВ



Чума в станице

РАССКАЗ

Бабы на базаре шушукались, перебирая тряпье:

— Чума идет, вчерась слыхала. В соседних селах уже мереть начали, не ровен час эта пакость к нам явится.

— Ты чего, Марфа, брешешь. Мой вчера оттуда приехал, ничего такого.

— Просто насупились и сидит весь день и молчит. Ты ж сама сказывала. В глазах тоска, а когда ест, замрет, задумается. Только ложка в руке дрожит.

— Молчит он, конечно молчит. Боится даже заговорить об этаким безобразии. У вас как-никак шестеро по лавкам и вон с животом Аля ваша. Без слез теперь и не взглянешь.

— Богатый двор, жаль будет если выкосит такое богатство под корень.

— Тьфу на тебя, скажешь тоже.

— Посторонись, бабоньки! — через толпу пробирались казаки на конях.

— Хоть бы спешились, окаянные.

— Христа на вас нету.

— Митяй, и ты тут. Принесла нелегкая.

— Ой, проказник. Опять сегодня на кого глаз положишь. Гарцует тут.

— На тебя и положу, чего выбирать, — Митяй картинно подкрутил рыжие усы, залихватски подбоченился и гаркнул так, что весь базар слышал: — Садись, подвезу.

ЖИВЕТЬЕВ Максим Аркадьевич. Родился в 1983 г. в Иркутске. Окончил биолого-почвенный факультет ИГУ (2008) и Институт высоких технологий ИРНИТУ (2018). Кандидат биологических наук, научный сотрудник СИФИБР СО РАН. Имеет публикации в иркутских газетах «Копейка» (2005), «Русская беседа», «Родная земля» (2007), «Лесная газета» (Москва, 2011–2012), в альманахе «Первоцвет», журнале «Главная тема» (Иркутск–Москва). Участник 13 и 17 Форумов молодых писателей России, СНГ и зарубежья (Москва–Липки, 2013 и Иркутск–Листвянка 2017). Стипендиат Министерства культуры Российской Федерации по литературе 2014 года. Лауреат молодежной литературной конференции «Молодые голоса» (Иркутск, 2014) и «Молодость. Творчество. Современность» (Иркутск, 2018). В ноябре 2018 года вошел в список ста лучших авторов конкурса научной фантастики «Будущее время». Живет в Иркутске.

— Да ну тебя.

— Какой охальник. Нет чтоб Анютку нашу уважить — вон глазки потупила. И не отворачивайся, дура. Стесняется она.

— Анька у нас святая, не трожь.

— Ой, Митяй. Никак застыдился? — бабы прыснули.

— Мы на заставу опаздываем, — сурово напомнил Аглай.

Приторное беспокойство повисло над заставой.

— Митяй, слышал, что говорят: чума.

— Ты больше слушай. Бабы сплетни.

— А что, если не сплетни, — посерьезнел Аглай. — Тикать надо отсюда пока не поздно. Всем тикать.

Митяй сжал зубами соломинку, помедлил и выплюнул:

— От смерти не убежишь. Все равно настигнет.

Утром через заставу проходил обоз из города. Стеклообразные банки, тюки, дети — все спешно погруженное по телегам бесформенными горами. На перепуганных лицах затаилась надежда.

— Куда? — спрашивал хмуро, но подчеркнуто беспечно Митяй.

— Куда-нибудь за Урал. Так надежнее.

— Хм. Ну-ну, — говорил Митяй в ответ.

Поодаль на краю дороги стояли два купца и переговаривались.

— Ты теперь куда путь держать станешь?

— Да со всем семейством в Сибирь, на промысел пойдем — что поделаешь.

— Верно, а я своих увезу, а сам вернусь. По делам. Как раз все уляжется.

Вечером Митяй сидел за столом и размеренно пил квас из деревянной кружки, по обыкновению смакуя каждый глоток, когда дверь распахнулась и в комнату вбежала Анютка.

Митяй аж привстал:

— Ты как тут взялась?

— Батька, мамка сегодня заболели. Помоги! Митя! Спаси! — Анютка обняла его робко и крепко. — Я боюсь! — Нет, она не заплакала, но тело ее сотрясалось, будто от безудержных рыданий. — Я к тебе пришла.

Она все решила, и только робость и трепет выдавали ее вопрошающую надежду. И эта безграничная доверчивая мольба во взгляде больших карих глаз и несдерживаемый восторг щенячьей преданности. Они дурманили.

— Увези меня отсюда. Пожалуйста. Я знаю, ты можешь! Только ты один.

— Постой, Анют, а как же дочерний долг... — попробовал образумить ее Митяй.

— Нет, не могу я больше тут оставаться — страх за себя сильнее. Хоть секи. И не уговаривай. Я с тобой хочу. Не могу я больше оставаться в чумном этом месте. Не сможешь — так одна убеги в лес. Только знаю — ты не такой, ты сможешь.

— Пойдем, — тихо сказал Митяй.

Утром Аглай зашел в комнату, взял в руки недопитую кружку кваса, внимательно осмотрел ее, будто что-то пытаясь прознать, и пошел к привязи.

Коня Митяя на месте не оказалось.

Оттиски копыт были глубокие — вдвоем скакали, но не спешили, и в русле ручья след потерялся.

— Вот хитрец! Знает, что нельзя. Ну хоть бы предупредил. Что я, не человек что ли.

На видном месте Аглай заметил аккуратно привязанный ремешком к кусту

кисет с вложенной люлькой — его давний подарок Митяю. Табака в нем не было — его Митяй весь пересыпал в карманы и взял с собой, чтоб потом скурить.

— Не смог не попрощаться, — улыбнулся Аглай и добавил, пристально смотря на ветку: — Извинения приняты. Не ровен час на заставе и не такой беспорядок начнется.

На подъезде к заставе Аглая разбил кашель.

Аля долго не открывала ворота. Наконец подошла:

— Что? Да хоть повалите их — не открою. Чума у нас в хате.

— Дочка, открой.

Перед ней стоял батюшка Серафим:

— Есть кто живой?

— Нет никого. И отец не ровен час преставится.

— Причаститься? Исповедаться?

— Нет. Сами позовем, если попросит.

— А мы церковь новую строим. Все кто живые есть. Вот построим и спасемся.

Имени святого исцелителя Николая...

Аля не дослушала и захлопнула ворота. Пошла к отцу.

Он был уже совсем плох. Даже не метался и не харкал кровью и гноем. А только спокойно и истощенно лежал. Обманчиво казалось, что ему становится лучше.

Аля подошла, присела рядом, тронула за рукав.

Батя устало открыл глаза и шевельнул губами.

Дочь наклонилась, чтоб разобрать, что он шепчет.

— Аля, сознайся, кто. Мне легче будет.

— Митяй, — сжалилась Аля.

— Я знал, — попробовал улыбнуться отец.

— Не думала, что когда-то скажу тебе.

— Ты у меня умница. Все будет хорошо.

И он умер. Аля перекрестилась, взяла лопату и пошла во двор.

Анютка с Митяем далеко забрались в лес. Разожгли костер. Сидели возле него, грелись, рассуждали как жить будут потом, после чумы. Митяй скрутил волглый — уже пожухлый, но все еще мягкий на ощупь — лист березы, набил табаком, дымил, а Анюта прижималась к нему и понимала, что вот оно, счастье, тут, рядом. И больше никого ей не надо боле. Митяй не противился. Ему было хорошо.

На третий день к вечеру вдвоем они сидели у костра в глуши, у самодельного жердяного шалаша, наспех выстланного ветками, и пили свежий травяной чай, потягивая его, горячий, шумно и с наслаждением. Теплый ветер чуть шевелил листву, конь, привязанный поодаль, переминался из стороны в сторону и обгладывал с близстоящих деревьев листья. Аня покраснелась вся, на лбу выступил пот, глаза озорно поблескивали. Митяй смотрел на потрескивающий костер, мельком подумал о том, как утром сходит осмотрил расставленные на зайца силки, и улыбнулся в усы. Посмотрел на Аню, та была как в лихорадке и судорожно ему тараторила о том, как безумно его любит, и что как было бы здорово завтра ни свет ни заря сесть на коня и скакать куда глаза глядят.

Митяй пристально посмотрел в широко раскрытые глаза Анютки. Такие милые и живые с многочисленными отблесками костра. Он отказывался верить в то, что чума все-таки настигла их. Поцеловал. Анютка горячо его обхватила за плечи, потом за пояс и судорожно повлекла под жердяной навес. Митяй поддался и растворился в приятном женском тепле.

Утром он никуда не пошел. Сидел возле Ани, которую то колотило, то она рвалась к нему, то вырывалась и бежала домой, к родителям, и Митяй догонял ее и уволокивал снова в шалаш, или садил к костру, поил чаем и ее и себя. Она то бледнела, то серела, то неистово кашляла, то снова розовела и завывала на весь лес. Он не спал возле нее несколько ночей. Наконец она вдруг забылась и вроде бы уснула.

Митяй ходил до силка, принес зайца. Наклонился над трепыхающейся Аниной грудью. Живая. Облегченно выдохнул и стал остервенело сдирать шкуру с зайца. Было жарко. Закопал тушку в остывающие угли. Стемнело. Звезды метались по небу странным неистовым водоворотом. Ему показалось, что Аня уже мертва, и он в приступе отчаяния стал бегать по лесу, кричать, звать на помощь, и ругать себя. Понял, что руки горят, обожженные в углях, пошел до ручья. Не дошел, упал и забился в припадке. Метнулся назад, к Ане, к закопанному кролику, откопал, вцепился зубами в сырое мясо. Съел. Остервенело грыз кости, хрящи, сухожилия. Потроха и шкуру — съел. Стало вдруг холодно и хорошо. Сознание затуманилось, и глаза тяжело закрылись.

Вскоро Митяй вернулся на обезлюдевшую заставу. Над крышами домов возвышалась новехонькая деревянная церковь. С минуту полюбовался. И пошел до нее молиться.

Миновал кладбище со свежими березовыми крестами, приблизился к крыльцу. Встретил на пороге отца Серафима. Тот его по-отечески обнял и ничего не стал говорить.

— Она умерла. Я ее пытался выходить, но она все равно умерла. Когда я в лесу сам пришел в себя от болезни, она, ее тело, смиренно лежало рядом.

— Зайди, помолись за нее. Свечку поставь. Как ее звали?

— Аня.

— За рабу Божию Анну.

Помолчал и добавил:

— И за исцеление Господа поблагодари.

Алю он узнал со спины. Она стояла у столика с восемью зажженными свечами и молилась. Он поставил рядом свою. Одну. И они вдвоем долго молча стояли, смотря на образа.

— Митя, пошли домой, — сказала Аля, когда они наконец посмотрели друг на друга.

Покинули церковь молча. Отец Серафим перекрестил их со спины и пошел ужинать.

— Я самовар завела. На шишках сосновых. Чаю попьем. Я пироги напекла, — улыбнулась Аля и, придерживая низ живота, сдержанно добавила: — А тебе, Митяй, роды чую придется принять: рожаю я.

— Шутишь?

— Чего так побледнел-то? Не шучу. Вот и чай горячий пригодится.

ДМИТРИЙ МАКСИМОВ



Старые рисунки

РАССКАЗ

У Николая Петровича умерла жена...

Николай Петрович позвонил в скорую и в милицию, а потом, не зная, что делать, пошел на кухню и сел у окна...

Улицы были по-утреннему серые, весенние, шел снежок.

Жену увезли в морг...

К обеду пришла дочь с мужем, плакала, обнимала Николая Петровича и снова плакала. Муж взглядом спросил: можно ли выпить водки? Николай Петрович кивнул. Дочь неодобрительно промолчала, сварила суп, забрала мужа и ушла, сказала — на работу...

Суп девать было некуда, и Николай Петрович поставил его на подоконник и снова сел у окна...

В неглубоких лужах, вместе с яркими солнечными зайчиками, оживленно купались воробьи. Проходили люди, балансируя на бордюрах, чтобы не замочить ног...

Зазвонил телефон.

— Папа, ты только не сиди. Сидеть без дела нельзя. Делай что-нибудь. Надо что-то делать, — наставляла дочь. — Разбери хлам какой-нибудь...

Николай Петрович ещё немного понаблюдал, как мальчишки скатывают с горки коляску без одного колеса, и пошел разбирать хлам.

Хлама в комнате не было, разве что на подоконниках громоздились горшки, вазы и баночки с цветами, которые любила разводить жена. И которые теперь, пожалуй, некому будет поливать так как надо...

МАКСИМОВ Дмитрий Владимирович, родился в 1980 году в г. Ангарске. Окончил ИГУ, международный факультет. В 2004 г. стал лауреатом конференции «Молодость, Творчество, Современность» в номинации «Проза». Публиковался в журналах «Первоцвет», «Иркутский потребитель», в газетах Иркутска. Был лауреатом короткого рассказа в конкурсе, объявленном в своё время «Народной газетой». Живёт в Иркутске.

Николай Петрович взял стремянку и полез на антресоли. Там обнаружилось детское пальтишко дочери в клеточку, её же рукавички и выцветшая книжица с засохшим цветочком внутри. Николай Петрович бережно сложил всё это на диван.

В самой глубине антреселей нашелся пыльный мольберт, вслед за которым на пол свалился черный тубус. В тубусе оказались наброски зданий, строений, выписанные со старательностью новичка портреты и рисунки по анатомии человеческого тела. До свадьбы Николай Петрович, тогда еще Коля, собирался поступать на архитектурный факультет...

Николай Петрович аккуратно протер мольберт от пыли и поставил к шкафу. Нашел еще две папки с рисунками и разложил их на кухонном столе. Вот старая набережная, которой уже нет. Он помнит, что долго тогда не мог подобрать нужный цвет заката над ней. Вот здание библиотеки с потрескавшимися колоннами. Вот синяя река и огромное, тоже синее, небо над ней. Вот портрет одноклассницы, которая потом уехала в Москву. Вот портрет отца, а вот — матери...

Когда дочь с мужем, открыв дверь своим ключом, снова пришли навестить Николая Петровича, он плакал, сидя на кухне у залитого вечерним солнцем стола.

— Видишь, как папа маму любил. Не то что ты, — тихо, чтобы не слышал Николай Петрович, сказала дочь мужу. — Ну, что стоишь, как столб?

Муж громко прочистил горло, давая понять, что Николай Петрович в квартире не один.

— Мы вам тут котенка принесли, да. Чтобы, так сказать, не скучно было, чтобы не всё одному, так сказать, — сообщил зять, вынимая из-за пазухи пушистого котёнка.

— Папа, мы за детьми, а позже я забегу, если получится, — добавила дочь, не покидая прихожей. — Ешь суп. А кошаку дай старую колбасу, съест наверное.

Дочь с мужем ушли, оставив у двери полосатого котенка.

Николай Петрович встал, собрал рисунки, оделся, сходил в магазин, купил лоток и кошачий корм, который получше. Потом снова достал рисунки, внимательно просмотрел некоторые из них. Отложил в сторону и на свободном месте в кухне поставил мольберт...

Котенок ловил лапками пылинки в лучах света, затем кувыркнулся на спину и чихнул.

— Будем жить? — глядя на это живое существо, спросил Николай Петрович. Укрепил на мольберте лист бумаги и взял карандаш...

ЛЮБОВЬ ГОЛОВИНА



Утка по-азиатски

РАССКАЗ

Я проснулась от звонкого, энергичного, но противного голоса: «Вставай. Тебя ждут великие дела». Как будто бы школьный физрук рядом стоит. А если не встанешь, то он к-а-а-а-ак дунет в свисток над самым ухом, и прощай перепонки. Никакого физрука в комнате, конечно же, не было, да и никого другого тоже. Это спортивная совесть выгоняла меня из постели на пробежку. Нехотя подчинилась — последствия вчерашнего праздника живота сами себя не ликвидируют. «Физрук» был доволен, и для мотивации поставил мне на репит пластинку с Плисецкой. Я бежала по набережной Воробьёвых гор, глотая вместо утреннего кофе бодрящий октябрьский воздух. «Пять минут на зубах — всю жизнь на бёдрах, пять минут на зубах — всю жизнь на бёдрах», — подгоняла меня Майя Михайловна.

В парке было уже людно. Бегуны, велосипедисты, мамы с детьми, хипстеры, фрилансеры и гости столицы находились в постоянном броуновском движении. Москвичи радовались ясным дням, бывшим в это время осени большой редкостью, и, как верблюды, напивались солнцем впрок — на долгую зиму. И, кажется, радовались солнцу не только люди, но и птицы. Утки, которым пора греть пёрышки на югах, до сих пор барахтались в городских водоёмах. Нет, этих уток человеческим умом не понять. Да будь я уткой, давно бы махнула на юг, куда-нибудь в

ГОЛОВИНА Любовь Геннадьевна родилась в г. Братске. Окончила филологический факультет МГУ. По окончании вуза продолжила обучение в аспирантуре. В 2015–2016 гг. обучалась на курсах литературного мастерства в Литературном институте имени Горького. В 2016 году на конкурсе «Короткое детское произведение» от издательства «Настя и Никита» вошла в число лучших критиков. Заняла 3-е место на международном Гайдаровском конкурсе в номинации «Рассказ или отрывок более крупного произведения». В 2017 году заняла 3-е место в конкурсе «Короткое детское произведение» в номинации «Познавательные заметки». Была участником Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который прошёл на Байкале (2017). Живет в Иркутске.

Таиланд. Но если смотреть на это дело с точки зрения этих пернатых, то и в Москве, конечно, неплохо. Кормят их здесь, как домашнюю птицу, предназначенную на убой, но безо всякой убийственной корысти. Вообще, кормление уток — одно из любимых парковых занятий москвичей. Почти такое же, как у римлян — кормление голубей.

Моё внимание привлекли молодая мама с девочкой лет пяти, кормившие уток не привычным батоном, и даже не крупой, а самой настоящей кашей. Когда моя бабушка была жива, она разводила куриц, гусей и уток. От неё-то я и узнала, что водоплавающих птиц нельзя кормить мякишем — он разбухает в желудке и начинает бродить. С тех пор идиллические картинки, где люди в парках кормят уток хлебом, не вызывают у меня умиления...

Девочка доставала из пакета тёплую жёлтую пшёнку и раскладывала в пластиковые тарелки, как будто приглашая уток за стол. Отряхнувшись, птицы медленно, вразвалочку шли на угощение, побрякивая от удивления оказанным им торжественным приёмом.

Я добежала до Пушкинского моста, сделала растяжку и повернула обратно. Пробегая там, где ещё недавно был настоящий утиный банкет, я не увидела ни девочки, ни её мамы, ни даже уток. Вдруг сквозь музыку в наушниках раздался залиvistый детский плач. Я остановилась. В зарослях деревьев стояли мама с дочкой и трое мужчин азиатской внешности. Мужчины были одеты в оранжевые жилеты, которые носят работники коммунальных служб. Женщина тянула дочку за руку, пытаясь увести. Девочка захлёбывалась слезами и изо всех сил упиралась. Только сейчас я заметила стоящий в кустах дымящийся мангал. Видимо, приезжие коммунальщики собирались жарить на нём утку.

— Дядя, отпустите уточку, — упрасивал ребёнок. Но «дядя» только говорил: «Уйды, дэвочька».

Утка была ещё жива: они не успели свернуть ей шею, а держали в каком-то мусорном мешке, из которого раздавалось надрывное кряканье. Я решила вмешаться, хотя и не понимала, чем могу помочь. Ясно было одно: рабочие хотели есть, денег на нормальный кусок мяса, скорее всего, не хватало, «Доширак» опостылел, вот и решились они изловить несчастную птицу и приготовить её со всеми потрохами.

— Уважаемые, эта утка — достояние парка, — патетически сказала я и мысленно выругала себя: «Алёна, какое достояние, блин? Они ведь даже слово «утка» вряд ли знают. Ты им ещё загни про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра».

Дальше — хуже. Сама не знаю для чего, я произнесла пламенный монолог о том, что дети не должны видеть насилия.

— У вас самих дети есть? Неужели вы убиваете животных у них на глазах? — увещевала я.

Перед моими глазами встала картинка из детства, как по бабушкиному двору бегала обезглавленная Пеструшка. Потом образ безголовой курицы ещё год являлся мне во сне, и я вскакивала на кровати от страха.

В меня вперились три пары глаз, горящих злым нетерпением. Вряд ли понимая смысл моих слов, эти люди понимали главное — у них хотят забрать вкусный обед. Лица гастарбайтеров наливались кровью, как недожаренный бифштекс. Главный делал жесты руками, отгоняющие меня. А потом и такой жест, который дал понять, что русский он знает, хоть на нём и не разговаривает. Я страдала от

коммуникативной неудачи. Неприятное чувство для переводчика, хоть и английского, а не восточных языков. Обычная бытовая ситуация поставила меня в тупик.

— Валы, валы отсюда, — кричали мне оранжевые жилеты. — Эта тваё дэла што ли?

В это время подошли двое полицейских. Утка их не волновала, но волновал установленный мангал.

— Да вы оборзели что ли? Это парк. Убирай давай быстро.

Утка уже не крикала: видимо, задохнулась. Один из стражей порядка решил проверить, что в пакете, и силой вырвал его у гастарбайтера.

— Там утка, — сказала я. — А может и не одна.

Полицейский вытряхнул утку на пожухлую траву, тоже не особо щадя чувства ребёнка. Другой стал проверять документы у всей честной компании. Я села на скамейку и положила утку на колени. Ко мне подсели мама с дочкой. Девочка уже не билась в истерике, а тихо стояла рядом. Слезы катились по её щекам; тонкие розовые пальчики непрерывно теребили складки на юбке. Мы молчали, не зная, что сказать и сделать.

А передо мной снова встала картинка из детства. Я, Анька Сидорова и Люська Кунгурова хороним в глиняной куче загрызенного Барсиком воробьишку. Он был совсем маленьким. Синеватое тельце покрывали не перья, а пушок. Барсик добрался по стволу берёзы к скворечнику и зачерпнул птенца своей лапой. Я потом неделю с ним не разговаривала, это с любимым-то котом...

Но вдруг уже оплаканная нами утка встрепенулась и набрала воздуха. Она покрутила шейю в разные стороны, как йог, пытающийся прочувствовать каждый позвонок, и убедилась, что всё в порядке. Затем птица посмотрела на наши ошеломленные лица и, мне показалось, кивнула, да так, будто благодарила нас за спасение. Взмах крыльев, и она в реке. В это время полицейские уже выгнали из парка троицу коммунальчиков. Я даже не заметила, в какую сторону они ушли.

Вроде и утку спасли, и ребёнок остался доволен, но на душе было паршиво. Я побежала домой — пробежка и так затянулась. На всём обратном пути саднило чувство, что забрала еду у голодных. Ведь по большому счёту эти рабочие просто хотели есть, а стонущий желудок громче морали. Искать их, конечно, было бессмысленно. Да и, если честно, страшновато. Ещё чего доброго отметелят до полусмерти. Наверное, думают, что и полицию я позвала. Сведения счётов не хотелось.

Я уже добежала до своего двора, когда заметила на углу дома побирающегося бездомного. Аморфное тело, закутанное в фуфайку цвета потёкшего на жару асфальта, клок чьего-то меха на голове, вывалившиеся из-под него космы грязных седых волос.

Нашупав в кармане толстовки пару сотен, я зашла в кафе, заказала большой стакан чая, бутерброд с сёмгой и шоколадку.

— Мне с собой.

— Хорошо, — и симпатичный менеджер упаковал мне всё в бумажный пакет. — После пробежки всегда ужасно хочется есть, сам знаю, — подмигнул он мне.

— Это точно. Зверский аппетит, — улыбнулась я и вышла.

Бездомный сидел всё в той же позе, может, даже спал.

— Это вам, — тихо сказала я.

Он поднял глаза. Нет, не спал.

— Это вам, — повторила я громче и протянула пакет.

Он смотрел ещё несколько секунд непонимающе, но так и не брал.

— Я поставлю здесь. В пакете чай, бутерброд и шоколадка. До свидания.

Я взбежала на свой этаж. Из окна лестничной площадки были видны угол дома и кафе. Бездомный держал в руках картонный стакан с чаем — грел руки. Я взглянула на беговые часы. Надо же, всего пять километров вместо обычных пятнадцати. А ощущение, будто пробежала марафон. Ладно, завтра наверстаю. Главное встать пораньше... пока никто не кормит уток.

e-mail: liubov.golovina@mail.ru



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА НАТАЛЬИ КОЛОБОВОЙ

День меркнет ночью, а человек печалью



Наталья Колобова

Разнотравье-разноцветье, скошенное, сохнувшее в долгих валках, ворошат деревянными граблями, вот и я ворошил архивные бумаги, выжелтевшие, словно старое сено; и вдруг среди записей и черновиков явилось слово о Наталье Колобовой...

В эпоху рабоче-крестьянского царства-государства, когда в чести была совесть, и власть обороняла совесть от западного срама и негодья, очерки и зарисовки Натальи Колобовой читала Россия; и Бог весть, догадывалась ли пожизненная газетчица, что иные сельские зарисовки сродни шукшинским сказам — сродни по восхитительной и сострадательной любви к ближнему, по жажде правды и обостренной совестливости, по терпкому, порой и хлесткому деревенскому речению. Вещую силу может обрести, казалось бы, неприхотливая, немудрящая зарисовка, созданная не отчужденно и прохладно... пришел, увидел, настроил, ибо не родно и не больно... а выношенная, словно чадо под сердцем, рожденная и вынянченная в печали и радости.

Сказы Натальи Колобовой — крестьянская жизнь в забайкальской степи, безбрежной, по-ямщицки певучей от тихой радости вешнего пробуждения, от теплых летних миражей, от осенней грусти и снежной святости. Степи обращаются в лесостепи, и далее — матерая кедровая тайга, как и степи, воспетая в сказах Натальи Колобовой, сплетенная с крестьянской жизнью. А житуха деревенская, хотя и корявая, убогая, скудная и скучная, коли озирать городским оком, но — среди природных красот, и не излукавленная, не палимая порочными страстями, а словно замершая в ожидании чуда, в ожидании сурового, но праведного царя-батюшки. Русские и живы вечным ожиданием чуда, вечным ожиданием карающего, милующего отца-заступника, а уж с Отцом Небесным, отцом народов, отцом семейства русские могут горы свернуть, потуже затянув кушак на тощем брюхе.

Читаю сельские очерки и зарисовки Натальи Колобовой, и думаю со вздохом: вот бы у кого учиться речевому мастерству и любви к русскому простолюдию и нынешним журналёрам, нынешним скороспелкам-свиристелкам, способным лишь микрофон сунуть в нос вороватому чиновнику, жестокосердному буржую, придурку-шоумену, продажному лицедею. Да что журналёры-шелкопёры,

по очеркам Натальи Колобовой обретали бы душу и слово иные наши сочинители из торопливой поросли, у коих думка чадна и бедна, а слово мертво.

Наталья училась в Иркутском госуниверситете; на год раньше меня обрела диплом журналиста да значок-поплавок на лацкан пиджака; и, обмыв диплом и поплавок с гербом и книгой, укатила в Читу, поближе к матери, что коротала век в селе Улёты¹. За три десятилетия после вдохновенной, сокровенной, хмельной и шальной студенческой юности виделись мы редко, мельком, на бегу, а посему... может, и к добру... смутно знал я обыденную жизнь Натальи. Но слышал, что выросла Наталья в деревенских радостях-печалях, в огородных заботах-хлопотах, с коими жила и зрелые годы до скорбного исхода; потом с дивлением читал ее сельские сказы, и не мог в своем, вроде и не скупом воображении слить крестьянский мир ее души с былой студенткой, высокомерной, по-житейски умудренной, цинично обличительной, в таинственно мутных очках. Воистину, белокурая бестия... Но то было внешнее, обманчивое впечатление; похоже, за тенистыми очками, за стильными нарядами Наталья бережно прятала от усмешливых глаз и ехидных уст свой сокровенный сельский мир, хотя в натуре ее причудливо сплеталась деревенская простота и петербургская изысканность — мать, сельская учительница, родом была из северной столицы.

Большинство ее однокурсников и однокурсниц сошли со школьной скамьи и очутились в университете, а Наталья года два отпахала в районной газете и ведала жизнь простолюдыя, где царила божественная совесть, но и трагически уживались азартный труд и адский кабак, горячая мудрость и простота, что хуже воровства, трезвенное благочестие и хмельной разгул. Ведая народную жизнь, Наталья могла больно ожечь крапивным словом тепличных девочек и маминых сынков, потешно играющих в лихую и хмельную богему. Их богемный мир из блудливой беллетристики итальянского «возрождения», из сумрачно-тупиковой прозы Камю, из безумия Франца Кафки, из бесовского шабаша Булгакова, из антисоветчины сидельца Солженицына, искушенного библейским змеем, — их мир, пьяно-куражливый, свально-грешный, с «гениальной» дурью, Наталья отвергала, равно и мир партийно-комсомольских фарисеев, мечтающих о начальственных портфелях.

Студенческая юность сгинула в сумраке памяти, словно в заболоченной старнице; потом отшумела, отзвенела и вдохновенная молодость, когда журналистка Колобова пела романтическую песнь Байкало-Амурской магистрали, и с крушением рабоче-крестьянской державы, с воцарением буржуазного хама Наталья очутилась в родных Улётах, в материнской избе.

По редким письмам (Наталья переписывалась с моей женой, своей однокурсницей) я словно воочию видел: светлела, русела ее измученная думами, одинокая душа, постигающая теплый и ласковый православный Свет; но чуял я: изнуряющая брань дня и ночи бушует в ее душе, отчаянной и совестливой, оробевшей в царстве хама, не обогретой семейным уютом, не умиленной детским лепетом, не ведающей, где воплотить дар Божий, и нередко впадающей в грешное и безоглядное унынье. День меркнет ночью, а человек печалью... Что ж, дело обычное для русского, не ведающего предела душевной порухи и божественного взлета, какой не снился западному обывателю даже в искусительно ярком и сладком сне. Усмиряла страждущий дух творчеством, крестьянским трудом; утешали

¹Имя Улёты село обрело от эвенков улятуйского рода. Улятуй переводится как долина ветров, ветер. Село Улёты впервые упоминается в 1788 году после прихода русских в Забайкалье для сбора ясака с местного тунгусского населения, для хлебопашества и укрепления позиций России на Дальнем Востоке.

родные избыные венцы, улётовские окрестные леса, поля и сопки, лысые либо поросшие березняком, сосняком и осинником, сбегаящим к реке Ингоде; утешали, но не спасали, ибо спасение для русского, измаянного осознанием каждодневного греха, лишь в смиренной и покаянной молитве под сводами православного храма, куда влеклась ее мятежная душа.

Святой евангелист Иоанн Богослов поучал: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1-е Иоанна 2:20) Апостол Петр назидал: «Имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов». (1-е Петра 4-8) Смысл сих речений: коли всепрощающе любишь ближнего, ты уже любишь Вышнего, а Наталья Колобова любила ближних, переживала о их душах и судьбах, желала ближним благочестивой жизни в долине мира и спасения в горнем, что и воплотила в очерках и зарисовках, восходящих к народной русской прозе.

Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Наталии, прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное.

МИХАИЛ ШЕПЕЛЬ

И снова мир заманчив и любим



Л.И. Сухаревская

27 марта 2020 года Любови Иосифовне Сухаревской исполнилось бы 70 лет. Мне не раз и не два приходилось писать о ней. А вспоминаем мы ее с Валентиной Сидоренко очень часто, когда разговариваем по телефону и при встречах. Сейчас же, по прошествии семи лет, когда ее нет на земле, мы вглядываемся в трагедию и вершину ее жизни, вчитываемся в ее удивительную поэзию, прозвучавшую на родной земле, словно родной серебряный колокольчик. Я уже писал, что, когда встретил впервые Любу, мне было в ту пору 16 лет, и конечно же я был влюблен в нее, в ее светлый образ, в ее поэзию. И это чудесное чувство влюбленности помогло впитывать всё, что она дарила и давала нам, ее питомцам литературной студии при Иркутском дворце пионеров и школьников, просто так: мир классической музыки, мир мировой

литературы, мир поэзии русской и поэзии зарубежной.

Люба приехала в Иркутск в 17 лет со станции Чусовой Кемеровской области, где она родилась и жила до 17 лет в семье сельских учителей. В Иркутске Люба сразу же поступила в Госуниверситет на филологический факультет, отделение журналистики, и стала работать в многотиражной газете Авиазавода. При этой газете было и до сих пор существует литературное объединение «Парус». Вот из этого «Паруса» мы, как птенцы из гнезда, вылетели в большой мир. Это наш город Второй Иркутск, Иркутск-2. Его основал Авиазавод, в котором и работала Люба в заводской газете корреспондентом, а после и главным редактором. Мы любили и до сих пор любим этот город, полудеревенский, семейный, негромкий, опрятный. Именно о нем Люба написала свои стихи, которые сохранились у меня, написанные ее рукой:

*И снова мир заманчив и любим
До холода, до шёпота, до дрожи
За звонкий лёд под каблуком моим
И за румянец, вспыхнувший на коже.*

*И нет нужды, что город знает честь.
Второй Иркутск — невелика столица,
Здесь всех прохожих можно перечесть
По слухам, по походке и по лицам.*

*Здесь за «бродвеем», прямо в огород,
Оставшийся от прошлого в наследство,
Садится солнце и опять встает
Из зарослей — из памяти — из детства.*

*Мой город превосходит Петербург
Обилием туманов и осадков,
И жителям его совсем не сладко
Терпеть сердце болезненный сумбур.*

*Но по утрам он так беззлобно чист
И, как дитя проснувшееся, кроток,
И взглядом окон светел и лучист,
И новый мир за каждым поворотом.*

*Ещё я знаю: город мне не враг,
Его молва мое щадила имя,
Но, боже мой, храни меня стократ
Со всякими уступками судьбина,*

*Второй Иркутск в работе знает толк,
И с каждым наступленьем воскресенья
Степенный люд, исполнивший свой долг,
На улицах вершит столпотворенье.*

*Не дай попасть на женский пересуд
Предметом ядовитого веселья,
Чтоб не коснулся праздный их досуг
Моих пиров и от пиров похмелья.*

Это было удивительное, благословенное советское время. Надо бы поясно ему поклониться. Время нашей поэзии, молодости, любви, беспечности, которую нам подарила Советская власть. Читали мы стихи запоем, открывая каждую строчку нового или давно известного поэта. Тогда Люба писала много стихов, и они печатались в многотиражке Авиазавода в разделе «Парус». Именно тогда вышла ее первая книга стихов в «Бригаде», «Сквозь сплетение узора», «Я глаз от тебя не прячу», «Звёзды светлым росчерком», «По сосульке скатилась звезда», «Сосновый разлился свет», «На улицах царят дожди», «Ах осиновая осень», «А листья всё стекают и стекают». Это живые, ясные, удивительно свежие стихи.

Мы очень любили ее как человека и поэта и поддерживали ее, и может быть именно поэтому этот период ее жизни и творчества наиболее красочен и интересен. Нас замечали иркутские литературные мэтры, приезжали на наши литературные вечера, которые мы творили с упоением юности.

В 1976 году Люба перешла работать в газету «Советская молодежь», где она со временем возглавила литературный раздел «Привал». Страна уже гремела «бамовскими» стройками, и романтика этих строек притягивала молодежь. Это было очень здоровое и созидательное влечение. Люба от газеты по комсомольской путовке уехала на БАМ.

Именно там она написала одну из лучших своих книг стихов, «Послушай сердце», которая была издана в Иркутске в 1979 году, в Восточно-Сибирском книжном издательстве. В этой книге заложена уже зрелая молодость, судьба страны, созидательная судьба нашего поколения. Замечу в скобках, что именно наше многочисленное послевоенное поколение построило великие города, стройки, заводы, дороги, космодромы и создало великую науку и культуру. Как в капле воды эта эпоха отразилась в книге стихов Любви Сухаревской.

По возвращении в Иркутск ей пришлось вплотную заниматься журналистикой. Развертывалась глубинная драма ее жизни, которая, как правило, есть в судьбе каждого истинного поэта. Мы не будем трогать сокровенные трагедии пути Любы Сухаревской.

Скажем только, что её жизнь в полной мере отобразилась в её стихах:

*Но в жизнь мою ворвался суховей
Легко на слух, но незаметно глазу...
Ношу в себе, как чёрную проказу,
Постыдный след неверности твоей.*

*И света нет, и целый свет не мил,
И среди роста, суеты и тленья
Мне больно всё и не хватает сил
Не плыть и не противиться теченью.*

*Невыносимо, жизни не любя,
Жить только оцущеньем катастрофы
Над пеплом, у развалин, у голгофы
Я не клянусь, я не зову тебя.*

*Молчит душа, безжизненно пуста,
Как будто тело, снятое с креста.*

И в журналистике Люба жила со всей страной. Её статьи касались самых животрепещущих тем современности. Она трудилась в газетах «Советская молодежь», «СМ № 1», «Байкальские Вести», «Мои года», в альманахе-журнале «Зелёная лампа».

Наши судьбы то сходились, то расходились, так же как и наши взгляды на жизнь и понимание искусства и его задач. К концу ее жизни мы все-таки встретились. Привела нас к одному крыльцу русская православная церковь. В тяжелой Любиной болезни Валентина Сидоренко способствовала причащению и соборованию, а после и отпеванию рабы Божией Любови.

Конец жизни Любови Сухаревской был христианским. Она многое пересмотрела, многое поняла, всех простила. И мы её любим той же неизменной любовью.

Сейчас, вглядываясь в те благословенные годы, я часто вижу юную стайку друзей: Любу Сухаревскую, Нину Кашину, Валю Сидоренко и меня, Михаила Шепеля. Стайку, летящую по родному городу, без усталости читающую стихи. Молодые, свежие, ясные, пристрастно любящие друг друга, спаянные настоящей дружбой. Безмятежные, чистые и ничего еще не знающие о своих судьбах. Нам предстоит еще пережить распад страны, тотальный обвал традиционной русской культуры, которой мы так гордились и любили, беспощадное противостояние друг другу по политическому и духовному разделению времени и последующие примирение и прощение друг друга. Личные трагедии, высоты и падения:

*Страдаем, мучаемся, плачем
Мы потихоньку от людей,
И проявления страстей,
Как мелочь, по карманам прячем.*

*Друзья поймут, а для других —
Спокойный взгляд, улыбка, смелость,
И, слава Богу, нет им дела
До тайных бурь и слёз твоих.*

*Любая боль — тяжёлый гнёт,
Но, не садясь в чужие сани,
Пустяк переживём мы сами,
Большое — нас переживёт.*

Мы ещё ничего об этом не знаем, и слава Богу! Поэтому мы в то, прежнее время, были счастливы!..

Вернисаж

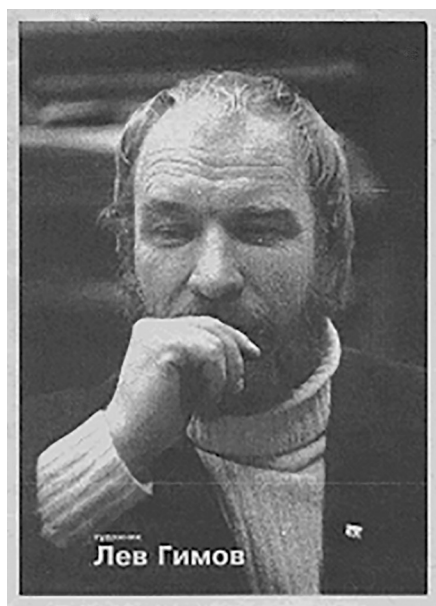


85-летие иркутского художника Льва Гимова

НАДЕЖДА КУКЛИНА

ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ИРО ВТОО «Союз художников России»

Живописная Сибирь



Лев Борисович Гимов — известный российский художник, график и живописец, педагог, член Союза художников России с 1974 года. Льва Гимова хорошо знают и любят ценители изобразительного искусства не только в России. Его картины всегда участвуют в выставках Иркутского регионального отделения Союза художников России, персональные выставки мастера часто проходят на многих выставочных площадках Иркутской области. Произведения художника демонстрировались на выставках в разных городах России и за пределами страны. Сочная, яркая, образная палитра художника, интересные композиционные решения, выработанный годами авторский почерк, предпочтение исторической тематике и жанровой картине, психологическому портрету всегда

выделяют произведения мастера из общего ряда на художественных выставках и вернисажах.

Лев Борисович Гимов родился в Иркутске 19 марта 1935 года, в старой, исторической части сибирского города. С детства впитал он дух многовековой иркутской истории. Рядом с его родным домом — земля, где в 1661 году казачьим отрядом под руководством Якова Похабова был возведен Иркутский острог. А самый отчий дом — это место, где располагалась Иркутская контора Российской Американской компании в первой половине XIX века. Улицы, по которым он бегал мальчишкой, дома, в которых жили его приятели, видели многих знаменитых россиян и иностранцев. Непосредственная близость к конкретной истории, гордость за свой город, чувства и переживания, полученные в детские годы, позже окажут огромное влияние на творчество художника.

После окончания Иркутского областного художественного училища Лев Гимов становится его преподавателем, и целых 29 лет он воспитывает художественное будущее Иркутска и всей страны, с великой благодарностью вспоминая своих

учителей: Аркадия Вычугжанина, Анатолия Алексеева, Алексея Жибинова, Александра Савиных.

Вместе с преподаванием в Иркутском художественном училище, с 1955 года Лев Борисович принимает участие в художественных выставках, много работает творчески, пробуя себя в разных техниках, жанрах изобразительного искусства, создавая свой живописный язык.

С 1974 г. Лев Гимов становится членом Союза художников России. Он активно участвует в выставках разного уровня, представляя Иркутскую организацию Союза художников России на общероссийских, региональных, международных выставках. Он много ездит в творческие командировки по Советскому Союзу, работает на творческих дачах Союза художников России, общается с коллегами-художниками всей страны. Темы его произведений: старинные русские города Золотого кольца России, сибирские просторы, портреты знакомых и незнакомых людей и другое. Участие во всесоюзном фестивале «Художники — флоту» дало возможность художнику совершить несколько морских путешествий, где на пленэре было создано большое количество этюдных работ морской тематики. Лев Гимов вместе с группой художников со всего Советского Союза побывал на Байкале, Черном море, видел и писал Камчатку и Сахалин, Курильские острова, наблюдал жизнь морских портов, людей, живущих на разных берегах огромной страны.

Историческая тематика, к которой особенно трепетно художник относится, появляется в творчестве Льва Гимова еще в конце 1960-х годов. Его первые исторические произведения — офорты, посвященные пребыванию в Сибири декабристов. Эту тему художник ярко воплощает в живописи. Гимов пишет жанровые большеформатные живописные полотна «Послание в Сибирь», «Московский тракт». «Каторжная Академия», портреты декабристов и другие. В теме «декабристы в Сибири» художником выполнено особенно много работ. Они иллюстрируют самые разные этапы жизни и деятельности «дворянских революционеров» на каторге и в ссылке в Сибири. Разрабатывая историческую концепцию своих работ, Лев Гимов всегда прочитывает массу исторической литературы, консультируется с ведущими историками.

Затем появляются картины на тему первых сибирских острогов: «Бельск», «Верхоленск», «Иркутский острог. XVII век» и другие. Осмыслению в живописи этих непростых тем помогает общественная работа Льва Борисовича в обществе охраны памятников истории и культуры Иркутской области — ВООПИК.

Одновременно Льва Гимова интересует современная культурная жизнь Иркутска. В его творчестве появляются портреты и бытовые картины на темы иркутского цирка: «Артист цирка жонглер Григорьев», «Цирк шапито».

Следует отметить, что для художника Гимова всегда был интересен портрет современника. Как жанр первые портреты в творчестве художника датированы 1953, 1954 годами. С этих лет на протяжении всей творческой жизни портрет — любимый вид изобразительного искусства, воплощенный художником в разных техниках. «Портрет писателя Анатолия Кобенкова», «Портрет художника Николая Домашенко», «Автопортрет», «Иркутянка», «Портрет моей бабушки», «Школьница», «Портрет Лидии Янковской», «Портрет писателя Владимира Максимова» и другие, и наконец, портретный триптих «Иркутская стенка».

С 1980-х годов в творчество Льва Гимова вошла еще одна историческая тема. И если декабристская тематика присутствует в творчестве многих иркутских, московских, петербургских художников, то эта тема в художественном творчестве достаточно новая. Художник обдумывал ее долго и тщательно.

В 1997 году в Иркутске был создан краеведческий клуб «Иркутск — Форт-Росс», одной из задач которого была популяризация истории Русской Америки и вклада в эту историю иркутян, которые в конце XVII — начале XIX веков «ходили в Америку, как к себе домой». Шелехов, Баранов, Кусков и многие другие «иркутские американцы» ходили по тем же улицам, видели ту же красавицу Ангару, что и наши иркутяне-современники. Лев Гимов становится Почетным членом клуба, по мере знакомства с историей Русской Америки, у него возникает идея написать большое историческое полотно, посвященное этой теме. Уже с 1980 года художник Гимов создает эскизные жанровые работы, пытаясь найти колорит, настроение, образ исторической эпохи великих свершений: «К далеким берегам», «У здания конторы Российской Американской компании», «Русский Форт на берегу океана», «Русская Америка» и другие. Создание этих произведений было подступом к огромной работе над монументальной жанровой композицией «Крестный ход в Русской Америке», которую Лев Борисович создавал с 1997 года.

В основе сюжета картины — реальный исторический факт. В Форте Росс, основанном Иваном Кусковым на берегу Тихого океана на севере Калифорнии, проходит крестный ход с участием епископа Иннокентия Вениаминова, руководителей Российско-Американской компании, жителей Форта Росс — русских, алеутов и индейцев. На заднем плане картины видны строения русского Форта: дом Кускова, церковь. Священники несут хоругви, иконы, в руках участников крестного хода зажженные свечи. Все как в России, как в Иркутске, хотя между ними океан.

Картина «Крестный ход в Русской Америке» впервые была представлена на суд зрителей художником в 2005 году. Сейчас о ней можно говорить как о событии в культурной и художественной жизни нашего города. Сюжетом картины Лев Гимов затронул актуальную для Иркутска историческую тему — тему Русской Америки. Впервые художественными средствами в технике масляной живописи создан художественный образ одного из русских поселений на севере Калифорнии — Форта Росс. Художник сумел передать атмосферу российской жизни на берегу Тихого океана. Много внимания в картине уделено деталям, нет ничего лишнего, наоборот, каждая деталь несет определенную нагрузку и вместе с другими отвечает за основную идею картины, усиливает ясность ее композиционного замысла.

Лев Гимов является ярким представителем иркутской художественной традиции, воспитанным на великом наследии русской классической живописи. Учась на последних курсах Иркутского художественного училища, уже тогда он был одним из самых талантливых учеников в мастерской Народного художника России Анатолия Ивановича Алексеева. Картина «Крестный ход в Русской Америке» могла родиться в творчестве именно такого художника, как Лев Гимов, необыкновенно работоспособного, наблюдательного, талантливого, всем своим сердцем любящего историю родного края.

За годы своего творчества (1950–2020 гг.) Лев Борисович Гимов создал большое количество произведений живописи и графики, которые вошли в историю мировой художественной культуры России и мира. Произведения Льва Гимова находятся в 18 государственных и множестве частных собраний Иркутска, Москвы, Петербурга, Германии, Франции, Кореи, Японии, Китая, других стран. Встречая свое 85-летие, художник активно работает, формируя свое художественное пространство, радуя почитателей своего таланта и творчества.

Примечания: репродукции с картин Л. Гимова подготовил издатель С. Мурзин

Сумочка к ребру



Литературные пародии

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

И пригласила руку в грудь...

Хмурое утро

*Лохматый с бородой встревоженной
Идет с похмелья погулять.
Джин-тоник на вчера помноженный
Заигрывает с ним опять.*

.....
*Чуть позже
К ним приходит женщина,
Чей возраст не определить.
И между мужиками
Трецина
Грозит компанию разлить.
И мат
Пещерной птицей кружится,
И улыбается дождем.
И сколько мужики не тужатся,
Уходит женщина
С вождем.*

Андрей Коровин. Москва.

Грустная элита

Уходит женщина
С вождем.
А вождь усат и страшен.
Он знает точно, что почем.
Но ей совсем не страшно.
И мат плывет над сенью дней.
Москва обматерела.
Глазами маленьких вождей
Глядит остекленело.
Компаний множество вокруг
Разбиты и разлиты,
Мы все, конечно, тоже пьём.
Мы грустная элита.

Еще фольклорный мотив

*Ты не радость-хворобушка.
Я у цели, да вот.
Все прошу недотрогушка,
Хоть один целовок.*

Евгений Евтушенко

Чмок

Подарю я тебе посошок
Только дай хоть один целовок.
Хорошо меня знают в Америке.
И читают, наверное, в Жмеринке.
А поэтому — дай целовок.
Чмок-чмок-чмок!

Первая женщина

*Любиночки — что за словечко...
На посиделках у крылечка
Шепнула ты: Смелее будь.
Зайди под кофту... Там, как печка,
И пригласила руку в грудь.*

Евгений Евтушенко

Ты пригласила

Ты пригласила руку в грудь,
А я прошу ещё побудь.
Побудь в штанах, побудь везде,
На радость утренней звезде.

Глядишь, я что-нибудь найду.
Погаснет печка — я уйду.

*Как танцевали мои зубы
По краю острого ковша,
Когда поверх овчинной шубы
Я ждал тебя, любить спеша.*

*И ты сказала отвернись,
А я совсем не отвернулся...*

Евгений Евтушенко

Танцевальные потуги

Как танцевали уши, губы
И зубы выбивали дробь,
Когда невидимые трубы
Гудели: не робей, не робь...

Ты приказала отвернуться.
Я отвернулся и пропал.
А танцевальные потуги
Сжёг ожидания напалм.

*В истории бессвязность мнима,
Когда её перелистнешь.
Есть множество падений Рима
И Вавилонских башен тож.*

*Пизанской башней будь. Порадуй
Тем, что вот-вот, вот-вот, вот-вот.
Но все же, главное — не падай,
Вдруг интерес к тебе падет.*

Евгений Евтушенко

Пизанская башня

Когда заводишь с кем-то шашни,
Меня порадуй невзначай.
Будь естеством Пизанской башни.
Стройнее, чем Иванов чай.

Чтобы в веках скандальной шишкой
Торчал на зависть всем пупок,
Побудь сперва смиренной мышкой.
И славу обретишь, браток

ВЛАДИМИР СКИФ

Советы поэта Кобенкова

*...Что мне Пушкин, Лермонтов,
Некрасов,
читанные вдоль и поперёк,
если никому из них ни разу
я своим советом не помог?*

*...там не хуже раввина собаки, коты и коровы
понимают на идиш и птички идиш поют...*

Анатолий Кобенков

Не родившись, я ещё в утробе
гукал, вырабатывая слог.
Это моё маленькое хобби —
внутренний утробный монолог.

Говорить с великими — услада:
— Эх ты, Пушкин!

Что тебе сказать?

Может посоветовать — как надо
«Памятник», допустим, написать?

Ну, а душка Лермонтов! Некрасов!
Фет, Есенин, Заболоцкий, Блок!
Сожалею, что — увы! — ни разу
фразу вам поправить не помог.

Поперек читая, обнаружил:
классика становится не той!
Чем я старше делаюсь, тем хуже
делаются Пушкин и Толстой.

А Белов, Распутин — пишут плохо.
Надо их забвеньем наказать.

Остальных —

от Пушкина до Блока —

на родной иврит переписать.

Драма с печенью

*Летит орёл на нашу печень —
Бывает птица палачом,
А нам её отвадить нечем...*

Виталий Науменко

Скажу, что хвастаться мне нечем:
Я стал порядком «даунить».
Глаза расширились, как печень,
И я теряю мысли нить.

Летит орёл на печень, грифы!
Смотрю TV, а в сердце — дрожь!
Печёнку мне терзают Скифы...
Ну что с них, варваров, возьмёшь?

Пытаюсь на изломе суток
Себе спокойствие внушить.
А потеряется рассудок,
Чем буду думать и вершить?

Каким таким особым местом?
Я часто зрю его во сне...
И крою патриотов местных
За то, что печень съели мне.

Внутри меня сплошная драма!
Как буду я «глаголом жечь»?
Не стало печени ни грамма,
А лишь одна осталась желчь.

Душевные стихи

*Вынуть душу,
выполоскать в речке,
просушить на свежем ветерке...
Истомить бы душу в русской печке,
по старинке: кашей в чугушке...*

Наталья Крамаренко

Я недавно просто заболела,
Стала вялой, засыпаю вмиг:
Душу мне забрызгал ошалелый,
Мчавшийся по полю грузовик.

Грузовик уехал и доньше
Не вернулся искупить вину,
А душа, в какой-то грязной глине,
Потеряла цвет и новизну.

Вдалеке блестит речное русло,
Надо бы мне мыло отыскать,
Душу, что от глины заскорузла,
Надо постирать, прополоскать.

Думая про ласковую речку,
Я смогла себя растормошить.
Выстирала душу и на печку
Бросила, как тряпку, просушить.

Тут поесть — желание большое
Зазвенело, будто бы звонок.
Перепутав тряпки, я душою
Вытирала с кашей чугунок.

События



Наши юбиляры!

Редакция и редакционный Совет журнала «Сибирь» поздравляют иркутских писателей-юбиляров Кобелева Александра Афанасьевича, Лисицу Анатолия Владимировича, Седых (Анину) Светлану Брониславовну, Манданова Тараса Талгановича и желают им творческого счастья, произведений, талантливо и народно выражающих восхитительную и сострадательную любовь к родному народу, к Великой России!!!